This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
1817

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

3-73

Nizhegorodskiĭ sbornik,

НИЖЕГОРОДСКІЙ СБОРНИКЪ.

mul 1393

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1905.

891.708
N737

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ“. Фонтанка, 86.

Strecker
Leit. Ted.
10-2
435-293

Весь доходъ съ изданія поступаетъ въ распоряженіе Общества Взаимопомощи учащихъ Нижегородской губерніи на устройство общежитія для учительскихъ дѣтей.

Товарищество „ЗНАНІЕ“.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Письмо А. П. Чехова	1
М. Горькій. Отрывки изъ воспоминаній объ А. П. Чеховѣ	3
Л. Андреевъ. Мелькомъ	17
Л. Андреевъ. Бенъ-Товитъ	26
Л. Андреевъ. Марсельеза	30
П. Боборыкинъ. Учитель	33
Н. Бунаковъ. Рано погибшій талантъ	50
И. Бѣлоусовъ. Стихотворенія: „Воскресни“	64
Изъ Т. Г. Шевченка.	65
Иванъ Гусъ	67
Изъ М. Конопницкой	69
Ч. Вѣтринскій. В. Г. Короленко въ Нижнемъ	70
Г. Галина. Стихотворенія: „Счастье, капризное счастье“	100
„ „ Разсвѣтъ	101
Н. Гаринъ. Мая	102
М. Горькій. Вода и ея значеніе въ природѣ и жизни человѣка	107
М. Горькій. Идиллія	115
М. Горькій. Часы	123
С. Гусевъ-Оренбургскій. Разговоръ	128
П. Дубовская. Народная школа во Франціи	135
С. Елеонскій. Подпасокъ	158
Д. Жбанковъ. О тѣлесныхъ наказаніяхъ въ начальныхъ школахъ	167

Стр.

А. Кизеветтеръ. Въ ожиданіи юбилея крестьянской реформы 1861 г. 184
А. Корневъ. О двухъ писателяхъ 194
В. Короленко. „Божій городокъ“ 199
А. Купринъ. Впередъ!.. 209
Н. Мировичъ. Новая попытка соціально-воспитательной реформы во Франціи. . . 215
А. Петрищевъ. Первый экзаменъ . . , ... 232
С. Платоновъ. Савва Ефимьевъ 246
С. Протопоповъ. Замѣтки о В. Г. Короленко . . 255
А. Пругавинъ. Пѣсня о часовомъ и баринѣ . . 276
А. Пустынникова. Дунька 283
М. Горькій. Дѣвочка 288
Н. Рожковъ. Новѣйшая теорія историческаго познанія. 291
Н. Телешовъ. Случай 305
Н. Тимковскій. Маленькій Человѣкъ и Большой Человѣкъ 314
Танъ. Стихотвореніе: Памяти Чернышевскаго . . . 326
Т. Щепкина-Куперникъ. Кто побѣдитъ? . . . 328
Я.—Присельникъ на землѣ 335
П. Я. (Л. Мельшинъ). Стихотвореніе: Смерть орла. 344

Письмо А. П. Чехова
по поводу настоящаго сборника.

22 [illegible] [illegible].

Многоуважаемый [illegible]!

Я получил приглашение от [illegible] и [illegible] [illegible] [illegible]

М. Горькій.

А. П. ЧЕХОВЪ.

Отрывки изъ воспоминаній.

Однажды онъ позвалъ меня къ себѣ въ деревню Кучукъ-Кой, гдѣ у него былъ маленькій клочекъ земли и бѣлый двухъ-этажный домикъ. Тамъ, показывая мнѣ свое „имѣніе", онъ оживленно заговорилъ:

— Если бы у меня было много денегъ, я устроилъ бы здѣсь санаторіи для больныхъ сельскихъ учителей. Знаете, я выстроилъ бы этакое большое, свѣтлое зданіе—очень свѣтлое, съ большими окнами и съ высокими потолками. У меня была бы прекрасная библіотека, разные музыкальные инструменты, пчельникъ, огородъ, фруктовый садъ... можно бы читать лекціи по агрономіи, метеорологіи... учителю нужно все знать, батенька, все!

Онъ вдругъ замолчалъ, кашлянулъ, посмотрѣлъ на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда такъ неотразимо влекла къ нему и возбуждала особенное острое вниманіе къ его словамъ.

— Вамъ скучно слушать мои фантазіи? А я люблю говорить объ этомъ... Если бъ вы знали, какъ необходимъ русской деревнѣ хорошій, умный, образованный учитель! У насъ въ Россіи его необходимо поставить въ какія-то особенныя условія, и это нужно сдѣлать скорѣе... если мы понимаемъ, что безъ широкаго образованія народа государство развалится, какъ домъ, сложенный изъ плохо обожженнаго кирпича! Учитель долженъ быть артистъ, художникъ, горячо влюбленный въ свое дѣло, а у насъ—это чернорабочій, плохо

образованный человѣкъ, который идетъ учить ребятъ въ деревню съ такой же охотой, съ какой пошелъ бы въ ссылку. Онъ голоденъ, забитъ, запуганъ возможностью потерять кусокъ хлѣба... А нужно, чтобы онъ былъ первымъ человѣкомъ въ деревнѣ, чтобы онъ могъ отвѣтить мужику на всѣ его вопросы, чтобы мужики признавали въ немъ силу, достойную вниманія и уваженія, чтобы никто не смѣлъ орать на него... унижать его личность, какъ это дѣлаютъ у насъ всѣ: урядникъ, богатый лавочникъ, попъ, становой, попечитель школы, старшина... и тотъ чиновникъ, который носитъ званіе инспектора школъ, но заботится не о лучшей постановкѣ образованія, а только о тщательномъ исполненіи циркуляровъ округа... Нелѣпо же платить гроши человѣку, который призванъ воспитывать народъ, — вы понимаете?—воспитывать народъ!—Нельзя же допускать, чтобъ этотъ человѣкъ ходилъ въ лохмотьяхъ, дрожалъ отъ холода въ сырыхъ, дырявыхъ школахъ, угоралъ, простужался, наживалъ себѣ къ тридцати годамъ лярингитъ, ревматизмъ, туберкулезъ... вѣдь это же стыдно намъ! Нашъ учитель восемь, девять мѣсяцевъ въ году живетъ какъ отшельникъ, ему не съ кѣмъ сказать слова, онъ тупѣетъ въ одиночествѣ, безъ книгъ, безъ развлеченій... а созоветъ онъ къ себѣ товарищей—его обвинятъ въ неблагонадежности... глупое слово, которымъ хитрые люди пугаютъ дураковъ!.. Отвратительно все это... точно какое-то издѣвательство надъ человѣкомъ, который дѣлаетъ большую, страшно важную работу... Знаете,—когда я вижу учителя,— мнѣ дѣлается неловко передъ нимъ и за его робость, и за то, что онъ плохо одѣтъ... мнѣ кажется, что въ этомъ убожествѣ учителя и самъ я чѣмъ-то виноватъ... серьезно!

Онъ замолчалъ, задумался и, махнувъ рукой, тихо сказалъ:

— Такая нелѣпая, неуклюжая страна—эта наша Россія.

Тѣнь глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкіе лучи морщинъ окружили ихъ, углубляя его взглядъ. Онъ посмотрѣлъ вокругъ и пошутилъ надъ собой.

— Видите, — цѣлую передовую статью изъ либеральной газеты я вамъ закатилъ... Пойдемте,—чаю дамъ... за то, что вы такой терпѣливый...

Это часто бывало у него:—говоритъ такъ тепло, серьезно, искренно и вдругъ усмѣхнется надъ собой и надъ рѣчью

своей. И въ этой мягкой, грустной усмѣшкѣ чувствовался тонкій скептицизмъ человѣка, знающаго цѣну словъ, цѣну мечтаній. И еще въ этой усмѣшкѣ сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли въ домъ. Тогда былъ ясный, жаркій день; играя яркими лучами солнца, шумѣли волны; подъ горой ласково повизгивала, чѣмъ-то довольная, собака. Чеховъ взялъ меня подъ руку и, покашливая, медленно проговорилъ:

— Это стыдно и грустно, а вѣрно: есть множество людей, которые завидуютъ собакамъ...

И тотчасъ же, засмѣявшись, добавилъ:

— Я сегодня говорю все дряхлыя слова... значитъ,— старѣю!

Мнѣ очень часто приходилось слышать отъ него:

— Тутъ, знаете, одинъ учитель пріѣхалъ... больной, женатъ... у васъ нѣтъ возможности помочь ему? Пока я его уже устроилъ...

Или:

— Слушайте, Горькій,—тутъ одинъ учитель хочетъ познакомиться съ вами... Онъ не выходитъ, боленъ... Вы бы сходили къ нему... хорошо?

Или:

— Вотъ, учительницы просятъ прислать книгъ...

Иногда я заставалъ у него этого „учителя“: обыкновенно онъ, красный отъ сознанія своей неловкости, сидѣлъ на краешкѣ стула и въ потѣ лица подбиралъ слова, стараясь говорить глаже и „образованнѣе“, или, съ развязностью болѣзненно застѣнчиваго человѣка, весь сосредоточивался на желаніи не показаться глупымъ въ глазахъ писателя и осыпалъ Антона Павловича градомъ вопросовъ, которые едва ли приходили ему въ голову до этого момента.

Антонъ Павловичъ внимательно слушалъ невеселую, нескладную рѣчь; въ его грустныхъ глазахъ поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на вискахъ, и вотъ своимъ глубокимъ, мягкимъ, точно матовымъ голосомъ онъ самъ начиналъ говорить простыя, ясныя, близкія къ жизни слова,—

слова, которыя какъ-то сразу упрощали собесѣдника: онъ переставалъ стараться быть умникомъ, отчего сразу становился и умнѣе, и интереснѣе...

Помню, одинъ учитель — высокій, худой, съ желтымъ, голоднымъ лицомъ и длиннымъ горбатымъ носомъ, меланхолически загнутымъ къ подбородку, сидѣлъ противъ Антона Павловича и, неподвижно глядя въ лицо ему черными глазами, угрюмо басомъ говорилъ:

— Изъ подобныхъ впечатлѣній бытія на протяженіи педагогическаго сезона образуется такой психическій конгломератъ, который абсолютно подавляетъ всякую возможность объективнаго отношенія къ окружающему міру. Конечно, міръ есть ничто иное, какъ только наше представленіе о немъ...

Тутъ онъ пустился въ область философіи и зашагалъ по ней, напоминая пьянаго на льду.

— А скажите,—не громко и ласково спросилъ Чеховъ,— кто это въ вашемъ уѣздѣ бьетъ ребятъ?

Учитель вскочилъ со стула и возмущенно замахалъ руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркалъ.

— Вы не волнуйтесь,—продолжалъ Антонъ Павловичъ, успокоительно улыбаясь,—развѣ я говорю про васъ? Но я помню—читалъ въ газетахъ—кто-то бьетъ... именно въ вашемъ уѣздѣ...

Учитель сѣлъ, вытеръ вспотѣвшее лицо и, облегченно вздохнувъ, глухимъ басомъ заговорилъ:

— Вѣрно... Былъ одинъ случай... Это—Макаровъ... Знаете—не удивительно! Дико, но — объяснимо. Женатъ онъ... четверо дѣтей... жена—больная... самъ—въ чахоткѣ... жалованье—20 р... а школа—погребъ и учителю—одна комната... При такихъ условіяхъ—ангела Божія поколотишь безо всякой вины... а ученики—они далеко не ангелы... ужъ повѣрьте!

И этотъ человѣкъ, только что безжалостно поражавшій Чехова своимъ запасомъ умныхъ словъ, вдругъ, зловѣще покачивая горбатымъ носомъ, заговорилъ простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко, какъ огнемъ, освѣщая

проклятую грозную правду той жизни, которой живетъ русская деревня...

Прощаясь съ хозяиномъ, учитель взялъ обѣими руками его небольшую сухую руку съ тонкими пальцами и, потрясая ее, сказалъ:

— Шелъ я къ вамъ, будто къ начальству,—съ робостью и дрожью... надулся, какъ индѣйскій пѣтухъ... хотѣлъ показать вамъ, что, молъ, и я не лыкомъ шитъ... а ухожу вотъ—какъ отъ хорошаго, близкаго человѣка, который все понимаетъ... Великое это дѣло—все понимать! Спасибо вамъ! Иду... Уношу съ собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливѣе... и ближе душой къ нашему брату, чѣмъ всѣ эти мизеры, среди которыхъ мы живемъ... Прощайте... Никогда я не забуду васъ...

Носъ у него вздрогнулъ, губы сложились въ добрую улыбку и онъ неожиданно добавилъ:

— А собственно говоря, и подлецы—тоже несчастные люди... чортъ ихъ возьми!

Когда онъ ушелъ, Антонъ Павловичъ посмотрѣлъ вслѣдъ ему, усмѣхнулся и сказалъ:

— Хорошій парень... Не долго проучитъ...

— Почему?

— Затравятъ... прогонятъ...

Подумавъ, онъ добавилъ негромко и мягко:

— Въ Россіи честный человѣкъ—что-то въ родѣ трубочиста, которымъ няньки пугаютъ маленькихъ дѣтей...

Мнѣ кажется, что всякій человѣкъ при Антонѣ Павловичѣ невольно ощущалъ въ себѣ желаніе быть проще, правдивѣе, быть болѣе самимъ собой, и я не разъ наблюдалъ, какъ люди сбрасывали съ себя пестрые наряды книжныхъ фразъ, модныхъ словъ и всѣ прочія дешевенькія штучки, которыми русскій человѣкъ, желая изобразить европейца, украшаетъ себя, какъ дикарь раковинами и рыбьими зубами. Ант. Павл. не любилъ рыбьи зубы и пѣтушиныя перья; все пестрое, гремящее и чужое, надѣтое человѣкомъ на себя для „пущей важности“, вызывало въ немъ смущеніе, и я замѣчалъ, что каждый разъ, когда онъ видѣлъ предъ собой разряженнаго

человѣка, имъ овладѣвало желаніе освободить его отъ всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собесѣдника. Всю жизнь А. Чеховъ прожилъ на средства своей души, всегда онъ былъ самимъ собой, онъ былъ внутренно свободенъ и никогда не считался съ тѣмъ, чего одни ожидали отъ Ант. Чехова, другіе—болѣе грубые—требовали. Онъ не любилъ разговоровъ на „высокія" темы,—разговоровъ, которыми этотъ милый русскій человѣкъ такъ усердно потѣшаетъ себя, забывая, что смѣшно, но совсѣмъ не остроумно разсуждать о бархатныхъ костюмахъ въ будущемъ, не имѣя въ настоящемъ даже приличныхъ штановъ.

Красиво-простой, онъ любитъ все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды, я помню, его посѣтили три пышно одѣтыя дамы; наполнивъ его комнату шумомъ шелковыхъ юбокъ и запахомъ крѣпкихъ духовъ, онѣ чинно усѣлись противъ хозяина, притворились, будто бы ихъ очень интересуетъ политика и—начали „ставить вопросы".

— Антонъ Павловичъ! А какъ вы думаете, чѣмъ кончится война?

Ант. Павл. покашлялъ, подумалъ и мягко, тономъ серьезнымъ, ласковымъ отвѣтилъ:

— Вѣроятно,—миромъ...

— Ну, да... конечно!—Но кто же побѣдитъ? Греки или турки?..

— Мнѣ кажется,—побѣдятъ тѣ, которые сильнѣе...

— А кто, по вашему, сильнѣе?—на перебой спрашивали дамы.

— Тѣ, которые лучше питаются и болѣе образованы...

— Ахъ, какъ это остроумно!—воскликнула одна.

— А кого вы больше любите—грековъ или турокъ?—спросила другая.

Ант. Павл. ласково посмотрѣлъ на нее и отвѣтилъ съ кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю—мармеладъ... а вы—любите?

— Очень!—оживленно воскликнула дама.

— Абрикосовскій!—солидно подтвердила другая.

А третья полузакрыла глаза и вкусно добавила:

— Онъ такой ароматный!

И всѣ три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладѣ прекрасную эрудицію и тонкое знаніе предмета. Было очевидно—онѣ очень довольны тѣмъ, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которыхъ онѣ до этой поры и не думали.

Уходя, онѣ весело пообѣщали Ант. Павловичу:

— Мы пришлемъ вамъ мармеладу!

— Вы славно бесѣдовали!—замѣтилъ я, когда онѣ ушли.

Ант. Павловичъ тихо разсмѣялся и сказалъ:

— Нужно, чтобъ каждый человѣкъ говорилъ своимъ языкомъ...

Другой разъ я засталъ у него молодого, красивенькаго товарища прокурора. Онъ стоялъ предъ Чеховымъ и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорилъ:

— Разсказомъ „Злоумышленникъ“ вы, Антонъ Павловичъ, ставите предо мной крайне сложный вопросъ. Если я признаю въ Денисѣ Григорьевѣ наличность злой воли, дѣйствовавшей сознательно, я долженъ, безъ оговорокъ, упечь Дениса въ тюрьму, какъ этого требуютъ интересы общества. Но онъ дикарь, онъ не сознавалъ преступности дѣянія... мнѣ его жалко! Если же я отнесусь къ нему, какъ къ субъекту, дѣйствовавшему безъ разумѣнія, и поддамся чувству состраданія,—чѣмъ я гарантирую общество, что Денисъ вновь не отвинтитъ гайки на рельсахъ и не устроитъ крушенія? Вотъ вопросъ! Какъ же быть?

Онъ замолчалъ, откинулъ корпусъ назадъ и уставился въ лицо Антону Павловичу испытующимъ взглядомъ. Мундирчикъ на немъ былъ новенькій и пуговицы на груди блестѣли такъ же самоувѣренно и тупо, какъ глазки на чистенькомъ личикѣ юнаго ревнителя правосудія.

— Если бъ я былъ судьей,—серьезно сказалъ Антонъ Павловичъ,—я бы оправдалъ Дениса...

— На какомъ основаніи?

— Я сказалъ бы ему: ты, Денисъ, еще не дозрѣлъ до типа сознательнаго преступника, ступай—и дозрѣй!

Юристъ засмѣялся, но тотчасъ же вновь сталъ торжественно серьезенъ и продолжалъ:

— Нѣтъ, уважаемый Ант. Павл.,—вопросъ, поставленный вами, можетъ быть разрѣшенъ только въ интересахъ общества, жизнь и собственность котораго я призванъ охранять. Денисъ—дикарь, да, но онъ—преступникъ,—вотъ истина!

— Вамъ нравится граммофонъ?—вдругъ ласково спросилъ Антонъ Павловичъ.

— О, да! Очень! Изумительное изобрѣтеніе!—живо отозвался юноша.

— А я терпѣть не могу граммофоновъ! — грустно сознался Антонъ Павловичъ.

— Почему?

— Да они же говорятъ и поютъ ничего не чувствуя... И все у нихъ каррикатурно выходитъ... мертво... А фотографіею вы не занимаетесь?

Оказалось, что юристъ страстный поклонникъ фотографіи; онъ тотчасъ же съ увлеченіемъ заговорилъ о ней, совершенно не интересуясь граммофономъ, несмотря на свое сходство съ этимъ „изумительнымъ изобрѣтеніемъ", тонко и вѣрно подмѣченное Чеховымъ. Снова я видѣлъ, какъ изъ мундира выглянулъ живой и довольно забавный человѣчекъ, который пока еще чувствовалъ себя въ жизни, какъ щенокъ на охотѣ.

Проводивъ юношу, Антонъ Павловичъ угрюмо сказалъ:

— Вотъ этакіе прыщи на... сидѣньѣ правосудія—распоряжаются судьбой людей...

И, помолчавъ, добавилъ:

— Прокуроры, должно быть, очень любятъ удить рыбу... особенно—ершей!

Онъ обладалъ искусствомъ всюду находить и оттѣнять пошлость,—искусствомъ, которое доступно только человѣку высокихъ требованій къ жизни, которое создается лишь горячимъ желаніемъ видѣть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила въ немъ жестокаго и остраго судью.

Кто-то разсказывалъ при немъ, что издатель популярнаго журнала, человѣкъ, постоянно разсуждающій о необходимости любви и милосердія къ людямъ—совершенно неосно-

вательно оскорбилъ кондуктора на желѣзной дорогѣ и что вообще этотъ человѣкъ крайне грубо обращается съ людьми, зависимыми отъ него.

— Ну, еще бы,—сказалъ Антонъ Павловичъ, хмуро усмѣхаясь, — вѣдь онъ же аристократъ... образованный... онъ же въ семинаріи учился! Отецъ его въ лаптяхъ ходилъ, а онъ носитъ лаковые ботинки...

И въ тонѣ этихъ словъ было что-то, что сразу сдѣлало „аристократа“ ничтожнымъ и смѣшнымъ.

— Очень талантливый человѣкъ!—говорилъ онъ объ одномъ журналистѣ.—Пишетъ всегда такъ благородно, гуманно... лимонадно... жену свою ругаетъ при людяхъ дурой... комната для прислуги у него сырая, и горничныя постоянно наживаютъ ревматизмъ...

— Вамъ, Антонъ Павловичъ, нравится NN?

— Да... очень... Пріятный человѣкъ...—покашливая, соглашается Антонъ Павловичъ.—Все знаетъ... читаетъ много... У меня три книги зачиталъ... Разсѣянный онъ... сегодня скажетъ вамъ, что вы чудесный человѣкъ, а завтра кому-нибудь сообщитъ, что вы прислугу обсчитываете, и у мужа вашей любовницы шелковые носки украли... черные, съ синими полосками...

Кто-то при немъ жаловался на скуку и тяжесть „серьезныхъ“ отдѣловъ въ толстыхъ журналахъ.

— А вы не читайте этихъ статей, — убѣжденно посовѣтовалъ Антонъ Павловичъ.—Это же дружеская литература... литература пріятелей... Ее сочиняютъ гг. Красновъ, Черновъ и Бѣловъ. Одинъ напишетъ статью, другой возразитъ, а третій примиряетъ противорѣчія первыхъ. Похоже, какъ будто они въ винтъ съ болваномъ играютъ... А зачѣмъ все это нужно читателю,—никто изъ нихъ себя не спрашиваетъ.

Однажды пришла къ нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одѣтая и начала говорить „подъ Чехова“:

— Скучно жить, Антонъ Павловичъ! Все такъ сѣро: люди, небо, море, даже цвѣты кажутся мнѣ сѣрыми... И нѣтъ желаній... душа въ тоскѣ... Точно какая-то болѣзнь...

— Это—болѣзнь! — убѣжденно сказалъ Антонъ Павловичъ. — Это болѣзнь... По-латыни она называется morbus

pritvorialis... Дама, къ ея счастью, видимо, не знала по-латыни, а можетъ быть скрыла, что знаетъ...

— Критики похожи на слѣпней, которые мѣшаютъ лошади пахать землю,—говорилъ онъ, усмѣхаясь своей умной усмѣшкой.—Лошадь работаетъ, всѣ мускулы натянуты, какъ струны на контрабасѣ... а тутъ на крупѣ садится слѣпень и щекочетъ, и жужжитъ... нужно встряхивать кожей и махать хвостомъ. О чемъ онъ жужжитъ? Едва ли ему понятно это... просто—характеръ у него безпокойный и заявить о себѣ хочется,—молъ, тоже на землѣ живу!.. Вотъ видите,—могу даже жужжать... обо всемъ могу жужжать! Я двадцать пять лѣтъ читаю критики на мои разсказы, а ни одного цѣннаго указанія не помню, ни одного добраго совѣта не слышалъ... Только однажды Скабичевскій произвелъ на меня впечатлѣніе... онъ написалъ, что я умру въ пьяномъ видѣ подъ заборомъ...

Въ его сѣрыхъ, грустныхъ глазахъ почти всегда мягко искрилась тонкая насмѣшка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; въ такія минуты его гибкій, задушевный голосъ звучалъ тверже, и тогда—мнѣ казалось, что этотъ скромный, мягкій человѣкъ, если онъ найдетъ нужнымъ, можетъ встать противъ враждебной ему силы крѣпко, твердо и не уступитъ ей.

Порою же, казалось мнѣ,—что въ его отношеніи къ людямъ было чувство какой-то безнадежности, близкое къ холодному, тихому отчаянію.

— Странное существо—русскій человѣкъ!—говорилъ онъ однажды.—Въ немъ, какъ въ рѣшетѣ, ничего не задерживается... Въ юности онъ жадно наполняетъ душу всѣмъ, что подъ руку попало, а послѣ тридцати лѣтъ въ немъ остается какой-то сѣрый хламъ... Чтобы хорошо жить, по-человѣчески—надо же работать! Работать съ любовью, съ вѣрой... А у насъ не умѣютъ этого... Архитекторъ, выстроивъ два-три приличныхъ дома, садится играть въ карты, играетъ всю жизнь, или же торчитъ за кулисами театра. Докторъ, если онъ имѣетъ практику, перестаетъ слѣдить за наукой, ничего, кромѣ „Новостей терапіи“, не читаетъ и въ сорокъ лѣтъ серьезно убѣжденъ, что всѣ болѣзни—простуднаго происхожденія. Я не встрѣчалъ ни одного чиновника, который

хоть немножко понималъ бы значеніе своей работы: обыкновенно онъ сидитъ въ столицѣ или губернскомъ городѣ, сочиняетъ бумаги и посылаетъ ихъ въ Зміевъ и Сморгонь для исполненія. А кого эти бумаги лишатъ свободы движенія въ Зміевѣ и Сморгони,—объ этомъ чиновникъ думаетъ такъ же мало, какъ атеистъ о мученіяхъ ада. Сдѣлавъ себѣ имя удачной защитой, адвокатъ уже перестаетъ заботиться о защитѣ правды, а защищаетъ только право собственности, играетъ на скачкахъ, ѣстъ устрицъ и изображаетъ собой тонкаго знатока всѣхъ искусствъ. Актеръ, сыгравши сносно двѣ-три роли, уже не учитъ больше ролей, а надѣваетъ цилиндръ и думаетъ, что онъ геній. Вся Россія—страна какихъ-то жадныхъ и лѣнивыхъ людей: они ужасно много и красиво ѣдятъ, пьютъ, любятъ спать днемъ и во снѣ храпятъ. Женятся они для порядка въ домѣ, а любовницъ заводятъ для престижа въ обществѣ. Психологія у нихъ—собачья: бьютъ ихъ—они тихонько повизгиваютъ и прячутся по своимъ конурамъ, ласкаютъ — они ложатся на спину, лапки кверху и виляютъ хвостиками...

Тоскливое и холодное презрѣніе звучало въ этихъ словахъ. Но, презирая, онъ сожалѣлъ, и когда, бывало, при немъ ругнешь кого-нибудь, Антонъ Павловичъ сейчасъ же вступится:

— Ну, зачѣмъ вы? Онъ же старикъ... ему же семьдесятъ лѣтъ...

Или:

— Онъ же вѣдь еще молодой... это же по глупости...

И когда онъ говорилъ такъ,—я не видѣлъ на его лицѣ брезгливости...

Въ юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружаетъ человѣка, своимъ сѣрымъ туманомъ пропитываетъ мозгъ и кровь его, какъ ядъ и угаръ, и человѣкъ становится похожъ на старую вывѣску, изъѣденную ржавчиной: какъ будто что-то изображено на ней, а что?—не разберешь.

Антонъ Чеховъ уже въ первыхъ разсказахъ своихъ умѣлъ открыть въ тускломъ морѣ пошлости ея трагически-мрачныя

шутки; стоитъ только внимательно прочитать его „юмористическіе“ разсказы, чтобы убѣдиться, какъ много за смѣшными словами и положеніями — жестокаго и противнаго скорбно видѣлъ и стыдливо скрывалъ авторъ.

Онъ былъ какъ-то цѣломудренно скроменъ, онъ не позволялъ себѣ громко и открыто сказать людямъ:

— Да будьте же вы... порядочнѣе!—тщетно надѣясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для нихъ быть порядочнѣе. Ненавидя все пошлое и грязное, онъ описывалъ мерзости жизни благороднымъ языкомъ поэта, съ мягкой усмѣшкой юмориста, и за прекрасной внѣшностью его разсказовъ мало замѣтенъ полный горькаго упрека ихъ внутренній смыслъ.

Почтеннѣйшая публика, читая „Дочь Альбіона“, смѣется и едва ли видитъ въ этомъ разсказѣ гнуснѣйшее издѣвательство сытаго барина надъ человѣкомъ одинокимъ, всему и всѣмъ чужимъ. И въ каждомъ изъ юмористическихъ разсказовъ Антона Павловича я слышу тихій, глубокій вздохъ чистаго, истинно-человѣческаго сердца, безнадежный вздохъ состраданія къ людямъ, которые не умѣютъ уважать свое человѣческое достоинство и, безъ сопротивленія подчиняясь грубой силѣ, живутъ, какъ рабы, и ни во что не вѣрятъ, кромѣ необходимости каждый день хлебать возможно болѣе жирныя щи, и ничего не чувствуютъ, кромѣ страха, какъ бы кто-нибудь сильный и наглый не побилъ ихъ.

Никто не понималъ такъ ясно и тонко, какъ Антонъ Чеховъ, трагизмъ мелочей жизни, никто до него не умѣлъ такъ безпощадно правдиво нарисовать людямъ позорную и тоскливую картину ихъ жизни въ тускломъ хаосѣ мѣщанской обыденщины.

Его врагомъ была пошлость; онъ всю жизнь боролся съ ней, ее онъ осмѣивалъ и ее изображалъ безстрастнымъ, острымъ перомъ, умѣя найти плѣсень пошлости даже тамъ, гдѣ съ перваго взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже—съ блескомъ... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положивъ его трупъ—трупъ поэта—въ вагонъ „для перевозки свѣжихъ устрицъ“.

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мнѣ именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости надъ уставшимъ

врагомъ, а безчисленныя „воспоминанія“ уличныхъ газетъ—лицемѣрной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыханіе все той же пошлости, втайнѣ довольной смертью врага своего.

Читая разсказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно въ грустный день поздней осени, когда воздухъ такъ прозраченъ и въ немъ рѣзко очерчены голыя деревья, тѣсные дома, сѣренькіе люди... Все такъ странно—одиноко, неподвижно и безсильно. Углубленныя синія дали - пустынны и, сливаясь съ блѣднымъ небомъ, дышатъ тоскливымъ холодомъ на землю, покрытую мерзлой грязью... Умъ автора, какъ осеннее солнце, съ жестокой ясностью освѣщаетъ избитыя дороги, кривыя улицы, тѣсные и грязные дома, въ которыхъ задыхаются отъ скуки и лѣни маленькіе жалкіе люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вотъ тревожно, какъ сѣрая мышь, шмыгаетъ „Душечка“,—милая, кроткая женщина, которая такъ рабски, такъ много умѣетъ любить. Ее можно ударить по щекѣ и она даже застонать громко не посмѣетъ, кроткая раба... Рядомъ съ ней грустно стоитъ Ольга изъ „Трехъ сестеръ“: она тоже много любитъ и безропотно подчиняется капризамъ развратной и пошлой жены своего лѣнтяя брата, на ея глазахъ ломается жизнь ея сестеръ, а она плачетъ и никому ничѣмъ не можетъ помочь, и ни одного живого, сильнаго слова протеста противъ пошлости нѣтъ въ ея груди.

Вотъ слезоточивая Раневская и другіе бывшіе хозяева „Вишневаго сада“,—эгоистичные, какъ дѣти, и дряблые, какъ старики. Они опоздали во-время умереть и ноютъ, ничего не видя вокругъ себя, ничего не понимая,—паразиты, лишенные силы снова присосаться къ жизни. Дрянненькій студентъ Трофимовъ красно говоритъ о необходимости работать и—бездѣльничаетъ, отъ скуки развлекаясь глупымъ издѣвательствомъ надъ Варей, работающей не покладая рукъ—для благополучія бездѣльниковъ.

Вершининъ мечтаетъ о томъ, какъ хороша будетъ жизнь черезъ триста лѣтъ, и живетъ, не замѣчая, что около него все разлагается, что на его глазахъ—Соленый отъ скуки и по глупости готовъ убить жалкаго барона Тузенбаха.

Проходитъ передъ глазами безчисленная вереница рабовъ и рабынь своей любви, своей глупости и лѣни, своей жадности къ благамъ земли; идутъ рабы темнаго страха предъ жизнью, идутъ въ смутной тревогѣ и наполняютъ жизнь безсвязными рѣчами о будущемъ, чувствуя, что въ настоящемъ—нѣтъ имъ мѣста...

Иногда въ ихъ сѣрой массѣ раздается выстрѣлъ,—это Ивановъ или Треплевъ догадались, что́ имъ нужно сдѣлать и—умерли.

Многіе изъ нихъ красиво мечтаютъ о томъ, какъ хороша будетъ жизнь черезъ двѣсти лѣтъ, и никому не приходитъ въ голову простой вопросъ: да кто же сдѣлаетъ ее хорошей, если мы будемъ только мечтать?

Мимо всей этой скучной, сѣрой толпы безсильныхъ людей прошелъ большой, умный, ко всему внимательный человѣкъ, посмотрѣлъ онъ на этихъ скучныхъ жителей своей родины и съ грустной улыбкой, тономъ мягкаго, но глубокаго упрека, съ безнадежной тоской на лицѣ и въ груди, красивымъ искреннимъ голосомъ сказалъ:

— Скверно вы живете, господа!

Стыдно такъ жить!

Л. Андреевъ.

МЕЛЬКОМЪ.

инв 1393

По одному непріятному и скучному дѣлу я былъ вызванъ изъ Москвы и освободился только къ десяти часамъ вечера, развинченный и злой. Другого дѣла у меня не было, но я торопливо шелъ на станцію, по привычкѣ человѣка, у котораго лежитъ въ боковомъ карманѣ записная книжка, а въ ней противъ каждаго дня отмѣчены десятки мѣстъ, куда нужно поспѣть, и ругалъ, ругалъ... право, не знаю, кого. Весь свѣтъ ругалъ: и тѣхъ, кто вызвалъ меня по этому глупому дѣлу, и себя за то, что поѣхалъ, и собакъ, существованіе которыхъ въ этой мѣстности я предполагахъ, и дождливое лѣто, и ночной мракъ, который уже царилъ всюду, особенно сгущаясь въ узенькихъ путаныхъ переулкалъ, пролегавшихъ между дачами. По серединѣ еще свѣтлѣла дорога, но по краямъ, гдѣ подъ тѣнью высокихъ деревьевъ проходила пѣшеходная тропинка, было такъ же черно, какъ и у меня на душѣ. По времени свѣту полагалось больше,—это происходило въ послѣднихъ числахъ іюня,—но передъ тѣмъ только что пронеслась сильная гроза, съ проливнымъ дождемъ и вѣтромъ, и посѣрѣвшія тучи еще не успѣли разсѣяться, точно имъ было такъ же трудно и непріятно двигаться въ тепломъ и сыромъ воздухѣ, какъ и мнѣ. Минутами онѣ спохватывались, какъ пьяница, который вспоминаетъ, что въ одномъ изъ кармановъ у него еще завалялся непропитый пятакъ, и возвратившись, съ трескомъ бросаетъ его удивленному цѣловальнику,—и посылали на землю рѣдкія, запоздавшія капли, лѣниво ударявшіяся о листья и траву и наполнявшія окрестность тихимъ шуршаніемъ. Деревья не

шевелились, и только, когда я съ усиленной бранью налеталъ плечомъ на темный стволъ сосны или задѣвалъ ногой кустарникъ, на меня сыпались частыя, теплыя брызги. У меня уже начинала являться пріятная догадка о томъ, что вмѣсто станціи я иду къ чорту на кулички, когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и въ нѣсколькихъ шагахъ на просвѣтлѣвшемъ пространствѣ тускло блеснули мокрые рельсы.

Маленькая, крытая платформочка, задавленная окружающимъ лѣсомъ и ежеминутно пугаемая громыхающими поѣздами, робко прижималась къ землѣ. На ней не было даже кассы, и въ продолжительной агоніи кончался холостякъ-фонарь, не только не разсѣивая тьмы, но скорѣе увеличивая ее. На стѣнѣ висѣло большое, оборванное по краямъ и никогда не читаемое росписаніе какихъ-то поѣздовъ съ мудреными линіями и черными ободами, а въ углу стояла единственная лавка, на которую я плотно усѣлся. До поѣзда оставалось еще болѣе часу, и я приготовился терпѣливо ждать. Для этихъ случаевъ у меня всегда бывала припасена газета или книга, но читать было темно да и не хотѣлось. Эти чужіе и выдуманные люди, о которыхъ будетъ говорить газета или книга, давно уже вызывали во мнѣ скуку и зависть. Что мнѣ до того, что тамъ гдѣ-то гремятъ витіи, кипитъ жизнью шумная толпа и крики побѣды, и яростные вопли побѣжденныхъ поднимаются къ небу,—когда вокругъ меня спитъ самый воздухъ, и самъ я кисну и буду киснуть въ этой неподвижной духотѣ? А въ книгѣ еще хуже: сочиненные Петры будутъ любить и цѣловать выдуманныхъ Марій, во имя проклятаго реализма порокъ будетъ торжествовать, а слюнявая добродѣтель ныть и киснуть, киснуть и ныть! Да и не все ли равно, быстро или медленно пройдетъ время? За этимъ часомъ пройдутъ другіе, и ихъ тоже нужно будетъ убивать,—такъ пусть они умираютъ сами, а я буду только подсчитывать трупы.

Увлеченный нытьемъ, я не замѣтилъ, какъ на платформу вышли изъ разныхъ концовъ двѣ пары. Первую составляли два подвыпившіе господина. Одинъ изъ нихъ былъ высокій, худощавый старикъ съ желтымъ лицомъ и рѣденькой сѣдой бороденкой, отъ тонкаго и широкаго рта спускав-

шейся клочками на гусиную шею. Изъ-подъ котелка, оставлявшаго въ тѣни верхнюю часть лица, спускался тонкій и длинный носъ, на концѣ острый, какъ у покойника. Спутникъ его обладалъ широкимъ и краснымъ лицомъ, подобнымъ ломтю зрѣлаго арбуза, при чемъ роль зеренъ выполняли маленькіе черные глазки,—стриженой круглой головой, на которой торчалъ бѣлый картузъ. Надъ пухлыми губами чернѣли маленькіе усики. Отъ всей его молодой, толстой фигурки несло нестерпимымъ блаженствомъ и какой-то обидной кротостью. Старикъ усѣлся возлѣ меня и заговорилъ высокимъ хриплымъ фальцетомъ, которому онъ старался придать язвительность и иронію.

— Будьте, Семенъ Семенычъ, солидарнѣе! Васъ немного намочило, вы и починяйтесь.

— Но чѣмъ же я починюсь, Василь Игнатычъ? Буфета нѣтъ.

— Это дѣло ваше. Толците и отверзится.

— Чему отверзаться-то? Стѣна.

Молодой человѣкъ въ подтвержденіе своихъ словъ стукнулъ кулакомъ въ тонкую стѣну, издавшую звукъ пустого пространства, и откачнулся назадъ, но сдѣлавъ при этомъ такой видъ, какъ будто ему давно уже хотѣлось откачнуться, и онъ только пользуется удобнымъ случаемъ.

— Но зачѣмъ утруждаете вы меня вашими гнусными воплями?—спросилъ старикъ. Весь онъ былъ преисполненъ вѣжливости, ироніи и яда, которымъ особую силу придавали частые знаки препинанія.

— Сердце у меня золотое, съ хорошимъ человѣкомъ поговорить желательно. Покуримъ, старина?

— Это дѣло ваше. А только я не старина, я Василь Игнатычъ, и всякой пьяной свиньѣ не товарищъ.

— А сами-то вы не пили?—оскорбился тотъ.

— Это дѣло наше.

Другая пара стояла между тѣмъ въ нерѣшимости.

— Уйдемъ, Саша, тутъ пьяные.

— Ничего, они тихіе, сядемъ вонъ тамъ въ углу.

Высокая женская фигура въ сѣромъ клеенчатомъ плащѣ медленно тронулась, и за ней послѣдовалъ тотъ, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свѣтъ

упалъ на красивое женское лицо и юношу съ длинными волосами и въ синей съ косымъ воротомъ рубашкѣ. Видомъ своимъ онъ напоминалъ интеллигентнаго рабочаго или студента, снявшаго форму. Дѣвушка держалась спокойно и говорила рѣшительно, мало придавая значенія тому, что ее услышатъ. Голосъ ея—чистый и мягкій—звучалъ лаской въ самомъ простомъ словѣ. Такія женщины, съ ласковымъ голосомъ и увѣренными движеніями, особенно хорошо ухаживаютъ за больными.

Разостлавъ на полу клеенчатый плащъ, они усѣлись, тѣсно прижавшись другъ къ другу, и изъ-за лохматой головы на плечо легла тонкая бѣлая рука.

— Милый, тебѣ не холодно?

— Конечно, нѣтъ,—отвѣтилъ онъ съ тѣмъ пренебреженіемъ, какимъ мужчины отвѣчаютъ на женскую заботливость.

А мнѣ уже становилось холодно, и я зябко ежился въ своемъ одинокомъ и жесткомъ углу.

— А какъ насъ знатно вымочило!—продолжалъ тотъ же ласковый голосъ со скрытымъ смѣхомъ.—И какъ страшно въ лѣсу, когда гроза.

— Ну, что тамъ страшнаго. Скорѣе—пріятно. А твои тамъ, дома не будутъ безпокоиться о тебѣ? Запропала невѣдомо куда.

— Пусть ихъ,—отвѣтила дѣвушка и счастливо разсмѣялась, но тотчасъ же перешла въ серьезный тонъ:—а странно, правда, что время такъ долго тянется безъ тебя. Ты когда былъ здѣсь?

— Вчера.

— Вчера?—протянулъ голосъ.—И то вѣдь вчера. Вотъ потѣха-то! Я думала, что они врутъ.

— Кто они?

— Да вотъ тѣ, что романы пишутъ.

— Кстати, кончила ты Каутскаго? У меня просили его.

Отвѣта я не слыхалъ. Уже давно доносился издали гулъ, тихій и неотзывчивый въ сѣромъ воздухѣ, поглащающемъ звуки. То шелъ не то пассажирскій, не то курьерскій поѣздъ, не останавливающійся на этой платформѣ. Постепенно

гулъ возрасталъ, и изъ за стѣны, закрывавшей отъ меня правую сторону пути, внезапно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, какъ вихрь, съ громомъ и лязгомъ таща за собой тяжелые вагоны. Освѣщенныя окна сливались въ одну блестящую полосу съ мелькающими силуэтами головъ. Съ низенькой платформы, стоявшей почти на одномъ уровнѣ съ рельсами, видно было, какъ торопливо вертятся колеса, кажущіяся легкими и прозрачными.

Наступила минутная тишина, нарушенная блаженнымъ молодымъ человѣкомъ, въ которомъ этотъ пронесшійся ураганъ, видимо, пробудилъ новыя силы. Отчаянно фальшивымъ голосомъ онъ запѣлъ:

— Блѣдный мѣсяцъ... плыветъ надъ рѣ-ѣ-кою...

— Врешь—комментировалъ старикъ съ язвительностью.— Возьмите глаза въ зубы, и вы увидите тучи.

...Все въ а-объятьяхъ... ночной тишины..

— Хороша тишина! Оретъ, какъ пришпандоренный.

...Ничего мнѣ на свѣтѣ... не надо-о-о...

— И опять врете. Полбутылки надо.

...Только видѣть... тебя одное!..

— Эту рожу-то? Тьфу,—съ омерзѣніемъ плюнулъ старикъ.

— Послушайте! Почему вы говорите, что у нея рожа? Вы сами видѣли, какая у нея прелестная личность.

— Къ вашей пьяной рожѣ никакая личность не подойдетъ.

Молодой человѣкъ задумался и рѣшительно произнесъ:

— За эти слова я больше съ вами не знакомъ.

— Дѣло ваше.

Съ другой стороны слышалось:

— Ты понюхай, Саша, какъ хорошо пахнетъ: листьями и еще чѣмъ-то.

— Да ужъ нюхалъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, еще.

Юноша съ шипѣніемъ потянулъ воздухъ, и оба разсмѣялись. На блаженнаго молодого человѣка молчаніе дѣйствовало удручающе и онъ заговорилъ, подражая ироническому тону старика.

— А вотъ съ какимъ поѣздомъ мы поѣдемъ?

— Ни съ какимъ.

— Н-ну?—изумился молодой человѣкъ и икнулъ.—Почему же это, хотѣлъ бы я знать?

— Потому что не пустятъ. Скажутъ: куда, пьяная морда, лѣзешь?

— Это кто же морда-то? Скажемъ: двѣ пьяныя морды.

— Да еще по шеѣ накладутъ,—ехидничалъ старикъ.

— О?

— Да протоколъ составятъ.

— О?—все больше таращились глаза молодого человѣка.

— Да въ титы. Посиди, голубчикъ, охладись, а то чувствителенъ больно.

Молодой человѣкъ задумался и торжественно провозгласилъ:

— Я съ вами больше не знакомъ, потому что вы вредный человѣкъ.

Несмотря на то, что эту торжественную формулу онъ заключилъ новой звучной икотой, видно было, что онъ огорчился и весь какъ-то потускнѣлъ, точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я понялъ теперь и причину этого омраченнаго блаженства: оно было тѣмъ отпечаткомъ, который накладываютъ на человѣка ласки и поцѣлуи любимой женщины. Но на что злился старикъ?

— Какой мрачный господинъ,—сказала шопотомъ дѣвушка, очевидно намекая на меня. Мнѣ было пріятно, что я замѣченъ и что, главное, замѣчена моя мрачность. Пусть хоть пожалѣютъ меня, эти милые люди,—меня, у котораго нѣтъ любви.

— Бабушку схоронилъ,—предположилъ юноша.

Это предположеніе было поразительно глупо. Кто бываетъ такъ мраченъ, схоронивъ бабушку, и почему именно бабушку, а не дѣдушку?

— Ха-ха-ха!—звонко разсмѣялась дѣвушка, но сейчасъ же, съ своимъ обычнымъ переходомъ къ милой серьезности, добавила раскаивающимся голосомъ:—быть можетъ, онъ боленъ, а мы смѣемся.

Это была эпитафія, съ которой меня снова опустили въ пучину небытія, откуда извлекли на одну минуту, чтобы моя мрачность ярче оттѣнила ихъ свѣтлое счастье. И снова повелся ими серьезный, дѣловой разговоръ о заграницѣ, о ме-

дицинскомъ институтѣ, о правилахъ пріема въ него, о книжкахъ прочитанныхъ и тѣхъ, которыя нужно еще прочесть, а въ этотъ разговоръ врывалась шаловливымъ лучомъ милая и пустая болтавня, легкая и красивая, словно бѣлая пѣна на поверхности золотистаго крѣпкаго вина. Весь міръ казался имъ пустякомъ, и каждый пустякъ былъ цѣлымъ міромъ. Чувствовалось то благоговѣйное вниманіе, съ которымъ эта высокая, красивая дѣвушка ловила каждое слово, которое скупо, какъ драгоцѣнность, выпускалъ длинноволосый юноша. Какимъ благодарнымъ смѣхомъ отвѣчала она, когда это слово оказывалось умнымъ и острымъ! Разсыпь сейчасъ передъ ней Цицеронъ всѣ самые пышные цвѣты изъ своего неувядаемаго вѣнка, блистай передъ ней Гейне всѣми перлами язвительной насмѣшки и мистически-страстной нѣжности, плачь и хмурься передъ нею Данте, соберись тутъ, наконецъ, всѣ великіе умы и сердца и положи къ ногамъ ея дары свои, она, эта красивая дѣвушка, не обернула бы къ нимъ головы и жаднымъ ухомъ ловила бы каждое слово длинноволосаго молодца. Она смѣется, счастливая и благодарная, точно все это: и ея возлюбленный, и смѣшные пьяные, и сумрачный господинъ, схоронившій свою бабушку, существуютъ лишь для полноты ея счастья. Мы не были живые люди,— мы были лишь тѣни, картинки.

— Какъ быстро бѣжитъ время!—жаловалась она.

А я не зналъ, какъ убить это время!

— Можетъ быть, мои часы спѣшатъ?

Маленькіе золотые часики сблизились съ большими серебряными часами и обѣ головы склонились надъ ними. Но, вѣроятно, кромѣ часовъ, сблизилось что-нибудь другое, потому что слишкомъ уже долго не опредѣлялся настоящій часъ.

— Кажется, вѣрно?—смущенно сказалъ женскій голосъ съ легкой дрожью.

— Вѣрно!—авторитетно сказалъ юноша.

Вѣрно! Какъ слѣпы эти счастливые люди. Невѣрно! Тысячу разъ невѣрно! И проклянете тотъ день, когда ваши часы пойдутъ такъ правильно, что ни въ одной убитой минутѣ вы не ошибетесь, и маленькіе часики далеко отъ васъ будутъ отбивать такія же грустныя и пустыя секунды.

Тучи уже проходили, и на западѣ, прямо противъ плат-

формы свѣтлой полосой проступило чистое, прозрачное небо. На немъ чернѣли, какъ вырѣзанные изъ плотной бумаги, силуэты разбросанныхъ деревьевъ. Свѣжѣе и суше сталъ воздухъ, на ближайшей дачѣ глухо зарокоталъ рояль, и къ нему присоединились согласные стройные голоса.

— Пойдемъ слушать,—быстро вскочила дѣвушка и потащила за рукавъ неуклюже поднимавшагося юношу.

Пойдемъ и мы, — пусть до конца оттаиваетъ застывшее сердце. Пѣли хорошо, какъ рѣдко поютъ на дачахъ, гдѣ каждая безголосая собака считаетъ себя обязанной къ вытью. И пѣсня была грустная и нѣжная. Мягкій, красивый баритонъ гудѣлъ сдержанно и взволнованно, какъ будто подтверждая то, на что страстно жаловался высокій и звучный теноръ. А жаловался онъ на то, что дни и ночи думаетъ все о ней одной.

— Объ одной тебѣ думу думаю,—плакалъ теноръ.

— Думу думаю,—грустно соглашался баритонъ.

— Объ одной тебѣ, моя душечка,—звенѣлъ слезами теноръ.

— Душечка,—мягко подтверждалъ баритонъ.

— И умру я, жизнь проклинаючи, объ одной тебѣ вспоминаючи...

— Объ одной тебѣ вспоминаючи,—съ глубокою тоскою подтвердилъ баритонъ, и все стихло. Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка, и когда пѣсня кончилась, разомъ вздохнула—и поцѣловалась. Я отправился на платформу, откуда послышался отчаянно-фальшивый голосъ, беззаботно обходившійся всего двумя нотами, одинаково скверными: простымъ крикомъ и дикимъ крикомъ. Молодой человѣкъ съ золотымъ сердцемъ не могъ остаться нечувствительнымъ къ любовному призыву и отвѣчалъ, какъ умѣлъ...

Ничего мнѣ... на свѣтѣ... не нада-а...
Только видѣть тебя одное...

— Врете!—шипѣлъ старикъ, пытаясь заглушить кричащаго.—Дубину хорошую надо!

Бѣдный старикъ! Теперь я понялъ, почему онъ такъ злился. Онъ завидовалъ, какъ и я.

Протрещалъ звонокъ, извѣщающій о выходѣ поѣзда, и вскорѣ послышался тотъ же ровный и тихій гулъ. Сейчасъ онъ унесетъ меня отсюда, и навѣки исчезнетъ для меня эта

низенькая и темная платформочка, и только въ воспоминаніи увижу я милую дѣвушку. Какъ песчинка, скроется она отъ меня въ морѣ человѣческихъ жизней и пойдетъ своею далекой дорогой къ жизни и счастью.

Снова изъ-за стѣны вырвалось черное чудовище и, сдержанное могучей властью, остановило, вздрагивая, свой стремительный бѣгъ. Находя другъ на друга и треща и скрѣпя тормазами, проползали вагоны и остановились съ глухимъ стукомъ. Стало тихо, и только шипѣлъ воздухъ, выходя изъ тормазныхъ трубъ.

Пьяныхъ, дѣйствительно, на поѣздъ не пустили, и старикъ съ злорадствомъ говорилъ:

— Что? Поѣхали?

— Нич-чево. Поѣдемъ на слѣдующемъ.

— А на слѣдующемъ и по шеѣ накладутъ.

Я стоялъ на площадкѣ вагона, противъ длинноволосаго юноши, пристально смотрѣвшаго на высокую, стройную фигуру, такимъ же продолжительнымъ взглядомъ впившуюся въ него. Поѣздъ дернулся и плавно пошелъ, отрывисто стуча и покачиваясь на стыкахъ рельсъ.

— До свиданья, Саша,—сказала дѣвушка.

— До свиданія,—отвѣтилъ онъ.

— Прощай,—тихо молвилъ я, склоняя голову.

— До завтра!—донеслось уже издали и глухо.

— До завтра,—крикнулъ онъ.

„Навсегда“,—отвѣтилъ тихо я. „Навсегда“—прощались со мной черные силуэты деревьевъ и убѣгали назадъ. „Навсегда“,—сказала платформа и скрылась за поворотомъ.

Однако, пойти въ вагонъ, а то становится холодновато: мечты мечтами, а насморкъ насморкомъ. Да заглянуть заодно и въ записную книжку: куда и куда бѣжать мнѣ завтра спозаранку.

Л. Андреевъ.

БЕНЪ-ТОВИТЪ.

Въ тотъ страшный день, когда совершилась міровая несправедливость и на Голгоѣ, среди разбойниковъ былъ распятъ Іисусъ Христосъ,—въ тотъ день съ самаго ранняго утра у іерусалимскаго торговца Бенъ-Товита нестерпимо разболѣлись зубы. Началось это еще наканунѣ, съ вечера: слегка стало ломить правую челюсть. а одинъ зубъ, крайній передъ зубомъ мудрости, какъ будто немного приподнялся и, когда къ нему прикасался языкъ, давалъ легкое ощущеніе боли. Послѣ ѣды боль, однако, совершенно утихла и Бенъ-Товитъ совсѣмъ забылъ о ней и успокоился,—онъ въ этотъ день выгодно вымѣнялъ своего стараго осла на молодого и сильнаго, былъ очень веселъ и не придалъ значенія зловѣщимъ признакамъ.

И спалъ онъ очень хорошо и крѣпко, но передъ самымъ разсвѣтомъ что-то начало тревожить его, какъ будто кто-то звалъ его по какому-то очень важному дѣлу, и когда Бенъ-Товитъ сердито проснулся—у него болѣли зубы, болѣли открыто и злобно, всею полнотою острой, сверлящей боли. И уже нельзя было понять, болитъ ли это вчерашній зубъ, или къ нему присоединились и другіе весь ротъ и голова полны были ужаснымъ ощущеніемъ боли, какъ будто Бенъ-Товита заставили жевать тысячу раскаленныхъ до-красна острыхъ гвоздей. Онъ взялъ въ ротъ воды изъ глинянаго кувшина,—на минуту ярость боли исчезла, зубы задергались и волнообразно заколыхались, и это ощущеніе было даже пріятно по сравненію съ предыдущимъ. Бенъ-Товитъ снова улегся, вспомнилъ про новаго ослика и подумалъ, какъ бы былъ онъ счастливъ, если бы не эти зубы, и хотѣлъ уснуть.

Но вода была теплая,—и черезъ пять минутъ боль вернулась еще болѣе свирѣпая, чѣмъ прежде, и Бенъ-Товитъ сидѣлъ на постели и раскачивался, какъ маятникъ. Все лицо его сморщилось и собралось къ большому носу, а на носу, поблѣднѣвшемъ отъ страданій, застыла капелька холоднаго пота. Такъ, покачиваясь и стоная отъ боли, онъ встрѣтилъ первые лучи того солнца, которому суждено было видѣть Голгоѳу съ тремя крестами, и померкнуть отъ ужаса и горя.

Бенъ-Товитъ былъ добрый и хорошій человѣкъ, не любившій несправедливости, но, когда проснулась его жена, онъ, еле разжимая ротъ, наговорилъ ей много непріятнаго и жаловался, что его оставили одного, какъ шакала, выть и корчиться отъ мученій. Жена терпѣливо приняла незаслуженные упреки, такъ какъ знала, что не отъ злого сердца говорятся они, и принесла много хорошихъ лѣкарствъ: крысинаго очищеннаго помета, который нужно прикладывать къ щекѣ, острой настойки на скорпіонѣ и подлинный осколокъ камня отъ разбитой Моисеемъ скрижали завѣта. Отъ крысинаго помета стало нѣсколько лучше, но не надолго, такъ же отъ настойки и камешка, но всякій разъ послѣ кратковременнаго улучшенія боль возвращалась съ новой силой. И въ краткія минуты отдыха Бенъ-Товитъ утѣшалъ себя мыслью объ осликѣ и мечталъ о немъ, а когда становилось хуже—стоналъ, сердился на жену и грозилъ, что разобьетъ себѣ голову о камень, если не утихнетъ боль. И все время ходилъ изъ угла въ уголъ по плоской крышѣ своего дома, стыдясь близко подходить къ наружному краю, такъ какъ вся голова его была обвязана платкомъ, какъ у женщины. Нѣсколько разъ къ нему прибѣгали дѣти и что-то разсказывали торопливыми голосами о Іисусѣ Назореѣ. Бенъ-Товитъ останавливался, минуту слушалъ ихъ, сморщивъ лицо, но потомъ сердито топалъ ногой и прогонялъ: онъ былъ добрый человѣкъ и любилъ дѣтей, но теперь онъ сердился, что они пристаютъ къ нему со всякими пустяками.

Было также непріятно и то, что на улицѣ и на сосѣднихъ крышахъ собралось много народу, который ничего не дѣлаетъ и любопытно смотритъ на Бенъ-Товита, обвязаннаго платкомъ, какъ женщина. И онъ уже собирался сойти внизъ, когда жена сказала ему:

— Посмотри, вонъ ведутъ разбойниковъ. Быть можетъ, это развлечетъ тебя.

— Оставь меня, пожалуйста. Развѣ ты не видишь, какъ я страдаю?—сердито отвѣтилъ Бенъ-Товитъ. Но въ словахъ жены звучало смутное обѣщаніе, что зубы могутъ пройти, и нехотя онъ подошелъ къ парапету. Склонивъ голову набокъ, закрывъ одинъ глазъ и подпирая щеку рукою, онъ сдѣлалъ брезгливо-плачущее лицо и посмотрѣлъ внизъ.

По узенькой улицѣ, поднимавшейся въ гору, безпорядочно двигалась огромная толпа, окутанная пылью и несмолкающимъ крикомъ. По серединѣ ея, сгибаясь подъ тяжестью крестовъ, двигались преступники, и надъ ними вились, какъ черные змѣи, бичи римскихъ солдатъ. Одинъ,—тотъ, что съ длинными свѣтлыми волосами, въ разорванномъ и окровавленномъ хитонѣ,—споткнулся на брошенный подъ ноги камень и упалъ. Крики сдѣлались громче, и толпа, подобно разноцвѣтной морской водѣ, сомкнулась надъ упавшимъ. Бенъ-Товитъ внезапно вздрогнулъ отъ боли, — въ зубъ точно вонзилъ кто-то раскаленную иглу и повернулъ ее— застоналъ: у-у-у,—и отошелъ отъ парапета, брезгливо-равнодушный и злой.

— Какъ они кричатъ!—завистливо сказалъ онъ, представляя широко открытые рты съ крѣпкими неболѣющими зубами, и какъ бы закричалъ онъ самъ, если бы былъ здоровъ. И отъ этого представленія боль освирѣпѣла, и онъ часто замоталъ обвязанной головой и замычалъ: м-у-у...

— Разсказываютъ, что Онъ исцѣлялъ слѣпыхъ,—сказала жена, не отходившая отъ парапета, и бросила камешекъ въ то мѣсто, гдѣ медленно двигался поднятый бичами Іисусъ.

— Ну, конечно! Пусть бы Онъ исцѣлилъ вотъ мою зубную боль,—иронически отвѣтилъ Бенъ-Товитъ и раздражительно съ горечью добавилъ:—какъ они пылятъ! Совсѣмъ какъ стадо! Ихъ всѣхъ нужно бы разогнать палкой! Отведи меня внизъ, Сара!

Жена оказалась права: зрѣлище нѣсколько развлекло Бенъ-Товита, а, быть можетъ, помогъ въ концѣ концовъ крысиный пометъ, и ему удалось уснуть. А когда онъ проснулся, боль почти исчезла, и только на правой челюсти вздулся небольшой флюсъ, настолько небольшой, что его едва можно

было замѣтить. Жена говорила, что совсѣмъ незамѣтно, но Бенъ-Товитъ лукаво улыбался: онъ зналъ, какая добрая у него жена и какъ она любитъ сказать пріятное. Пришелъ сосѣдъ, кожевенникъ Самуилъ, и Бенъ-Товитъ водилъ его посмотрѣть новаго ослика и съ гордостью выслушивалъ горячія похвалы себѣ и животному.

Потомъ, по просьбѣ любопытной Сары, они втроемъ пошли на Голгоѳу посмотрѣть на распятыхъ. Дорогою Бенъ-Товитъ разсказывалъ Самуилу съ самаго начала, какъ вчера онъ почувствовалъ ломоту въ правой челюсти и какъ потомъ ночью проснулся отъ страшной боли. Для наглядности онъ дѣлалъ страдальческое лицо, закрывалъ глаза, моталъ головой и стоналъ, а сѣдобородый Самуилъ сочувственно качалъ головою и говорилъ:

— Ай-ай-ай! Какъ больно!

Бенъ-Товиту понравилось одобреніе, и онъ повторилъ разсказъ и потомъ вернулся къ тому отдаленному времени, когда у него испортился еще только первый зубъ, внизу съ лѣвой стороны. Такъ въ оживленной бесѣдѣ они пришли на Голгоѳу. Солнце, осужденное свѣтить міру въ этотъ страшный день, закатилось уже за отдаленные холмы и на западѣ горѣла, какъ кровавый слѣдъ, узкая, багрово-красная полоса. На фонѣ ея неразборчиво темнѣли кресты, и у подножія средняго креста смутно бѣлѣли какія-то колѣнопреклоненныя фигуры.

Народъ давно разошелся; становилось холодно, и мелькомъ взглянувъ на распятыхъ, Бенъ-Товитъ взялъ Самуила подъ руку и осторожно повернулъ его къ дому. Онъ чувствовалъ себя особенно краснорѣчивымъ, и ему хотѣлось досказать о зубной боли. Такъ шли они, и Бенъ-Товитъ подъ сочувственные кивки и возгласы Самуила дѣлалъ страдальческое лицо, моталъ головой и искусно стоналъ,—а изъ глубокихъ ущелій, съ далекихъ обожженныхъ равнинъ поднималась черная ночь. Какъ будто хотѣла она сокрыть отъ взоровъ неба великое злодѣяніе земли.

Л. Андреевъ.

МАРСЕЛЬЕЗА.

Это было ничтожество: душа зайца и безстыдная терпѣливость рабочаго скота. Когда судьба насмѣшливо и злобно бросила его въ наши черные ряды, мы смѣялись, какъ сумасшедшіе: вѣдь бываютъ же такія смѣшныя, такія нелѣпыя ошибки. А онъ—онъ, конечно, плакалъ. Я никогда въ жизни не встрѣчалъ человѣка, у котораго было бы такъ много слезъ и они текли бы такъ охотно — изъ глазъ, изъ носа, изо рта. Точно губка, пропитанная водою и зажатая въ кулакъ. И въ нашихъ рядахъ я видѣлъ плачущихъ мужчинъ, но ихъ слезы были —огонь, отъ котораго бѣжали дикіе звѣри. Отъ этихъ мужественныхъ слезъ старѣло лицо и молодѣли глаза: какъ лава, исторгнутая изъ раскаленныхъ нѣдръ земли, онѣ выжигали неизгладимые слѣды и хоронили подъ собою цѣлые города ничтожныхъ желаній и мелкихъ заботъ. А у этого, когда онъ поплачетъ, только краснѣлъ его носикъ, да намокалъ платочекъ. Вѣроятно, онъ сушилъ его потомъ на веревочкѣ, иначе откуда набралъ бы онъ столько платковъ?

И во всѣ дни изгнанія онъ таскался къ начальникамъ, ко всѣмъ начальникамъ, какіе только были и какихъ онъ могъ придумать, кланялся, плакалъ, клялся въ своей невиновности, умолялъ пожалѣть его молодость, давалъ обѣщанія всю жизнь не открывать рта иначе, какъ для просьбъ и славословій. И тѣ смѣялись надъ нимъ, какъ и мы, и называли его: „маленькая несчастная свинья“, и кричали ему:

— Эй ты, маленькая свинья!

И онъ послушно бѣжалъ на зовъ: онъ думалъ каждый разъ услышать вѣсть о возвращеніи на родину, а они только шутили. Они знали, какъ и мы, что онъ невиновенъ, но его

муками они думали напугать другихъ маленькихъ свиней,— какъ будто и такъ недостаточно трусливы онѣ!

Приходилъ онъ и къ намъ, гонимый животнымъ страхомъ одиночества; но суровы и замкнуты были наши лица. и тщетно онъ искалъ ключа. Теряясь, онъ называлъ насъ милыми товарищами и друзьями, а мы качали головой и говорили:

— Смотри! Тебя услышатъ.

И онъ позволялъ себѣ глядѣть на дверь, эта маленькая свинья. Ну, развѣ можно было сохранить серьезность! И мы смѣялись отвыкшими отъ смѣху голосами, а онъ, ободренный и утѣшенный, присаживался ближе и разсказывалъ, и плакалъ о своихъ любимыхъ книжечкахъ, оставшихся на столѣ, о своей мамашѣ и братцахъ, о которыхъ онъ не знаетъ,— живы они или уже умерли отъ страха и тоски.

Подъ конецъ мы его выгоняли.

Когда началась голодовка, его охватилъ ужасъ—невыразимо-комичный ужасъ. Вѣдь онъ очень любилъ покушать, бѣдная свинья, и онъ очень боялся милыхъ товарищей и очень боялся начальниковъ: растерянно бродилъ онъ среди насъ и часто вытиралъ платкомъ лобъ, на которомъ выступило что-то—слезы или потъ. И нерѣшительно спросилъ меня:

— Вы долго будете голодать?

— Долго,—сурово отвѣтилъ я.

— А потихоньку вы ничего не будете ѣсть?

— Мамаши будутъ присылать намъ пирожковъ,—серьезно согласился я. Онъ недовѣрчиво посмотрѣлъ на меня, покачалъ головою и, вздохнувъ, ушелъ. А на другой день заявилъ, зеленый отъ страха, какъ попугай:

— Милые товарищи! Я тоже буду голодать съ вами.

И былъ общій отвѣтъ:

— Голодай одинъ.

И онъ голодалъ! Мы не вѣрили, какъ не вѣрите вы, мы думали, что онъ ѣстъ что-нибудь потихоньку, и такъ же думали надсмотрщики. И когда подъ конецъ голодовки онъ заболѣлъ голоднымъ тифомъ, мы только пожали плечами: бѣдная, маленькая свинья! Но одинъ изъ насъ,—тотъ, что никогда не смѣялся, угрюмо сказалъ:

— Онъ нашъ товарищъ. Пойдемъ къ нему.

Онъ бредилъ, и жалокъ, какъ вся его жизнь, былъ этотъ безсвязный бредъ. О своихъ любимыхъ книжечкахъ говорилъ онъ, о мамашѣ и братцахъ; онъ просилъ пирожковъ, —холодныхъ, какъ ледъ, вкусныхъ пирожковъ, и клялся, что невиновенъ и просилъ прощенія. И родину онъ звалъ, звалъ милую Францію,—о, будь проклято слабое сердце человѣка! Онъ душу раздиралъ этимъ зовомъ: милая Франція!

Мы всѣ были въ палатѣ, когда онъ умиралъ. Сознаніе вернулось къ нему передъ смертью, и тихо онъ лежалъ, такой маленькій, слабый, и тихо стояли мы, его товарищи. И всѣ мы, всѣ до единаго, услышали, какъ онъ сказалъ:

— Когда я умру, пойте надо мною „Марсельезу".

— Что ты говоришь! — воскликнули мы, содрогаясь отъ радости и закипающаго гнѣва. И онъ повторилъ:

— Когда я умру, пойте надо мною „Марсельезу".

И впервые случилось такъ, что сухи были его глаза, а мы—мы плакали, плакали всѣ до единаго, и какъ огонь, отъ котораго бѣгутъ дикіе звѣри, горѣли наши слезы.

Онъ умеръ, и мы пѣли надъ нимъ „Марсельезу". Молодыми и сильными голосами пѣли мы великую пѣсню свободы, и грозно вторилъ намъ океанъ и на хребтахъ валовъ своихъ несъ въ милую Францію и блѣдный ужасъ, и кроваво-красную надежду. И навсегда сталъ онъ знаменемъ нашимъ,—это ничтожество съ тѣломъ зайца и рабочаго скота—и великою душою человѣка. На колѣни передъ героемъ, товарищи и и друзья!

Мы пѣли. На насъ смотрѣли ружья, зловѣще щелкали ихъ замки и острыя жала штыковъ угрожающе тянулись къ нашимъ сердцамъ, — и все громче, все радостнѣе звучала грозная пѣсня, въ нѣжныхъ рукахъ бойцовъ тихо колыхался черный гробъ.

Мы пѣли „Марсельезу"!

П. Д. Боборыкинъ.

УЧИТЕЛЬ.

Изъ воспоминаній.

I.

На московскомъ съѣздѣ—въ зиму прошлаго года—я видѣлъ воочію, какъ вошла въ жизнь и впервые почувствовала свою нравственную и общественную силу цѣлая армія народныхъ учителей и учительницъ.

Кто помнитъ времена моего дѣтства, тотъ долженъ сознаться, что тогда (т. е. пятьдесятъ слишкомъ лѣтъ назадъ) не было и намека на что-либо подобное. Существовало слово „учитель", существовалъ и онъ самъ. Но что̀ онъ представлялъ собою во всѣхъ своихъ тогдашнихъ разновидностяхъ?

Типа *народнаго* учителя — не было. Водились кое-гдѣ школы въ нѣкоторыхъ вѣдомствахъ, въ удѣлахъ, въ государственныхъ имуществахъ, въ военномъ вѣдомствѣ, гдѣ въ николаевское время сложился даже цѣлый многострадальный типъ *кантониста*, т. е. школьника, обреченнаго на вѣчную воинскую повинность, часто насильно перекрещеннаго изъ евреевъ. Были казенныя городскія, уѣздныя и приходскія училища исключительно для мальчиковъ, но ничего похожаго на теперешнихъ учителей и въ особенности—*учительницъ* нашихъ земскихъ школъ.

Самое слово „учитель" звучало, какъ что-то низменное, подневольное, не выше управителя, приказчика, мастера, котораго можно нанять по-годно, съ харчами, или по-урочно, безъ харчей.

Тогда и на другія либеральныя профессіи смотрѣли въ дворянско-военномъ и чиновничьемъ кругу (а онъ только и значилъ что-нибудь) не многимъ лучше: лѣкарь, архитекторъ, живописецъ, землемѣръ, техникъ—все это была болѣе благо-

родная „мастеровщина“, все это считалось достояніемъ „кутейниковъ“, дѣтей вольноотпущенныхъ и разночинцевъ. Все это стояло въ общемъ мнѣніи не очень выше приказныхъ, которыхъ и народъ до сихъ поръ зоветъ „крапивное сѣмя“.

Дѣтей мѣщанъ, посадскихъ, мелкихъ купцовъ и приказныхъ отдавали въ уѣздныя и приходскія училища. Гимназистами мы глядѣли на нихъ свысока, хотя и не съ такимъ чувствомъ, какъ на семинаристовъ, которыхъ мы „презирали“ за ихъ внѣшній видъ, за халаты и тулупы, покрытые нанкой, за ихъ говоръ на „онъ“ и долгогривость.

На учителей уѣздныхъ училищъ мы смотрѣли, какъ на казенныхъ, въ родѣ гимназическихъ, только чиномъ гораздо ниже, видали ихъ изрѣдка, нѣкоторыхъ знавали лично, дѣлались даже ихъ учениками—дома; а приходскихъ учителей мы совсѣмъ не знали; *не могли себѣ и представить, что это за народъ.*

Въ учителя тогдашнихъ уѣздныхъ училищъ попадали довольно часто неокончившіе курсъ гимназисты—изъ самыхъ плохихъ. „Притчей во языцѣхъ“ былъ, въ нашей гимназіи, одинъ ученикъ пятаго класса, съ смѣшной фамиліей, задумавшій держать на учителя исторіи и географіи. Экзаменъ онъ могъ еще осилить — не безъ „смазыванія“ начальства, но на писаніи сочиненія, бѣдняга, запнулся и нажилъ себѣ душевную болѣзнь, выводя первыя слова сочиненія: „Македонія, страна лежащая къ сѣверу отъ...“ Это сдѣлалось въ нашемъ классѣ чѣмъ-то въ родѣ поговорки, когда кто-нибудь запутается въ отвѣтѣ учителю или товарищу.

Въ гимназисты очень рѣдко поступали, въ мое время, бывшіе ученики уѣздныхъ училищъ. Изъ приходскихъ — совсѣмъ не помню—за все мое семилѣтнее ученіе въ гимназіи. Первымъ ученикомъ нашего класса, когда мы поступили въ 1846 году, сѣлъ окончившій курсъ трехкласснаго училища изъ уѣзднаго города. Онъ сидѣлъ первымъ до четвертаго класса. Дворянчики подсмѣивались надъ нимъ. За глаза называли „старшóй“, вмѣсто „старшій“, но всѣ видѣли, что онъ подготовленъ—хоть бы въ третій классъ, кромѣ языковъ, которыхъ совсѣмъ не зналъ. Отъ него мы впервые слышали разсказы про бытъ училища, учителей, школьную „муштру“.

Тамъ царила муштра еще больше, чѣмъ въ гимназіи. Больно сѣкли по субботамъ, также больно дрались въ классѣ; требовали зубрёжки; но кто былъ поспособнѣе, могъ выйти съ порядочной грамотностью—по письму и орѳографіи, бойко зналъ ариѳметику и географію, пріучался отвѣчать за самого себя, добивался хорошихъ отмѣтокъ, похвальныхъ листовъ и наградныхъ книгъ, умѣлъ огрызаться и „тузить“ товарищей, заставлять себя бояться.

Смотрителя и учителя, по разсказамъ, такихъ болѣе способныхъ питомцевъ уѣздныхъ училищъ, были грубѣе, пьянѣе и необразованнѣе нашихъ; но трудно было сказать, кто изъ нихъ хуже училъ свою классную команду? Вѣроятно, въ училищахъ они—отъ скуки или отъ суровости нравовъ—болѣе подтягивали классъ, чѣмъ въ гимназіи.

Мой романъ „Въ путь-дорогу“ былъ писанъ въ 1862—64 гг., еще подъ свѣжимъ налетомъ личныхъ испытаній отрока и юноши. Отъ выхода изъ гимназіи автора отдѣляло всего *девять* лѣтъ, а отъ университетскаго послѣдняго экзамена всего *одинъ* годъ.

Если не ошибаюсь, этотъ романъ сдѣлался надолго какъ бы подведеніемъ итоговъ нашей школьной системѣ, въ послѣднее десятилѣтіе николаевской эпохи. И въ тѣхъ частяхъ его, гдѣ дѣйствуетъ „учитель“ (а не университетскій „профессоръ“)—нѣтъ полной объективности, какая явилась бы позднѣе. Нѣчто какъ бы обличительное чувствуется въ картинахъ гимназической жизни; но *умышленнаго преувеличенія* не находилъ я все-таки и тогда, когда просматривалъ романъ для отдѣльныхъ изданій и двадцать, и тридцать лѣтъ послѣ годовъ его создаванія.

Такова была гимназія. Таковъ былъ и „учитель“, но слишкомъ обобщать то, что мною записано и освѣщено—нельзя. Это *не вся* тогдашняя средняя школа, а только одинъ губернскій городъ,—тотъ, гдѣ изданъ теперь „Сборникъ“, въ который и я—когда-то мѣстный гимназистъ—дѣлаю свой посильный вкладъ.

Въ обѣихъ столицахъ, можетъ быть, въ провинціальныхъ *университетскихъ* городахъ той же эпохи, водились гимназіи съ другимъ уровнемъ преподаванія, съ иными порядками и, главное, съ болѣе высокимъ подъемомъ духа у тѣхъ, кто

велъ учащихся и умѣлъ заставить любить и уважать себя. Герой „Въ путь-дорогу“—изъ лучшихъ учениковъ седьмого класса, пожалуй, не по лѣтамъ развитый—могъ ли онъ, оканчивая курсъ, особенно сильно возмущаться тѣмъ сословнымъ взглядомъ на „учителя“, какой держался въ тогдашнемъ дворянскомъ быту? Кого изъ казенныхъ преподавателей могъ онъ считать дѣйствительно наставникомъ, учителемъ въ высокомъ смыслѣ? Сами по себѣ они, какъ люди, были не хуже многихъ чиновниковъ, военныхъ, помѣщиковъ, не болѣе взяточники, алкоголики или развратники,—во всякомъ случаѣ, менѣе вредные члены общества, *но и только*. Влеченія къ нимъ—у насъ, ихъ питомцевъ—не было и не могло быть. Дѣло свое они не любили. И учили они, почти безъ исключенія, изъ рукъ вонъ—плохо, даже тѣ, кто только что соскочилъ съ университетской скамьи. Старое поколѣніе, въ родѣ нашего инспектора, учило все-таки старательнѣе, а директоръ, на котораго мы смотрѣли, какъ на смѣшное пугало, тогда человѣкъ совсѣмъ опустившійся—былъ когда-то въ учителяхъ другого города, очень хорошимъ педагогомъ, о которомъ съ благодарностью вспоминаетъ Ѳ. И. Буслаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ.

И нравственнаго, вообще культурнаго вліянія не шло отъ такихъ „учащихъ“. Подростками мы уже отлично знали, что̀ это за люди, видѣли, что они ведутъ лѣнивую, пустую или грязную жизнь, играютъ въ карты, иные сильно пьютъ, иные копятъ деньгу, набирая пансіонеровъ, берутъ даже взятки отъ родителей малоспособныхъ учениковъ. Между ними не было никакого лада. На экзаменахъ прорывались эти „контры“, и намъ передавали писаря канцеляріи,—какія безобразныя схватки выходили на совѣтахъ, и все не изъ-за идей, а изъ-за личныхъ счетовъ.

Идей вообще никто намъ не внушалъ. Никто не заикался намъ о томъ мѣстѣ, куда больше трети изъ насъ готовились по собственной охотѣ—объ университетѣ.

Мечта о немъ явилась у самыхъ способныхъ и чуткихъ изъ насъ—такъ, *сама собою*. Когда, при переходѣ въ пятый классъ, начальство предложило намъ, спросившись у родителей, рѣшить, что мы съ собою хотимъ дѣлать: — продолжать учиться по-латыни, чтобъ идти въ студенты, или новому

предмету—законовѣдѣнію, или ни тому, ни другому?—то десять человѣкъ, на двадцать съ чѣмъ-то, принесли отвѣтъ: „хотимъ въ университетъ“, т. е. рѣшили свою дорогу въ четырнадцать лѣтъ! И даже въ самый разгаръ николаевщины.

Но „учитель“ былъ тутъ не при чемъ. Ни съ однимъ изъ насъ ни одинъ изъ старшихъ учителей (все университетскихъ) не поговорилъ объ этомъ выборѣ, не поддержалъ ни одного изъ насъ, не предостерегъ.

Какое же могло быть ихъ обаяніе, какая руководящая роль? А мальчуганы эти заслуживали же хоть какой-нибудь поддержки въ такой рѣшительный моментъ своей жизни?

II.

Нашими воспитателями и „учителями“ съ малыхъ лѣтъ были скорѣе тѣ, кто ходилъ къ намъ въ домъ или жилъ у насъ.

Въ моей памяти проходитъ вереница этихъ большею частью подневольныхъ педагоговъ.

Кого тутъ только нѣтъ: нѣмцы, нѣмки, французы, унтеръ-офицеры изъ кантонистовъ, мелкіе чиновники, вольноотпущенные, свои дворовые, семинаристы, учителя уѣзднаго училища...

Такихъ „учительницъ“, какихъ теперь въ Россіи тысячи—ни одной. Гувернантки—изъ институтокъ Воспитательнаго Дома; ихъ брали больше для языковъ. Русской грамотѣ учились мы такъ... шутя; для письма и счета ходили грамотѣи изъ солдатъ и мелкихъ приказныхъ.

Нижній, въ николаевское время, былъ однимъ изъ четырехъ городовъ, гдѣ стояли такъ называемые „учебные карабинерные полки“ съ своими казармами и школами для кантонистовъ. Казармы до сихъ поръ цѣлы въ Кремлѣ. Идея этихъ полковъ: имѣть разсадникъ хорошо вымуштрованныхъ и образцово-грамотныхъ солдатъ, чтобъ изъ нихъ брать инструкторовъ на всю пѣхоту.

Они представляли собою обязательную грамотность подъ ружьемъ, гдѣ каждый рядовой съ малыхъ лѣтъ учился не меньше, чѣмъ самый лучшій школьникъ уѣзднаго училища,

съ прибавкою военныхъ „артикуловъ“ и всего строевого обученія.

Вотъ изъ унтеръ-офицеровъ, которые учили и школьниковъ-кантонистовъ въ казармахъ, и брали намъ преподавателей чистописанія и ариѳметики, иногда и грамматики.

Писали они превосходно, каллиграфически. До сихъ поръ помню, какое произведеніе искусства представляла собою пропись, подаренная мнѣ моимъ учителемъ, унтеръ-офицеромъ Иваномъ Васильевичемъ.

Въ этой прописи каждое слово начиналось съ прописной буквы алфавита и все вмѣстѣ составляло похвальное слово Императору Александру I: „Александръ Благословенный“ и т. д.

Учили насъ эти „унтера“ по-старинному, но усердно и необыкновенно кротко и политично, какъ барскихъ дѣтей; очень насъ поощряли за прилежаніе разными подарочками, въ видѣ разукрашенныхъ гусиныхъ перьевъ, пасхальныхъ яицъ съ нарисованнымъ отъ руки Воскресеніемъ Христа и даже очень замысловатыхъ игрушекъ, въ родѣ полуштофа, съ елкой внутри, изъ фольги.

Они намъ разсказывали про свое ученіе и порядки въ казармахъ, и отъ нихъ я впервые узнавалъ, въ какую „передѣлку“ попадали бѣдные кантонисты-школьники, особенно изъ евреевъ.

Между этими учеными „унтерами“ и нашими дворовыми было много общаго—больше съ тѣми крѣпостными, кто состоялъ, такъ сказать, по департаменту изящныхъ искусствъ. Моимъ первымъ учителемъ музыки и былъ унтеръ мѣстнаго гарнизоннаго батальона, хорошій настройщикъ—по части фортепьянъ, а выѣздной офиціантъ и стрѣмянный дѣда моего—по части игры на скрипкѣ. И оба прекрасные скрипача, обучавшіе меня впослѣдствіи, оказались изъ вольноотпущенныхъ: одинъ—когда-то учитель въ кадетскомъ корпусѣ, другой — капельмейстеръ и первая скрипка нижегородскаго театра.

Дворовые играли не малую роль въ нашемъ развитіи. Въ моемъ романѣ есть фигура старой дѣвицы, Лизаветы Андреевны, вольноотпущенной моей прабабушки. Я нисколько не преувеличилъ ея начитанность и страсть къ книжкамъ. Ея разговоры были для меня гораздо болѣе развивающими,

чѣмъ все, что учителя гимназіи давали намъ отъ себя, внѣ учебниковъ. Сколько книгъ прочелъ я по ея рекомендаціи! Сколько фактовъ изъ исторіи, даже новѣйшей политики (она поглощала и газеты) узналъ я отъ нея. Она, навѣрное, знала *все*, что можно было тогда по-русски знать о Наполеонѣ, Петрѣ Великомъ, Иванѣ Грозномъ, десяткѣ другихъ историческихъ и даже литературныхъ личностей. „Исторію Государства Россійскаго" прочла нѣсколько разъ „отъ доски до доски", а изъ насъ, большихъ гимназистовъ, врядъ ли кто заглядывалъ, какъ слѣдуетъ, въ Карамзина.

Другіе дворовые: лакеи изъ музыкантовъ, столяры, садовники, псовые охотники дѣлались также нашими „учителями", поддерживали интересъ къ разнымъ характернымъ сторонамъ жизни, къ музыкѣ, къ ремесламъ, къ книжкамъ, къ цвѣтамъ, вообще къ природѣ, къ животнымъ, къ собакамъ, птицамъ, лошадямъ. Все это была „учеба" и очень цѣнная, нетолько въ чисто-умственномъ смыслѣ, но и въ этическомъ. Мы пріучались видѣть въ крѣпостныхъ—людей, жалѣли ихъ, задумывались надъ ихъ долей, и когда поступили въ университетъ—большинство было уже подготовлено къ акту эмансипаціи, въ которую мы вѣрили долгіе годы.

И деревня, мужики, ихъ бытъ, обычаи, пѣсня, хороводъ, ихъ неустанная работа учили насъ по-своему... Не отвѣчаю за всѣхъ моихъ сверстниковъ, но во мнѣ деревня и крестьянство вызывали особенный интересъ и сочувствіе. Я всегда смотрѣлъ и на крѣпостныхъ мужиковъ, какъ на самобытное почтенное сословіе, а совсѣмъ не какъ на какихъ-то парій. Ѣхать въ деревню считалось большимъ праздникомъ. Съ деревней у меня была почти кровная связь черезъ кормилицу и моихъ молочныхъ братьевъ и сестеръ, въ одной изъ деревень Горбатовскаго уѣзда.

Профессіональные учителя, которые готовили насъ къ гимназіи, и послѣ ходили на домъ — уже къ подростку и юношѣ, до самаго выходного экзамена, представляютъ собою, какъ я сказалъ, пеструю толпу. Никто изъ нихъ, за исключеніемъ одного француза, не былъ мастеромъ своего дѣла и попадалъ въ учителя, репетиторы, гувернеры—болѣе или менѣе—случайно. Русскіе оказывались все-таки хуже нѣмцевъ и французовъ. Кое-какъ готовили въ гимназію изъ „русскихъ

предметовъ“ и латыни, кое-какъ справлялись съ ролью репетиторовъ; особенно плохи были семинаристы, которые подъучивали меня математикѣ уже въ гимназіи; небрежно занимался и съ подростающимъ гимназистомъ, напр., тотъ учитель мѣстнаго уѣзднаго училища изъ петербургскихъ нѣмцевъ, который нѣсколько лѣтъ сряду ходилъ ко мнѣ по вечерамъ для нѣмецкаго языка и литературы. Онъ былъ изъ неокончившихъ курсъ (вѣроятно, штрафныхъ) студентовъ тогдашняго педагогическаго института, гдѣ учились когда-то Неволинъ, Мейеръ, а позднѣе Добролюбовъ; но все-таки я больше съ нимъ работалъ, чѣмъ въ классѣ, свободно читалъ вслухъ Шиллера и другихъ классиковъ, дѣлалъ устные и письменные переводы съ русскаго на нѣмецкій... Но много шло класснаго времени на болтовню часто по-русски, на разсказы учителя про его петербургскія всякаго рода похожденія. Этотъ неудачникъ-питомецъ педагогическаго института, застрявшій въ провинціи, въ званіи учителя исторіи и географіи—ничѣмъ не ниже стоялъ, по общему развитію, старшихъ учителей гимназіи; но любви къ дѣлу у него не было никакой,—въ классѣ своего уѣзднаго училища — вѣроятно, еще меньше, чѣмъ на частныхъ урокахъ нѣмецкаго языка.

Иностранцы и инородцы, рожденные въ Россіи, всѣ тогда учили чему-нибудь. Я учился музыкѣ и нѣмецкому языку и у пасторши, и у старой дѣвы, жившей на покоѣ въ одномъ господскомъ домѣ, и у талантливаго віолончелиста, дававшаго мнѣ уроки фортепьяно, самаго безпорядочнаго.

Гувернеры вербовались откуда попало. Я прошелъ черезъ троихъ: двоихъ нѣмцевъ и одного француза. „Учителя“ они всѣ были одинаково плохіе; но французъ занимался со мною пять лѣтъ,—сначала только какъ учитель, а потомъ какъ домашній наставникъ—цѣлыхъ три года съ чѣмъ-то. Его личность, курьезная и внушавшая къ себѣ мало даже внѣшняго уваженія, расширяла все-таки умственный и художественный горизонтъ малолѣтка и подростка. Его судьба была почти что небывалая, даже и для того времени. Военный врачъ въ драгунскомъ полку „Великой Арміи“, онъ былъ взятъ въ плѣнъ, въ 1812 г., казаками при г. Оршѣ; вскорѣ послѣ того превратился въ русскаго лѣкаря, получивъ позднѣе

званіе штабъ-лѣкаря за латинское сочиненіе „О холерѣ“, въ началѣ 30-хъ годовъ; долго служилъ въ провинціи, былъ женатъ три раза—на русскихъ, имѣлъ дѣтей, но, какъ врачъ, ослабъ и пошелъ по дворянскимъ домамъ учительствовать. Преподаватель онъ былъ очень неважный, не могъ и „воспитывать“, какъ требуется это теперь; но въ его многолѣтнемъ обществѣ мальчикъ, подростая, находилъ огромный матерьялъ житейскихъ испытаній и впечатлѣній; черезъ этого француза на него вѣяла эпоха Великой Революціи и наполеоновской эпопеи. Онъ служилъ въ Италіи еще въ началѣ XIX вѣка, выучился по-итальянски, любилъ вообще читать, писалъ стихи, игралъ на флейточкѣ и флажолетѣ, а главное—преисполненъ былъ необычайнаго благодушія, выносливости и веселости, хотя приравнивалъ себя къ королю Лиру — изъ-за печальныхъ исторій съ своими дѣтьми — и не иначе называлъ себя, какъ: „infortuné père de famille“. Передъ смертью онъ принялъ православіе.

Настоящаго преподавателя языка нашелъ я только въ томъ Monsieur de Vincy, котораго старожилы Нижняго могутъ еще помнить. Онъ училъ меня въ два разныхъ періода моей школьной жизни: мальчикомъ лѣтъ десяти и въ послѣднихъ двухъ классахъ гимназіи. Съ хорошимъ образованіемъ (бывшій артиллерійскій офицеръ французской арміи, вышедшій изъ политехнической школы) онъ тоже застрялъ въ русской провинціи и умеръ нижегородскимъ домовладѣльцемъ. Училъ онъ прекрасно, по своей чисто-практической методѣ, состоявшей въ томъ, что ученикъ не выпускалъ пера изъ руки и всю словесную муштру проходилъ въ классѣ. Зубристики — никакой.

Но и этотъ французъ былъ только преподаватель, а „властителя думъ“ и любимаго наставника никто изъ насъ не имѣлъ.

III.

А въ университетахъ „учитель“ въ высокомъ смыслѣ слова преобладалъ ли?

По собственному желанію я оставался студентомъ и вольнослушателемъ двойной срокъ—цѣлыхъ восемь лѣтъ, и побы-

валъ въ трехъ университетахъ: въ Казани, въ Дерптѣ, въ Петербургѣ. На долю Дерпта пришлось пять лѣтъ. Я прошелъ тамъ полный курсъ физико-математическихъ и естественныхъ наукъ и такой же полный курсъ чисто-медицинскихъ наукъ. Въ Петербургѣ я захватилъ еще блестящіе дни юридическаго факультета, передъ закрытіемъ университета въ сентябрѣ 1861 года, когда держалъ на кандидата правъ.

Привожу здѣсь эти уже извѣстныя подробности затѣмъ, чтобы провѣрить самого себя: какимъ матерьяломъ личныхъ испытаній я располагаю? Онъ больше, чѣмъ у тѣхъ, кто довольствовался только окончаніемъ курса въ одномъ университетѣ и на одномъ факультетѣ.

Выходитъ, стало быть, что я пересидѣлъ, на своемъ студенческомъ вѣку, въ аудиторіяхъ нѣсколькихъ десятковъ профессоровъ, по всѣмъ факультетамъ. Если я не былъ никогда студентомъ-филологомъ, то все-таки слышалъ многихъ профессоровъ историко-филологическихъ факультетовъ и въ Казани, и въ Дерптѣ, и въ Петербургѣ, а гораздо позднѣе —и въ Москвѣ. Къ этому надо еще прибавить каѳедры камеральнаго разряда, теперь несуществующаго (съ него я началъ въ Казани) и семилѣтнее слушаніе лекцій богословскихъ наукъ, включая сюда психологію и логику, которую читали законоучители послѣ разгрома философіи въ нашихъ университетахъ. Она сохранялась только въ Дерптѣ; но и тамъ православные должны были ходить къ протоіерею, читавшему эти двѣ философскія науки. Какъ?—лучше ужъ и не вспоминать!!

Объ „alma mater“ принято говорить только въ приподнятомъ тонѣ. И въ самомъ дѣлѣ, университетъ, каковъ бы онъ ни былъ, превращаетъ школьника въ юношу съ высшими стремленіями, если въ немъ есть задатки развитія. Но въ тѣ времена, т. е. въ періодъ съ 1853 по 1860 годъ, едва ли не одинъ московскій университетъ имѣлъ, дѣйствительно, „властителя думъ“ молодежи, духовнаго вождя цѣлаго ряда поколѣній. Это былъ Грановскій. Остальные и выдающіеся профессора не могли сдѣлаться такими же любимыми начальниками. Въ Петербургѣ только къ концу шестого десятилѣтія повѣяло болѣе свѣжимъ воздухомъ. Провинціальные универ-

ситеты шли всегда позади, и въ Казани моего времени не было ни одного человѣка, который на каѳедрѣ и внѣ ея сталъ бы, хотя наполовину, тѣмъ, чѣмъ былъ въ Москвѣ Грановскій, если вѣрить его сверстникамъ-товарищамъ и слушателямъ. Были также выдающіеся преподаватели и ученые, какъ Мейеръ у юристовъ, Аристовъ у медиковъ, Бутлеровъ и Китторье у камералистовъ. Изъ нихъ я лично нашелъ въ покойномъ Бутлеровѣ—наставника, съ которымъ сохранилъ близкія отношенія вплоть до его смерти. Въ его лабораторіи точная наука стала мнѣ дорога. Но, въ общемъ, связи между профессорами и аудиторіей почти что не чувствовалось. Весь тогдашній строй мѣшалъ этому. Студенчество было слишкомъ мало подготовлено къ серьезнымъ занятіямъ. Вицмундирные порядки еще царили безусловно и внѣ ненавистной инспекціи. У профессоровъ не хватало и между собою солидарности. Почти никто и не искалъ хорошаго вліянія на своихъ слушателей. Тѣ, кто болѣе заставлялъ насъ работать, были на перечетъ.

Въ Дерптѣ только и можно было тогда работать, какъ подобаетъ питомцамъ „almae matris". Тамъ только и знали большую свободу ученья; являлась даже полная возможность спеціализировать себя еще студентомъ. Лекціи и экзамены не отзывались школьничествомъ; въ кабинетахъ, клиникахъ и лабораторіяхъ велись практическія занятія, о какихъ въ тогдашней Казани и слыхомъ не слыхали...

Но и въ Дерптѣ, въ нѣмецкомъ персоналѣ профессоровъ (а русскихъ каѳедръ было всего двѣ-три), я не помню ни одного „учителя", который сдѣлался бы вдохновляющимъ руководителемъ молодежи. Учили гораздо лучше, но идеи отзывались консервативнымъ протестантствомъ и лойяльнымъ равнодушіемъ ко всему тому, къ чему тогдашняя русская молодежь уже начала—хотя и робко—стремиться.

Наука была въ почетѣ. Работами студентовъ руководили серьезные ученые и способные практики; но высшаго воспитательнаго вліянія, о какомъ стала мечтать русская молодежь къ 60-мъ годамъ, не шло отъ преподавателей, чуждыхъ русскому движенію, слишкомъ преисполненныхъ страха потерять свое обезпеченное положеніе.

Въ двухъ послѣднихъ частяхъ романа „Въ путь-дорогу"

есть одна фигура нѣмца-профессора, бывшаго въ загонѣ изъ-за своего „фрондёрства“. Смерть помѣшала ему сдѣлаться болѣе вліятельнымъ руководителемъ молодежи, съ запросами 60-хъ и 70-хъ годовъ. Это былъ профессоръ Асмусъ.

Въ Петербургѣ, къ осени 1861 года, всего больше жизни нашелъ я на юридическомъ и словесномъ факультетахъ, съ такими профессорами, какъ Кавелинъ, Спасовичъ, Утинъ, Костомаровъ, Павловъ. Аудиторіи гудѣли, какъ большой пчелиный рой. Впервые появилась женщина въ стѣнахъ университета. Были любимцы между этими профессорами. Вицмундирный строй отношеній падалъ. Такіе наставники, какъ Кавелинъ и другіе, больше входили въ интересы студентовъ, заставляли ихъ работать, отзывались на лучшіе запросы молодежи. Но закрытіе университета послѣ безпорядковъ, стремительный ходъ идей, протестовъ, домогательствъ студенчества сдѣлали то, что въ тотъ же сезонъ 1861—1862 гг., въ Думскихъ залахъ импровизованнаго университета разразилась рознь между однимъ изъ недавнихъ любимцевъ студенчества, Костомаровымъ и его аудиторіей,—на той бурной лекціи, гдѣ мнѣ привелось быть лично.

Оглядываясь на долгій путь школьнаго и студенческаго ученія, длившійся цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ, со всѣми дефектами преподаванія, со всѣми пробѣлами въ нашей подготовкѣ—позволительно человѣку моей генераціи спросить: „Какъ же такъ случилось, что изъ насъ все-таки вышло что-нибудь путное,—не изъ всѣхъ, но изъ нѣкоторыхъ; что мы нашли свою дорогу, чему-нибудь научились и выработали себѣ извѣстные идеи и принципы? Неужели это могло бы случиться, если бъ насъ ровно ничему порядочному не учили?“

Надо отвѣтить такъ:

И дома, и въ гимназіи насъ очень плохо учили, не привлекали насъ обаяніемъ личности преподавателя и теплымъ интересамъ къ нашимъ юнымъ думамъ; но *не задерживали* насъ, не держали въ томъ воздухѣ инквизиторскаго надзора и суроваго зубренія, какъ это явилось четверть вѣка спустя. У насъ было больше свободнаго времени. Мы не знали того вторженія въ нашу домашнюю и общественную жизнь, какъ это практикуется до сихъ поръ. Къ нашимъ семьямъ было

гораздо больше довѣрія. Голова и сердце оставались свѣжѣе ко времени поступленія въ студенты. А университетская аудиторія самыхъ способныхъ и чуткихъ непремѣнно передѣлывала къ лучшему. Мы не находили въ профессорахъ такихъ обаятельныхъ руководителей, какимъ былъ въ Москвѣ Грановскій; но мы всегда мечтали о нихъ, искали ихъ, переходили изъ одного университета въ другой, какъ сдѣлалъ я изъ побужденій чисто духовныхъ.

Весь строй университетскаго ученья, даже и въ тяжелую николаевскую эпоху, все-таки поднималъ нашъ внутренній міръ, и самое недовольство большинствомъ профессоровъ (а это было, въ особенности, въ Казани) не давало заснуть и опуститься въ тину грубаго разгула или формальнаго добыванія себѣ диплома для чиновничьей карьеры.

Образъ желательнаго „учителя“ никогда не замиралъ въ душѣ. И когда, много лѣтъ спустя, за границей—въ Германіи, въ Англіи, во Франціи, въ Италіи выпадала намъ удача слышать высокодаровитыхъ лекторовъ, отъ вдохновеннаго слова которыхъ трепетала вся аудиторія,—мы съ грустью повторяли: „Почему мы въ годы студенчества лишены были такихъ же наставниковъ?..“

IV.

И гдѣ же я, въ послѣднее десятилѣтіе, находилъ того „учителя“, къ которому, полвѣка назадъ, вотще стремилась наша юная душа?

Слово „учитель“ надо брать здѣсь собирательно. Оно являлось передо мною всего чаще въ образѣ „учительницы“ народной школы. Въ классы мужчинъ-преподавателей попадалъ я меньше. Къ тому времени сложилась уже собирательная личность духовнаго руководителя нашей народной массы. Женщина заняла въ ней одинаково-доблестное мѣсто съ своимъ собратомъ и внесла въ свое дѣло столько любви, выдержки, гражданскаго мужества, безкорыстнаго служенія идеѣ.

Въ какую школу я ни попадалъ: въ бѣдную деревен-

скую, или прекрасно обставленную фабричную, или въ городскую—вездѣ я находилъ нѣчто такое, что безусловно отсутствовало въ наше время.

Что же выходитъ? Не только въ ту тяжелую эпоху, когда мы были школьниками, но и позднѣе, и въ настоящую минуту, питомцы средней школы (а частью и университетовъ и высшихъ спеціальныхъ заведеній) часто лишены того, что имѣетъ кто?—Сельскіе и городскіе ребятишки, дѣти бѣднаго темнаго люда!..

Давно ли раздался сверху призывъ къ тому, чтобы преподаватели и средней школы, и университетовъ съ любовью отдавались своему дѣлу, сближались бы съ своими слушателями, усердно просвѣщали и руководили ихъ?

А сколько уже лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ создалась у насъ цѣлая армія народныхъ учителей и учительницъ, которымъ нечего оффиціально внушать преданность своему дѣлу и любовь къ ученикамъ своимъ?!.

Многіе изъ насъ принадлежали къ высшему сословію, намъ брали гувернеровъ, отдавали насъ въ дорогія закрытыя заведенія, учили языкамъ и разнымъ пріятнымъ искусствамъ; но кто изъ нашихъ преподавателей дома, или въ гимназіи, или въ привилегированномъ заведеніи, или даже въ университетѣ и спеціальныхъ высшихъ школахъ такъ заботился о нашемъ развитіи?

Учительницы, получающія ничтожное жалованье, живя въ такой обстановкѣ, которую во Франціи, Англіи или Германіи считали бы чѣмъ-то въ родѣ тяжкой ссылки, если не каторгой, собираютъ мальчиковъ и дѣвочекъ въ будни и въ праздники—когда такъ законно было бы самимъ отдохнуть—и читаютъ имъ книжки, страстно желая знать: что имъ доступно, что вообще надо читать народу, производятъ по собственному почину цѣлыя изслѣдованія, въ высокой степени цѣнныя для каждаго, кому дорого просвѣщеніе нашей сельской и городской темной, трудовой массы!

Развѣ кто-нибудь продѣлывалъ это въ наше время? У какого „учителя“ нашлось бы настолько любви, преданности и терпѣнія, чтобы производить, въ системѣ, подобные опыты?

То, чего не имѣли—пятьдесятъ лѣтъ назадъ—барскія

дѣти въ богатыхъ и знатныхъ семьяхъ, то имѣетъ теперь деревенская дѣтвора!

Мнѣ, какъ бытописателю-беллетристу, особенно памятны нѣкоторыя поборницы этого великаго просвѣтительнаго дѣла. Двѣ изъ нихъ—уже преждевременныя покойницы... Одна до самой своей смерти оставалась въ одной и той же образцовой фабричной школѣ, и цѣлый рядъ поколѣній вышло изъ ея класса. Она не разрывала связи съ своими бывшими питомцами. Мальчики и дѣвочки дѣлались ткачами и ткачихами, и всѣмъ, что у нихъ есть лучшаго, они обязаны этой наставницѣ. Вести изъ года въ годъ огромный классъ, гдѣ мальчики и дѣвочки учатся вмѣстѣ, и добиваются хорошихъ результатовъ, на это нуженъ высокій подъемъ душевныхъ силъ, если служить дѣлу съ неослабной ревностью къ своему призванію.

Другая учительница сгорѣла еще скорѣе; долгія зимы жила почти отрѣшенной отъ всего міра, въ школѣ, стоявшей въ полѣ, безъ всякаго общества, молодая, красивая, въ тѣ годы, когда потребности сердца всего сильнѣе просятся наружу.

Посадите рядомъ такую русскую сельскую учительницу съ французской institutrice „Элементарной школы", даже изъ деревни. Та—чиновникъ-дама, если она и очень дѣльная; а наша—всего чаще—добровольная мученица. Та „ведетъ" классъ, но души своей не кладетъ въ него, какъ наша. Она—на государственной службѣ. Ея жалованье можетъ доходить до 700 руб. У нея всегда хорошенькій домикъ или квартира въ каменномъ зданіи школы. Она—тонкій дипломатъ, потому что должна балансировать между антиклерикальными властями и клерикальными родителями своихъ ученицъ. Она вся въ тискахъ той книжки, гдѣ ей даются совѣты на всю ея жизнь,—совѣты, какъ вести себя, какъ государственному чиновнику, и вездѣ соблюдать свой „рангъ"!

А наши несли бремя не менѣе тяжкое, чѣмъ ихъ товарищи-учителя, долгіе годы горько чувствуя свою безпомощность, всего больше оттого, что не было еще никакой солидарности, не всплывало сознанія своей нравственной и общественной силы.

Теперь и то, и другое уже есть, или, по крайней мѣрѣ, зачинается...

Будь у насъ и въ теперешнихъ среднихъ, если не въ высшихъ школахъ, такіе „учители“, какіе выпадаютъ на долю сельскихъ и городскихъ дѣтей начальныхъ школъ—наши воспоминанія о годахъ ученья были бы иныя! Неблагодарнымъ быть—не хорошо. Нашимъ родителямъ и всѣмъ, кто заботился о насъ, мы говоримъ: „спасибо!“ за ихъ желаніе сдѣлать насъ людьми; но въ огромномъ большинствѣ наставниковъ не было ни подготовки, ни любви къ дѣтямъ, ни желанія развивать насъ и воспитывать, какъ надо по теперешнимъ требованіямъ. Но и доля нашихъ учителей была куда не красная. На казенной службѣ они еще имѣли кусокъ хлѣба, жалованье, часто квартиру, пенсію; но ихъ ничто не связывало съ людьми ихъ профессіи. „Педагогическій Совѣтъ“ гимназіи только ссорилъ ихъ. Ни малѣйшей попытки слиться, образовать какое-нибудь общество, кружокъ, съ цѣлью взаимной поддержки или съ просвѣтительными (если ужъ не научными) задачами.

А всѣ частные учителя и воспитатели, гувернеры и гувернантки?! Какая жалкая доля для огромнаго большинства!..

Взять хотя бы житейскія треволненія моего гувернера Карла Ивановича, осколка наполеоновской арміи. Пятьдесятъ лѣтъ мыкался онъ, какъ лѣкарь, потомъ—какъ домашній наставникъ, и если бъ одна помѣщичья семья не дала ему кровъ, въ деревнѣ, неизлѣчимо больному, онъ, быть можетъ, не попалъ бы даже въ богадѣльню, хотя и присвоивалъ себѣ право носить вицмундиръ по министерству внутреннихъ дѣлъ.

Надъ всѣми этими несчастными педагогами „поневолѣ“—тяготѣло тогда полное отсутствіе какой бы то ни было солидарности. Они даже и не помышляли о томъ, что можно было бы какъ-нибудь сплотиться. Они были рады и тому, что могли примоститься, въ видѣ платныхъ домочадцевъ, къ тогдашнему дворянско-чиновному укладу жизни.

Разумѣется, они пришли бы въ ужасъ и негодованіе, если бъ имъ предложили жить въ избѣ и учить чумазыхъ мужицкихъ ребятишекъ. Тогда и многіе „образованные“ то господа не могли представить себѣ, что когда-нибудь по селамъ и деревнямъ,

посадамъ и городамъ, въ провинціи и въ обѣихъ столицахъ русскаго государства народится и размножится мирное войско носителей свѣта и гуманности, въ нѣдрахъ котораго явился впервые „учитель“—въ высокомъ смыслѣ и прямо для народа! Въ собирательномъ словѣ „учитель“—сочетались обѣ половины этой рати, и „учительница“, рядомъ съ своимъ товарищемъ ратуя за свои права и лучшую долю, смѣло и самоотверженно смотритъ теперь въ будущее...

Н. Ѳ. Бунаковъ.

РАНО ПОГИБШІЙ ТАЛАНТЪ.

Изъ жизни деревенскаго театра.

„Не расцвѣлъ—и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней...“
Полежаевъ.

Въ нашей деревенской труппѣ изъ грамотной крестьянской молодежи обоего пола замѣтно выдавались три актера съ явными признаками сценическаго дарованія, но съ совершенно различными характерами и совершенно различнымъ отношеніемъ къ жизни и къ дѣлу (т. е. къ театральному, сценическому дѣлу).

Андрей Барановъ былъ одинъ изъ самыхъ старшихъ нашихъ актеровъ. Онъ началъ принимать участіе въ спектакляхъ съ 12—13-ти лѣтъ, когда театръ нашъ имѣлъ чисто школьный характеръ; спектакли давались въ школьномъ помѣщеніи, исполнителями были исключительно подростки. Его сценическая дѣятельность перевалила на другой десятокъ лѣтъ. Онъ возмужалъ, сдѣлался женатымъ человѣкомъ и домохозяиномъ съ правомъ голоса на сельскомъ сходѣ, но сцены не бросалъ, потому что любилъ театръ. Толковый отъ природы, кое-что почитывавшій въ первые годы по окончаніи курса въ мѣстномъ училищѣ, онъ какъ-то скоро началъ опускаться и выпивать, обращаясь, что называется, въ „безшабашную голову“, вовсе недумающую ни о благоустроеніи своего дома, ни о завтрашнемъ днѣ. Тощій, съ худощавымъ лицомъ и необыкновенно грустнымъ, такъ сказать, „постнымъ“ взглядомъ, всегда плохо одѣтый, онъ, видимо, гордился своими сценическими успѣхами, а между тѣмъ

лѣниво изучалъ, еще лѣнивѣе заучивалъ роли, неаккуратно являлся на репетиціи, часто—выпивши; но роли плутоватыхъ гулякъ, грубо комическаго характера, несложныя по существу, ему легко давались какъ-то сами собой. Онъ былъ отличный Ерёмка-кузнецъ въ драмѣ Островскаго „Не такъ живи",—Ерёмка, одно появленіе и первая фраза („Нашъ атласъ нейдетъ отъ насъ") котораго вызывали взрывъ хохота и въ публикѣ, и на сценѣ, что здѣсь было умѣстно, а непроизвольность этого хохота только усиливала естественность сценическаго дѣйствія. Онъ былъ очень забавный и характерный Сганарель въ „Лѣкарѣ поневолѣ" Мольера, очень удачно соединявшій глуповатое и грубое простодушіе съ мужицкимъ лукавствомъ. Онъ былъ весьма типичный отецъ Варлаамъ въ „Борисѣ Годуновѣ" Пушкина, съ безукоризненно усвоеннымъ говоромъ настоящаго володимирца и съ цинизмомъ шатуна-балагура. Наша деревенская публика, особенно любящая въ театрѣ посмѣяться, отдохнуть отъ своей унылой обыденщины, понимала и очень любила игру Баранова, хотя къ самому актеру, какъ своему брату-крестьянину, относилась не то недружелюбно, не то презрительно, видя въ немъ „пропащаго", безнадежнаго малаго.

И, дѣйствительно, безшабашный въ театрѣ, Барановъ такимъ же безшабашнымъ былъ и въ жизни. Никакая помощь и поддержка, никакой заработокъ не шли ему въ прокъ: онъ никакъ не могъ обзавестись ни лошадью, ни коровой, ни порядочной одёжей. А случалось, что ему перепадала хорошая помощь, что онъ и самъ зарабатывалъ порядочно. Отца онъ лишился рано. Мать осталась горемычной вдовой съ дочерью и двумя сыновьями на рукахъ, далеко еще не работниками, въ убогой, старенькой хатѣ, безъ всякой скотинки. Къ счастью, эта невзрачная на видъ и слабосильная вдова оказалась очень умной и энергичной женщиной. Она своими заботами и трудами выкормила дѣтей, сыновей пристроила въ училище, а дочь выдала замужъ. Мало того, ей удалось и новую хату соорудить, и обоихъ сыновей женить, а извѣстно, что свадьба въ крестьянскомъ быту обходится не дешево. Все это было сопряжено съ такими расходами, что положеніе семьи не улучшилось, а скорѣе ухудшилось: земля была отдана въ долгосрочную

аренду мѣстному кулаку, своего хлѣба не было; невѣстки не покорялись свекрови и ссорились между собою, младшій сынъ ушелъ работникомъ въ чужую семью и почти одинъ оставался кормильцемъ семьи, отдавая матери весь свой заработокъ. Андрей все опускался и мало приносилъ въ домъ изъ своего заработка. Жена на его долю досталась глуповатая, некрасивая, лѣнивая и совершенно нищая. Такой выборъ сдѣлала, а можетъ быть, и принуждена была сдѣлать мать: какую же „хорошую“ невѣсту отдадутъ за такого безхозяйственнаго оборванца, за такого „безшабашнаго“ жениха? А выборъ и рѣшеніе родителей въ крестьянскомъ быту въ такихъ случаяхъ не подлежатъ ни критикѣ, ни протесту, и Андрей Барановъ, при всей его безшабашности, оставался покорнымъ сыномъ, безусловно подчинявшимся рѣшенію матери. Между тѣмъ эта женитьба внесла въ его душу много горечи, а въ его жизнь—новой безшабашности, и унылое выраженіе его взгляда еще усилилось. Случалось и бранить его за безпутную жизнь, за пьянство и говорить съ нимъ на эту тему „по душѣ“. Но все было напрасно: онъ не исправлялся, а опускался и опускался; все болѣе тощимъ становилось его тѣло, видимо поддаваясь зловѣщей болѣзни, все грустнѣе и безнадежнѣе становился его взглядъ, это „зеркало души“.

— Эхъ, Андрей, Андрей, губишь ты себя! Смотри, по милости этого вина, ты и въ домъ ничего не вносишь, и здоровье свое растрачиваешь... Не доведетъ оно тебя до добра... Одумайся, поддержись!

— Для чего поддерживаться-то? Я и самъ вижу, что плохо, да что подѣлаешь? Все равно добра не будетъ...

— Да ты попробуй, самъ себя пожалѣй, да и мать-то старуху: вѣдь она всю жизнь, всѣ силы вамъ отдала, а себѣ радости не видитъ. Надо же и ее пожалѣть, чтобы ей хоть умереть-то было полегче. Попробуй!

— Пробовалъ, да не выходитъ. Трезваго-то нуще тоска одолѣваетъ. Какъ придешь домой, посмотришь вокругъ себя, — такъ бы и убѣжалъ подальше. Нѣтъ тебѣ радости ниоткуда.

— Самъ ты довелъ себя до того. Что дѣлать, теперь разомъ дѣла не поправить. Приходится потерпѣть, порабо-

тать, понемножку да потихоньку. Поправишься, тогда другая жизнь пойдетъ.

— Какая ужъ наша жизнь! Посмотрю я и на другихъ-то мужиковъ, — ну, побогаче, посытнѣе живутъ, а пораздумать, такъ все тоже: бьются, какъ рыба объ ледъ, всю жизнь въ навозѣ копаются, у всѣхъ та же грязь, та же воловья работа, все та же одна забота,—было бы чѣмъ брюхо набить, а радости, чтобы захватила душу, нѣтъ тебѣ никакой... Всѣ окалачиваются изо дня въ день, у всѣхъ впереди ничевошенько... И зачѣмъ только мы живемъ на бѣломъ свѣтѣ?.. А на репетицію пьяный я больше приходить не буду, это вы будьте покойны.

Но проходила недѣля-другая, Барановъ соблазнялся и опять приходилъ выпивши, а то и вовсе не являлся. Тѣмъ не менѣе, мы своевременно видѣли и слышали того же забавнаго Сганареля, того же типичнаго отца Варлаама съ володимирскимъ говоромъ. Андрей попрежнему любилъ театръ, попрежнему любилъ одобренія публики, ея неудержимый хохотъ, любилъ свою власть надъ этой публикой,— и на спектакли являлся исправно, хотя и не всегда трезвый, но это только придавало ему смѣлости, самоувѣренности и грубоватаго комизма.

Петръ Селезневъ былъ моложе Андрея и годами, и своей сценической дѣятельностью, и во всѣхъ отношеніяхъ ему противоположенъ. Маленькаго роста, съ красивымъ, благообразнымъ, смышленымъ лицомъ, съ взглядомъ нѣсколько лукавымъ, онъ и въ школѣ, и въ жизни всегда отличался бойкимъ практическимъ умомъ и выдающеюся подражательной, слегка насмѣшливой способностью, когда, напримѣръ, передразнивалъ мѣстный говоръ сосѣднихъ селеній или забавныя стороны своихъ товарищей по ученью. Въ школѣ Селезневъ учился хорошо, исправно, велъ себя услужливо, сдержанно — и пользовался особеннымъ расположеніемъ и батюшки, и учительницы. Еще мальчикомъ онъ производилъ большой эффектъ въ театрѣ, исполняя роль плутоватаго пастуха въ пьесѣ „Адвокатъ Пателенъ“ (въ русской передѣлкѣ—„Пройдоха“). А впослѣдствіи изъ него вышелъ очень бойкій Сидорка въ комедіи Аверкіева „Сидоркино дѣло“: здѣсь онъ обнаружилъ много пониманія и остроумной на-

ходчивости,—правда, не особенно высокаго качества, но согласной съ общимъ характеромъ роли. Онъ не только твердо заучивалъ, но изучалъ порученныя ему роли, исправно посѣщалъ всѣ считки и репетиціи и внимательно прислушивался ко всѣмъ замѣчаніямъ режиссера, стараясь воспользоваться ими. Поэтому игра его была всегда отчетливая и ровная, чего нельзя сказать про Баранова, который иногда дѣлалъ промахи, иногда былъ нѣсколько вялъ, иногда пересаливалъ и впадалъ въ грубый шаржъ. Аккуратность, благоразуміе, во всемъ осторожность, даже угодливость и ярко выраженное довольство самимъ собой — были всегдашними отличительными чертами въ жизни Селезнева. Оставшись круглымъ сиротою, онъ былъ взятъ за сына бездѣтнымъ крестьяниномъ и умѣлъ такъ угодить названному отцу, что прочно завладѣлъ его расположеніемъ, полнымъ довѣріемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и полноправнымъ положеніемъ въ его домѣ. Не нахвалится Ѳедотъ своимъ названнымъ сыномъ Петей, заботится о немъ, бережетъ его. Пришла пора, когда въ деревнѣ полагается малому „принять законъ",—т. е. жениться: Селезневу исполнилось восемнадцать лѣтъ. Ѳедотъ нашелъ хорошую невѣсту въ сосѣднемъ селѣ и отпраздновалъ по формѣ свадьбу, не жалѣя на это своихъ трудовыхъ денегъ. Жена Селезневу попалась умненькая, красивенькая, ласковая, — словомъ, парочка получилась хоть куда! Еще лучше зажилось Петѣ: и имъ всѣ довольны, и онъ всѣми и всѣмъ доволенъ. И вотъ что замѣчательно: утромъ его обвѣнчали, а вечеромъ онъ, въ самомъ лучшемъ расположеніи духа и съ обычной увѣренностью, игралъ на оценѣ Сидорку, а жена его и названные родители сидѣли въ зрительномъ залѣ, любовались своимъ Петей въ нарядномъ боярскомъ кафтанѣ. Разсудительность и дѣловитая выдержка никогда не оставляли этого малаго; его жизнь идетъ неизмѣнно ровно, гладко, безъ сучка и задоринки, и онъ очень солидно осмѣиваетъ всякія проявленія неразсудительности въ другихъ. Баранова онъ не любитъ, не одобряетъ, но говоритъ о немъ насмѣшливо и неодобрительно только за глаза — изъ осторожности, опять-таки въ силу своей разсудительности: онъ, Петя, малъ, слабосиленъ, робокъ, а Барановъ и большой, и сильный, и дерзкій, особенно когда выпьетъ: чего добраго, пожалуй, и побьетъ...

— Что же это Андрей Барановъ нейдетъ? Пора бы репетицію начинать,—говоритъ режиссеръ.

— Ждите его, онъ ужъ безъ заднихъ ногъ у тетки Матрёны сидитъ... Безобразный человѣкъ!

— Пропадетъ малый... И намъ съ нимъ горе, и себя губитъ.

— Чего ужъ хорошаго... Извѣстно, „пить до дна—не видать добра". Вонъ мать-то старуха плачетъ, а ему что? Нанялся въ городъ мостовыя мостить, получилъ задатокъ, гдѣ бы хлѣба купить, а онъ и закурилъ, закурилъ, всѣ денежки въ „винополіи" оставилъ.

— А говоришь—у тетки Матрёны сидитъ?

— Да вѣдь „винополія"-то не всегда открыта,—ну, поневолѣ къ теткѣ Матрёнѣ пойдешь, коли не терпится. Хоть переплотишь, да ублаготворишь себя во всякое время. Матрёна—она баба дошлая, у ней всегда запасъ есть, продастъ сколько хочешь, хоть во время обѣдни.

— Да развѣ это можно? За это, братъ, по головкѣ не погладятъ, къ отвѣту притянутъ.

— Да кому тянуть-то? Староста да сотскій сами отъ нее пользуются. „Винопольщику" все равно: она отъ него же водку-то беретъ, въ его же пользу торгуетъ: „винополія" заперта, а водку ейную мужики пьютъ во всякое время—и до обѣдни, и ночью, когда вздумается.

— А урядникъ?

— Урядникъ-то когда у насъ бываетъ? А пріѣдетъ, такъ въ той же „винополіи" у сидѣльца сидитъ, чаёкъ да водочку распиваетъ. Да и не поймаешь Матрёну: дошлая она, всѣ ходы и выходы знаетъ.... И выгодное дѣло это водкой торговать: по первому стаканчику хорошаго, настоящаго вина подастъ, а тамъ, какъ головы-то затуманятся, такая-то бурда пойдетъ, что и не разбери Господи! Матрёна-то допрежъ нищая была, а теперь здорово разжилась. Выгодное это дѣло, даже завидки берутъ...

— Попадется!

— Ну, небось не попадется... Да и чего это дураки иные преслѣдуютъ такихъ-то? Кто за это похвалитъ? Право, дураки! Вѣдь эта самая Матрёна работаетъ „винополіи" въ руку, казнѣ помогаетъ, мужикамъ угождаетъ, а ей отъ того

польза... Эхъ, кабы деньги да смѣлость, ей-Богу занялся бы этимъ дѣломъ!

— То-то самъ-то боишься! И ладно: хорошее ли это дѣло—своего брата мужика спаивать да обманную, незаконную продажу вести? Не по-Божески, братъ, это.

— Такъ-то оно такъ, да ужъ больно прибыльная эта самая коммерція-то: рубль на рубль нажить можно, шутка ли? И не все ли одно, не я—такъ другой наживается, а Андрей Барановъ все равно безъ водки не останется. Ну, тоже иногда, пожалуй, и опасно съ такими-то хамлетами и связываться: пожалуй, водку-то вылокаетъ, да тебя же вздуетъ, да и денегъ не отдастъ... Главное дѣло, что робокъ я, а то бы... Ну, вонъ и Андрей идетъ, можно репетицію начинать.

— Да вѣдь онъ, поди, пьяный?

— Ничего... Онъ и выпивши свое дѣло знаетъ. Не опростоволосится: не таковъ малый.

Театральный заработокъ (рублей 10 за сезонъ) у Андрея Баранова идетъ больше на выпивку, а у Петра Селезнева—въ домъ, на дѣло, на хозяйство. Изъ этого парня съ году на годъ, очевидно, вырабатывается благоразумный скопидомъ безъ преувеличенныхъ желаній, безъ недовольства своей мужицкой долей, безъ всякихъ „несуразныхъ“ для русскаго мужика стремленій, покорный всѣмъ установившимся издавна обычаямъ, которые наши охранители называютъ „вѣковыми устоями“ народной жизни, упорный отрицатель всякихъ „новшествъ“ и отступленій отъ окаменѣвшаго, стародавняго уклада мужицкой жизни: „куда ужъ, говоритъ, намъ противъ обычая идти, барскую жизнь перенимать“, съ „суконнымъ-то рыломъ да въ калашный рядъ“! „Мужики мы сѣрые, мужиками родились, мужиками и помремъ, а перестраивать жизнь по другому—не нашего ума дѣло“...

Хорошіе, полезные были актеры—безшабашный забулдыга Андрей Барановъ и разсудительный Петръ Селезневъ. Много удовольствія доставляли они своей игрой нашей нетребовательной деревенской публикѣ, заставляя ее хохотать до слезъ и забывать на два, на три часа свою сѣренькую, унылую обыденщину.

Но истиннымъ украшеніемъ труппы за послѣдніе три—четыре года были не они, а восемнадцатилѣтній юноша

Иванъ Кирилловичъ Прохоровъ, замѣчательный самородокъ, рано окончившій свое земное странствіе. Это былъ несомнѣнный и крупный сценическій талантъ.

Сынъ одинокаго крестьянина-алкоголика, онъ выросъ безъ материнскихъ ласкъ и заботъ, въ постоянной нуждѣ и въ самой бѣдной обстановкѣ: мать его страдала душевной болѣзнью, безотрадно и озлобленно относилась къ жизни и умерла вскорѣ послѣ рожденія своего единственнаго сына. Трудно сказать, чьими заботами, чьимъ участіемъ выжилъ и поднялся сирота Ваня: деревенскій людъ участливо и жалостливо относится къ такимъ сиротамъ. А вотъ въ училище такъ опредѣлилъ его отецъ: онъ, хоть и пьяный человѣкъ, самъ былъ грамотный, понималъ пользу грамоты, которой выучился на службѣ, да по-своему и любилъ своего единственнаго сына. Мальчикъ Прохоровъ производилъ пріятное впечатлѣніе своимъ интеллигентнымъ лицомъ, не то чтобы очень красивымъ, а симпатичнымъ и какъ-то одухотвореннымъ. Учился онъ въ школѣ превосходно, все понималъ и усвоивалъ легко, да еще отличался и прилежаніемъ, и серьезнымъ, любознательнымъ отношеніемъ къ ученью и къ книгѣ. Хотя онъ никогда ни передъ кѣмъ не подслуживался, не угодничалъ, но все время пользовался особенной любовью, особеннымъ уваженіемъ и учащихъ лицъ, и всѣхъ товарищей, и уже въ школѣ за нимъ навсегда утвердилось почетное названіе „Ивана Кирилловича“: никто не называлъ его просто Иваномъ Прохоровымъ, а всѣ называли Иваномъ Кирилловичемъ. Особенно любилъ онъ читать книги, заучивать и говорить наизусть стихи; говорилъ ихъ всегда толково и выразительно, но безъ всякаго кривлянья, безъ всякихъ декламаторскихъ выкрикиваній, читалъ, такъ сказать, „со вкусомъ“; сочиненія его, кромѣ толковости и правильности, обыкновенно отличались нѣкоторымъ изяществомъ: онъ писалъ дѣльно и умно, выражался просто и красиво. Замѣчательно, что общее расположеніе и частыя похвалы не вызывали въ немъ ни заносчивости, ни распущенности: его, повидимому, нельзя было, что называется, „захвалить“. Вообще говоря,—замкнутый, серьезный, сосредоточенный, точно всегда думающій про себя какую-то важную думу, онъ охотно помогалъ товари-

щамъ, никого не обижая, никѣмъ не пренебрегая. И никто никогда ему не завидовалъ, ни его успѣхамъ и знаніямъ, ни похваламъ и всякимъ знакамъ уваженія, съ которыми относились къ нему старшіе; видѣлось какое-то невольное общее признаніе справедливости этихъ похвалъ и этого уваженія: „Иванъ Кирилловичъ, молъ, у насъ человѣкъ „особенный",—развѣ съ нимъ можно равняться?" И никто никогда на него не жаловался, какъ никогда ни на кого не жаловался и онъ. Тихій, кроткій, съ тонкими чертами интеллигентнаго лица, всегда нѣсколько блѣднаго, съ глубокимъ взглядомъ мыслящаго человѣка, онъ никогда не обнаруживалъ ни шаловливости, ни особенной веселости, ни упрямства, ни самоволія, ни самодовольства, но невольно вызывалъ у наблюдателя мучительный вопросъ: что таится на днѣ этой—очевидно, чистой и глубокой—души? какая дума всегда владѣетъ этимъ „особеннымъ" человѣкомъ-мальчикомъ? чего онъ хочетъ? къ чему стремится? о чемъ мечтаетъ? Но неразрѣшенными оставались эти вопросы—и въ школѣ, и потомъ внѣ школы: Иванъ Кирилловичъ такъ до конца жизни и не выдалъ своей тайны.

На сценѣ Иванъ Кирилловичъ въ первый разъ выступилъ въ качествѣ чтеца на литературно-музыкальномъ великопостномъ вечерѣ. Онъ читалъ „Раздѣлъ" Никитина,—и прямо поразилъ простотой, правдой своего чтенія. Проникновенность этого чтенія, тонкость въ отдѣлкѣ подробностей, выдержанность общаго тона—могли удовлетворить самыя строгія требованія. Интеллигентныя лица, посѣтившія вечеръ, были удивлены, простая деревенская публика была въ восторгѣ, а подростки-товарищи съ какимъ-то умиленіемъ хлопали въ ладоши, подпрыгивали и говорили: „Иванъ-то Кирилловичъ! вотъ такъ молодецъ! любо! онъ и Андрея Баранова, и Петьку (Селезнева) за поясъ заткнетъ... Браво, браво, Иванъ Кирилловичъ! Бисъ! Бисъ!".—„Бисъ, бисъ!" кричали и Барановъ съ Селезневымъ, вовсе не завидуя успѣху юнаго соперника. Иванъ Кирилловичъ совершенно серьезно, съ той же думой на лицѣ выходилъ, неловко кланялся и снова говорилъ „Раздѣлъ", отвѣчая на „бисъ", который давно уже усвоила и практиковала наша деревенская публика.

Съ слѣдующаго сезона началась и сценическая карьера

Ивана Кирилловича, какъ актера. Немного ролей пришлось ему сыграть, но какъ онѣ были сыграны! Сколько пониманія, чутья, творчества, оригинальности было въ нихъ вложено!

Три изъ этихъ ролей были очень маленькія, и, повидимому, незначительныя, но онъ умѣлъ придать имъ или, можетъ быть, безсознательно, силою своего таланта, придавалъ имъ значительность, такъ что выдвигалъ ихъ на первый планъ. Это были—роль Каленика въ комедіи, передѣланной изъ повѣсти Гоголя „Майская ночь", роль земскаго лѣкаря въ комедіи Н. Н. Блинова „Миронъ Петровичъ" и роль портного въ „Сидоркиномъ дѣлѣ" Аверкіева. Нельзя было и думать, чтобы эти роли, маленькія и совсѣмъ незамѣтныя въ чтеніи, на сценѣ могли приковывать къ себѣ общее вниманіе всѣхъ зрителей, отвлекая его отъ всѣхъ главныхъ ролей. Иванъ Кирилловичъ, никогда не бывавшій ни въ какомъ другомъ театрѣ, кромѣ нашего деревенскаго и, конечно, весьма не замысловатаго театра, никогда не видавшій на сценѣ исполненія этихъ ролей и довольно вяло говорившій ихъ на репетиціяхъ, на спектакляхъ, передъ публикой прямо создавалъ изъ нихъ живое и поразительно вѣрное изображеніе людскихъ характеровъ,—яркое, жизненное и ничуть не шаржированное изображеніе. Откуда бралась у него какая-то непонятная, чуткая и правдивая творческая сила?! Что общаго между пьянымъ мужикомъ Каленикомъ, земскимъ лѣкаремъ и „наплечнымъ мастеромъ" (портнымъ) XVII вѣка? А Иванъ Кирилловичъ, поразительно перелицовываясь, давалъ цѣльный и живой образъ и того, и другого, и третьяго—и особой походкой, и особой манерой держать себя, и особымъ выраженіемъ лица, и особымъ говоромъ, и даже особымъ молчаніемъ: онъ въ высшей степени обладалъ рѣдкою способностью „играть на сценѣ молча", какою владѣли только самые крупные сценическіе таланты старой московской школы, въ родѣ Садовскаго или Васильева.

Болѣе крупными ролями Ивана Кирилловича были—Яичница въ „Женитьбѣ" Гоголя и Бальзаминовъ въ комедіи Островскаго „Зачѣмъ пойдешь, то и найдешь". Въ этихъ роляхъ талантъ его развернулся, что называется, „во всю". И опять мы видѣли и слышали на сценѣ не Ивана Кирилловича, а

живого, настоящаго экзекутора Яичницу, самаго солиднаго и осмотрительнаго изъ жениховъ Агафьи Тихоновны, который досконально разсмотритъ и невѣсту, и приданое, со всѣми ихъ добротностями и изъянами, и ни въ какую ловушку не попадетъ; видѣли настоящаго, живого Бальзаминова, съ его упорными и наивными мечтами о томъ, какъ бы разбогатѣть, имѣть свой домъ, своихъ лошадей и свою коляску, съ его дураковатымъ незлобіемъ и добродушною глупостью. Видѣлъ я въ роли Бальзаминова и Павла Васильева, и Давыдова, но игра Ивана Кирилловича, совершенно своеобразная, правдивая и выдержанная во всѣхъ деталяхъ, цѣльная и особенно характерная, когда ему приходилось „играть молча“ (напримѣръ, въ саду, когда барышни читаютъ принесенное имъ письмо, а онъ сидитъ одиноко на скамейкѣ въ сторонѣ), производила больше впечатлѣнія. Главное—что въ игрѣ его все вытекало изъ сущности изображаемаго лица, все было наивно-просто, естественно и совершенно свободно отъ всякаго преувеличенія и шаржа, чего я, по совѣсти, не сказалъ бы ни про игру Васильева, ни про игру Давыдова. Никакой режиссеръ не могъ бы придать игрѣ Ивана Кирилловича столько совершенно оригинальныхъ подробностей, столько мелкихъ, но характерныхъ чертъ, ярко рисующихъ личность, сколько вносилъ въ нее онъ самъ—совершенно неожиданно для тѣхъ лицъ, которыя вели репетиціи и руководили игрою всей труппы, какъ-то экспромтомъ, точно по вдохновенію, свойственному не простой подражательности, а только живой творческой силѣ...

Вся труппа и всѣ руководители нашего театра гордились такимъ выдающимся талантомъ и возлагали на него большія надежды. Рѣшено было—въ слѣдующій же сезонъ поставить „Ревизора“ съ городничимъ Иваномъ Кирилловичемъ. Уже намѣчали исполнителей: кромѣ городничаго, съ которымъ, навѣрно, отлично справился бы Иванъ Кирилловичъ, какъ это видно было по предварительнымъ считкамъ, былъ намѣченъ и Хлестаковъ, который не испортилъ бы дѣла, и совсѣмъ удовлетворительный Тяпкинъ-Ляпкинъ (Андрей Барановъ), и подходящій Добчинскій (Петръ Селезневъ), и Осипъ, испытанный въ подобной роли въ „Женитьбѣ“, и жена, и дочка городничаго... Судя по считкамъ, дѣло

наладилось бы вполнѣ, но судьба судила иное: намъ вполнѣ удалось познакомить нашу деревенскую публику съ Пушкинымъ („Борисъ Годуновъ"), но съ Гоголемъ дальше „Женитьбы" мы не пошли.

На сценѣ Ивану Кирилловичу везло, но жизнь его мало радовала. Жилъ онъ вдвоемъ съ отцомъ, какъ уже было сказано, алкоголикомъ, въ тѣсной убогой хатѣ, впроголодь. Онъ былъ и работникомъ для отца, отдавая ему всѣ свои заработки, и стряпухой, занимаясь и печеніемъ хлѣба, и всей незатѣйливой стряпней. Зимой онъ ходилъ на подёнщину, а на лѣто съ весны уходилъ въ городъ мостить мостовыя; но значительная часть его заработковъ пропивалась несчастнымъ отцомъ, на поправку хозяйства ничего не оставалось. Отецъ съ лѣтами становился все придирчивѣе, неуживчивѣе. Жизнь была унылая, безрадостная. Только въ театрѣ, на репетиціяхъ да спектакляхъ и отдыхалъ бѣдный Иванъ Кирилловичъ. Только здѣсь и отводилъ свою больную, скорбящую душу—и отъ домашняго ада, и отъ черной, истинно-воловьей работы на городскихъ мостовыхъ да на подёнщинѣ, отъ работы, которая, видимо, была ему и не по силамъ, и не по вкусу. Возвратится, бывало, изъ города—весь лохматый, огрубѣвшій и какой-то мрачный, просто узнать нельзя. А какъ начнутся репетиціи, съ разговорами, съ пѣснями, съ разсказами, —оживится, облагообразится. Оканчивается сезонъ—всѣ спѣшатъ получить свои заработанныя деньги, кто не забралъ ихъ впередъ и не промоталъ, какъ Андрей Барановъ, или не пустилъ на какое-нибудь практическое дѣло, какъ Селезневъ. А Иванъ Кирилловичъ—смотришь—затуманился, ходитъ хмурый и вялый, и о деньгахъ ни слова, пока ему не напомнятъ; впередъ онъ не забиралъ ихъ никогда.

— Что съ тобой, Иванъ Кирилловичъ,—говорятъ ему,—здоровъ ли ты?

— Я ничего, говоритъ, я такъ...

— Что же ты сентябремъ смотришь? Что невеселъ? Что головушку повѣсилъ?

— Чему радоваться-то? Радость-то, видно, для насъ на томъ свѣтѣ припасена.

— Въ городъ на мостовую собираешься?

— Извѣстное дѣло! Куда же больше нашему брату дѣваться?

— Ну, осенью, какъ отработаешься, приходи за ролями... Вѣдь будешь у насъ играть-то, или не хочешь больше?

— Ну, какъ не хотѣть, только долго еще этого ждать...

— Дождемся,—приходи же!

— Живъ буду—такъ приду...

Съ каждымъ годомъ онъ возвращался осенью все мрачнѣе и мрачнѣе. А тутъ еще отецъ задумалъ его женить.

— Восемнадцать лѣтъ тебѣ, Ваня, говоритъ: пора! У насъ въ домѣ хозяйки нѣтъ, некому хлѣбы испечь, некому похлебку сварить. Намъ съ тобой хозяйка нужна...

— Нѐ у чего хозяйничать-то...

— Ты не фордыбачь передъ отцомъ. Говорю—надо тебя женить,—ну, и женю. А ты мнѣ не груби, не прекословь...

Пуще да пуще сталъ приставать къ нему отецъ съ женитьбой, началъ невѣстъ приглядывать, а сынъ—куда! Онъ какъ-то и отъ дѣвушекъ-то въ сторонѣ держался, не то, чтобы заигрывать, и разговоровъ-то съ ними избѣгалъ; только на сценѣ Богъ вѣсть откуда смѣлость и прыть брались. Пошли у него съ отцомъ крупные разговоры да перекоры; къ отцу пристали сосѣди,—его сторону держатъ, напьются вмѣстѣ, пойдетъ пьяная ругань... Радъ былъ Иванъ Кирилловичъ хоть бы въ городъ на мостовую вырваться.

Къ послѣднему сезону онъ возвратился особенно мрачнымъ и все время выглядѣлъ какимъ-то больнымъ.

— Не веселъ чтой-то у насъ Иванъ Кирилловичъ!—говорили ребята.

— Какъ же, братецъ,—у него горе большое: отецъ, слышишь, женить его собирается, а онъ не хочетъ, все боится чего-то, думаетъ: жена-то въ родѣ какъ медвѣдь...

— Ну, ужъ это ты напрасно, Иванъ Кирилловичъ,—не отвертишься: женятъ!

— А тебѣ что,—разсердился вдругъ нашъ Иванъ Кирилловичъ:—знай про себя, а въ чужое дѣло не суйся...

Онъ весь поблѣднѣлъ, сверкнулъ глазами — и отошелъ прочь. Ребята какъ будто смутились и примолкли. Пуще да пуще задумывался нашъ Иванъ Кирилловичъ... А какъ пошли репетиціи да спектакли—онъ какъ будто успокоился и

повеселѣлъ. Въ эту-то зиму онъ и создалъ роль Бальзаминова. Въ эту-то зиму на его долю и достались особенный успѣхъ, особенныя рукоплесканія и восторги публики. Пьеса Островскаго шла нѣсколько разъ. На послѣднемъ спектаклѣ онъ былъ особенно въ ударѣ,—такъ сказать, превзошелъ самого себя.

Окончился сезонъ. Всѣ, кромѣ Ивана Кирилловича, забрали свои деньги. Андрей Барановъ загулялъ. Петръ Селезневъ козыремъ ходитъ въ новой поддевкѣ и въ новыхъ сапогахъ со скрипомъ. А Иванъ Кирилловичъ совсѣмъ упалъ духомъ, поблѣднѣлъ, похудѣлъ, сталъ мрачнѣе ночи.

— Боленъ ты, Иванъ Кириллычъ. Не лихорадка ли у тебя? Надо тебѣ порошки дать. Ты не скрывай, правду скажи...

— Нѣтъ, ничего я не боленъ, никакихъ порошковъ мнѣ не надо.

— Такъ что жъ съ тобой? Ты не сердись. Я добра тебѣ, другъ, желаю. Вѣдь вижу, что тебѣ не хорошо. Скажи правду: тебѣ нездоровится? знобитъ? голова болитъ?

— Да нѣтъ же, ей-Богу, я не боленъ. А такъ что-то не по себѣ. Ничего не болитъ, а словно потерялъ что...

Такъ и нельзя было у него ничего допроситься.

Прошла масленица, начался постъ, приближалась весна. Какъ-то утромъ прибѣгаютъ ребята, встревоженные, напуганные.

— Что случилось?

— Ой-ой, что Иванъ-то Кириллычъ сдѣлалъ! Ой-ой!

— Что? Что такое?

— Да въ своей хатѣ на поясѣ задавился...

Нечего и говорить о томъ, какимъ ужасомъ пронеслась эта вѣсть по селу.

Наша труппа и ея руководители плакали безутѣшно. Но, по странной ироніи судьбы, вскорѣ, передъ началомъ будущаго же сезона и театру нашему, на шестнадцатомъ году его жизни, суждено было умереть тоже насильственной смертью—только не отъ собственныхъ рукъ...

И. Бѣлоусовъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

* * *

Воскресни!—говоритъ весна,
Лучами яркими сіяя;
Воскресни!—вѣтерка волна
Чуть шепчетъ, съ поля набѣгая.
Въ окно открытое летятъ
Веселыхъ, вольныхъ птичекъ пѣсни,
И намъ такъ нѣжно говорятъ:
Весна, весна пришла,—воскресни!
Но силы нѣтъ у насъ, чтобъ встать,-
Изнемогли мы всѣ отъ боли;
Не хватитъ силъ веснѣ поднять
И возвратить насъ къ лучшей долѣ.
Намъ нуженъ голосъ громовой,
Призывъ и вольный, и свободный:—
Надъ угнетенною страной
Протеста голосъ всенародный!..

Изъ Т. Г. Шевченка *).

Ужъ не начать ли мнѣ посланье
Къ себѣ и самому писать,—
И все, что нужно и не нужно
Въ посланьѣ этомъ разсказать;—
А то по правдѣ кто напишетъ,
Любовью къ истинѣ горя?
А вотъ ужъ годъ идетъ десятый,
Какъ людямъ далъ я „Кобзаря".
У всѣхъ какъ будто ротъ замазанъ,—
Никто и звука не издастъ,
Какъ будто нѣтъ меня на свѣтѣ.
Не похвалы я жду отъ васъ,—
И безъ похвалъ я обойдуся,—
Мнѣ нуженъ добрый лишь совѣтъ;
Должно быть, безъ него придется
Мнѣ умереть,—покинуть свѣтъ.
А, Господи, какъ мнѣ хотѣлось,
Чтобъ слово кто-нибудь сказалъ,—
За что любилъ я Украину
И для кого всю жизнь писалъ?
Такъ и состарѣюсь я съ думой:
Что дѣлаю,—не знаю самъ.
Пишу лишь для того, чтобъ время
Не тратить такъ, по пустякамъ...
А иногда казакъ усатый

*) Стихотвореніе это въ русскомъ переводѣ появляется въ первый разъ. *И. Б.*

Приснится грѣшному во снѣ,
Съ своею волей удалою
На черномъ вороном конѣ.
А больше ничего не знаю,
Хотя за то и пропадаю
Теперь въ далекой сторонѣ.
Должно быть, такъ ужъ жизнь сложилась!
А, можетъ, Богу не молилась,
Меня носивши, мать моя?
Какъ будто лютая змѣя
Въ степи подъ солнцемъ издыхаетъ,
Людской растоптана ногой,—
Такъ больно грудь моя страдаетъ
И проситъ, ждетъ и умоляетъ
Покоя лишь въ землѣ сырой...
За что все это?—я не знаю,—
Но все-таки ее люблю,
Мою Украину родную,
И Бога за нее молю,
Хотя я въ ней и одинокій
(Подруги тамъ я не нашелъ)
И до погибели дошелъ...
Эхъ, другъ! о чемъ печаль съ тоской?
Не стоитъ, право, унывать:
Живи, терпи, моляся Богу,
А на толпу намъ наплевать!

Иванъ Гусъ.

Первая часть поэмы Т. Г. Шевченки.

Кругомъ неправда и неволя;
Народъ замученный молчитъ;
А на апостольскомъ престолѣ
Монахъ упитанный сидитъ.
Людскою кровію торгуетъ,
Рай по частямъ онъ продаетъ!..
Твоя, о, Боже, воля всуе;
Когда же судъ Твой къ намъ придетъ?

Разбойники, людоѣды
Правду всю забрали,
И Твою святую волю,
Славу осмѣяли!..
Въ кандалахъ страдаютъ люди,
Нѣтъ имъ силъ подняться,—
Расковать свои оковы,
Вмѣстѣ всѣмъ собраться;
За обиженныхъ, за правду,
Грудью встать могучей...
Боже, выйдетъ ли къ намъ солнце
Изъ-за темной тучи?
И настанетъ ли великій
Часъ небесной кары?
И падетъ ли власть надъ міромъ
Гордой той тіары?
Мы бъ ее разбили!..
Боже!
Не на месть и муки

Ты пошли благословенье
На слабыя руки,
На уста, чтобы промолвить
Праведное слово;—
Можетъ быть, они услышатъ
Тебя Всеблагова!?..

Такъ думалъ въ кельѣ Гусъ правдивый;
Людей задумалъ расковать—
Людей замученныхъ—и диво,
Святое диво показать
Очамъ незрячимъ...
„Поборюсь!
За правду Богъ! Да совершится!“
И въ Виѳлеемскую каплицу
Пошелъ молиться вѣрный Гусъ!...

Изъ М. Конопницкой.

О, если бъ, Господи, на землю
Хоть на мгновенье Ты сошелъ,—
Въ нуждѣ, подъ гнетомъ непосильнымъ
Страну родную бы нашелъ,
И увидалъ бы, какъ голодный
Живетъ несчастный, бѣдный людъ,
И сколько ранъ онъ носитъ въ сердцѣ,
Какъ слезы горькія текутъ,
И какъ у каждаго порога
Стоитъ и горе и нужда,—
Ты Самъ кровавыми слезами,
Мой Богъ, заплакалъ бы тогда!..

Ч. Вѣтринскій.

В. Г. КОРОЛЕНКО ВЪ НИЖНЕМЪ*).

Матеріалы.

— „Лѣсъ рубятъ, щепки летятъ“—говоритъ пословица. Одною изъ такихъ щепокъ носился и я по обширному житейскому морю, пока, наконецъ, меня не принесло къ нижегородскимъ берегамъ. Это было ровно 11 лѣтъ назадъ; въ январѣ 1885 года, вечеромъ, я подъѣзжалъ по Волгѣ къ Нижнему. Долго мимо меня мелькали огоньки налѣво и направо, въ Подновьи, въ Бору, потомъ на городскомъ берегу. Все казалось мнѣ холодно, угрюмо и незнакомо. Наконецъ, наши сани стали подыматься по Магистратскому съѣзду, на Набережную. Одинокій фонарь освѣщалъ крупную надпись на каменной стѣнѣ: „чаль за кольца, рѣшетку береги, стѣны не касайся“. Эти слова,—если не ошибаюсь, и теперь еще сохранившіяся на стѣнѣ, — произвели на меня тогда очень сильное и своеобразное впечатлѣніе. Это были первыя слова, которыми меня встрѣтилъ Нижній. Я послушался и причалилъ за кольцо. Не могу сказать точно, вполнѣ ли исполнено мною предостереженіе: очень можетъ быть, что порой я и не поберегъ ту или другую рѣшетку, коснулся той или другой стѣны, пользовавшейся неприкосновенностью, но причалилъ все-таки такъ плотно, что вотъ уже 11 лѣтъ я съ вами и теперь считаю себя почти нижегородцемъ“.

Такъ образно охарактеризовалъ свое прибытіе въ Ниж-

---

*) Часть настоящей статьи была напечатана въ 1903 г. въ „Нижегородскомъ Листкѣ“ 15 и 16 іюля, ко времени празднованія 50-лѣтія В. Г. Короленка. Считаемъ долгомъ выразить благодарность за фактическія указанія А. А. Савельеву.

ній самъ Владиміръ Галактіоновичъ Короленко, въ рѣчи на обѣдѣ въ его честь 5 января 1896 г. предъ отъѣздомъ изъ Нижняго 7 января того же года.

В. Г. Короленко прибылъ въ Нижній послѣ нѣсколькихъ лѣтъ жизни сначала въ глуши Вятской губерніи (глухой Глазовскій уѣздъ), потомъ въ Сибири, съ богатымъ запасомъ наблюденій и воспоминаній, которыя въ Нижнемъ отлились въ художественную форму. Въ Нижнемъ онъ пріобрѣлъ литературную славу, съ Нижегородской губерніей тѣсно связанъ рядъ его художественныхъ произведеній и видная общественная дѣятельность, въ которую онъ незамѣтно втянулся. Обзоръ этого періода жизни любимаго русскаго писателя представляетъ, поэтому, несомнѣнный общій интересъ и историко-литературное значеніе.

„Да, провинція загягиваетъ!—говорилъ В. Г. въ своей прощальной рѣчи нижегородцамъ:—не картами и виномъ, а проснувшимися въ ней живыми мѣстными интересами. Жизнь—всюду! Есть жизнь и въ столицѣ, кипучая и интересная! Но тутъ есть одна черта существеннаго отличія: то, что въ столицѣ является по большей части идеей, формулой, отвлеченностью,—здѣсь мы видимъ въ лицахъ, осязаемъ, чувствуемъ, воспринимаемъ на себѣ. Поэтому поневолѣ то самое, что въ столицѣ является борьбою идей,—здѣсь принимаетъ форму реальной борьбы живыхъ лицъ и явленій... Да, это затягиваетъ, и именно потому, что это такъ живо, и въ особенности потому, что оно особенно живо именно въ послѣдніе годы“. И, дѣйствительно, жизнь затягивала В. Г. въ работу въ самыхъ различныхъ направленіяхъ, да и самъ онъ—съ сильно развитою жилкою общительности и общественности—шелъ навстрѣчу жизни.

По пріѣздѣ онъ поселился въ домѣ Александрова на Варваркѣ (уголъ Мистровской). Въ Нижнемъ В. Г. вѣнчался въ Троицкой церкви на Б. Печеркѣ съ Евдокіею Семеновною Ивановскою, пріѣхавшею въ Нижній послѣ В. Г.; затѣмъ они жили на Жуковской улицѣ въ д. Архангельскаго, потомъ перешли на квартиру въ Кизеветтерской, близъ Набережной, потомъ въ домъ Папковой на Больничной, гдѣ жили года три, а затѣмъ уже въ извѣстный домъ Лемке, гдѣ жили довольно долго до отъѣзда. В. Г. быстро сталъ однимъ изъ

центровъ жизни нижегородской интеллигенціи. Около него собирались разнообразнѣйшіе люди, искавшіе его общества и еще чаще—поддержки нравственной, а часто и матеріальной. Привлекала не только его громкая литературная извѣстность, создавшаяся въ Нижнемъ, но и всѣ его личныя качества: рѣдкіе умѣнье и талантъ сближаться съ людьми, самая широкая и сердечная, и умственная отзывчивость. Напомнимъ, что М. Горькій печатно заявилъ, какъ многимъ онъ считаетъ себя обязаннымъ В. Г. Трудно было бы перечислить всѣхъ менѣе видныхъ людей, которые обязаны были В. Г. въ Нижнемъ и помощью, и просто добрымъ, въ пору сказаннымъ словомъ.

По пріѣздѣ В. Г. въ Нижній, въ „Русской Мысли" и „Сѣв. Вѣстникѣ" появляются одно за другимъ его произведенія, навѣянныя суровой Сибирью. Въ 1885 году, въ годъ пріѣзда, были напечатаны: „Сонъ Макара" („Р. М." 85, № 3) и „Въ дурномъ обществѣ" („Р. М." 85 г., № 10), „Очерки сибирскаго туриста" („Убивецъ" и „Сахалинецъ"—„Сѣв. Вѣстникъ", 1 и 4 книги). Этими произведеніями въ одинъ годъ была завоевана громкая литературная извѣстность.

Не останавливаясь на всемъ, написанномъ В. Г. въ Нижнемъ, отмѣтимъ произведенія, которыя непосредственно связаны съ Нижнимъ и навѣяны жизнью губерніи. Въ разные углы губерніи В. Г. ежегодно предпринимаетъ поѣздки и усердно и пристально ее наблюдаетъ. „За иконой" („Сѣв. Вѣстн.", 1887 г., № 9)—впечатлѣнія похода съ богомольцами, ежегодно провожающими изъ Нижняго-Новгорода икону Оранской Божіей Матери въ Оранскій монастырь; „На затменіи"—мастерскія картины затменія и впечатлѣній и настроеній народной массы при рѣдкомъ явленіи природы, наблюдать которое В. Г. ѣздилъ въ Юрьевецъ; „Павловскіе очерки" („Р. М." №№ 9—11, 1890 г.)—картины жизни и нравовъ знаменитаго гнѣзда кустарей-замочниковъ; „Рѣка играетъ" („Помощь голодающимъ", сборникъ „Русск. Вѣдомостей", 1892 г.)—впечатлѣнія поѣздки на Ветлугу, на Святое озеро съ легендарнымъ градомъ Китежемъ; „Въ голодный годъ" („Р. Б." 1893 г., №№ 2, 3, 5 и 7 и отдѣльн. изданіе 1894 г.)—наблюденія во время напряженной работы по помощи голодающимъ въ первую половину 1892 года.

„Въ облачный день“ („глава изъ оконченнаго романа“— „Р. Б.“ 1896 г., 2) и „Смиренные“ („Р. Б.“ 1899 г., 1)— напечатаны уже по отъѣздѣ В. Г. изъ Нижняго, но относятся по содержанію и мѣсту дѣйствія къ нижегородской полосѣ его творчества. Къ ней же относятся—„Божій городокъ“,—очеркъ въ настоящемъ сборникѣ, и менѣе значительные, но съ обычнымъ мастерствомъ Короленка набросанные очерки: „Пріемышъ“ (неоднократно изданъ брошюрой для народнаго чтенія) и „На Волгѣ“ (сборникъ „Памяти Гаршина“. Спб. 1889 г. и сборникъ „Доброе дѣло“ М. 1894 г.). Кое-что, по слухамъ, до сихъ поръ хранится въ портфеляхъ В. Г., какъ, напр., трагическая исторія крѣпостного ученика ступинской школы живописи въ Арзамасѣ“.

Большинство „нижегородскихъ“ произведеній В. Г. носитъ этнографическій характеръ. На раскошно-выписанномъ фонѣ нижегородскихъ пейзажей—безграничныя поля, Волга, Ветлуга, зимняя дорога и т. д.—разнообразная, сложная, оригинальная жизнь народной массы. По теплому, сочувственному ей тону повѣствованій Короленко примыкаетъ къ писателямъ-народникамъ, къ школѣ Глѣба Успенскаго и Златовратскаго. Но въ отношеніи его къ жизни народной много и своеобразнаго, и характерны для него, между прочимъ, вдумчивость и осторожность, съ какими онъ индивидуализируетъ бросающіяся въ глаза явленія, воздерживаясь отъ огульныхъ характеристикъ и свойственныхъ русскимъ людямъ поспѣшныхъ обобщеній, радостно привѣтствуя и „возводя въ перлъ созданія“ все свѣтлое, что можетъ дать народная жизнь.

Въ книгѣ „Въ голодный годъ“,—въ этой яркой картинѣ не одного голоднаго года, но отчасти и тѣхъ условій народной жизни, которыя неурожаи превращаютъ въ народныя бѣдствія,—мы находимъ принципіальный энергичный протестъ противъ этой распространенной привычки дѣлать „массовые выводы изъ единичныхъ наблюденій“. „Въ томъ-то и дѣло, что мужика, единаго и нераздѣльнаго, просто мужика — совсѣмъ нѣтъ,—напоминаетъ В. Г.:—есть Ѳедоты, Иваны, бѣдняки, богачи, нищіе и кулаки, добродѣтельные, порочные, заботливые и пьяницы, живущіе на полномъ надѣлѣ и дарственники, съ надѣлами въ одинъ лапоть, хозяева и работ-

ники... Въ томъ-то и дѣло, что намъ народъ кажется весь на одно лицо, и по первому мужику мы судимъ о всѣхъ мужикахъ. Когда мы съ нимъ кокетничали, когда у насъ были въ модѣ славянофильство и народность, тогда стоило первому трактирному половому, первому прасолу изречь какую-нибудь болѣе или менѣе характерную сентенцію—и мы уже кричали: вотъ что думаетъ, вотъ какъ судитъ русскій народъ... ну, хоть о либерализмѣ. И этого было достаточно, чтобы умилиться передъ „народною мудростью“ и чтобы посрамить либерализмъ на основаніи столь высокаго авторитета. Теперь—время другое, и, увидя у перваго кабака перваго пьяницу, мы ужъ готовы кричать: „вотъ онъ русскій народъ! Пьяница и оболтусъ! Русскій народъ спился, русскій народъ не голодаетъ, а пропиваетъ ссуды“.

Въ противоположность привычкѣ дѣлать выводы о народѣ по отдѣльнымъ лицамъ, случаямъ и явленіямъ, В. Г. для своихъ наблюденій ищетъ охотно встрѣчъ съ народною массою. Къ этой массовой жизни онъ подходитъ, какъ человѣкъ съ законченнымъ строемъ мыслей, далекій отъ преклоненія предъ готовыми формами народной психологіи, и ему удается представить ее настолько объективно художественно, что изъ этнографической картинки нижегородскаго края предъ нами вырастаетъ типическая картина русскаго богомолья, схода, русской простонародной толпы предъ лицомъ тѣхъ или другихъ случаевъ или событій. Отдѣльныя явленія, можетъ быть, случайныя поднимаются въ область типа. Правда художественнаго изображенія подтверждаетъ теоретическую мысль, сливаясь съ нею въ одно. Косность и робость мысли въ подавленной народной массѣ получаетъ себѣ въ правдивомъ изображеніи оправданіе и объясненіе, и живая жизнь даетъ въ глазахъ писателя и читателя оправданіе также и противоположному—пробуждающемуся сознанію, стремленію къ свѣту и справедливости, не угасающимъ, несмотря ни на что.

Суровыя впечатлѣнія выноситъ Короленко отъ зрѣлища тѣхъ картинъ народной жизни „въ лѣсахъ“, которыя такими нарядными красками любилъ рисовать бытописатель нижегородскаго Поволжья—Мельниковъ. „Сутки я провелъ,—разсказываетъ В. Г. въ очеркѣ „Рѣка играетъ“—на „Святомъ озерѣ“, у невидимаго града Китежа, толкаясь между наро-

домъ, слушая гнусавое пѣніе нищихъ слѣпцовъ, останавливаясь у импровизированныхъ алтарей, подъ развѣсистыми деревьями, гдѣ безпоповцы, скитники и скитницы разныхъ толковъ пѣли свои службы, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ, въ густыхъ кучкахъ народа, кипѣли страстные религіозные споры. Ночь я простоялъ всю на ногахъ, сжатый въ густой толпѣ у старой часовни. Мнѣ вспомнились утомленныя лица миссіонера и двухъ священниковъ, кучи книгъ на аналоѣ, огни свѣчей, при помощи которыхъ спорившіе разыскивали нужные тексты въ толстыхъ фоліантахъ, возбужденныя лица раскольниковъ и православныхъ, встрѣчавшихъ многоголосымъ говоромъ каждое удачное возраженіе. Вспомнилась старая часовня съ раскрытыми дверями, въ которыя виднѣлись желтые огоньки у иконъ, между тѣмъ какъ по синему небу ясная луна тихо плыла и надъ часовней, и надъ темными, спокойно шатавшимися деревьями. На зарѣ я съ трудомъ протолкался изъ толпы на просторъ, и усталый, съ головой, отяжелѣвшей отъ безплодной схоластики этихъ споровъ, съ сердцемъ, сжимавшимся отъ безотчетной тоски и разочарованія,—поплелся полевыми дорогами по направленію къ синей полосѣ приветлужскихъ лѣсовъ, вслѣдъ за вереницами расходившихся богомольцевъ. Тяжелыя, нерадостныя впечатлѣнія уносилъ я отъ береговъ Святого озера, отъ невидимаго, но страстно взыскуемаго народомъ града... Точно въ душномъ склепѣ, при тускломъ свѣтѣ угасающей лампадки провелъ я всю эту безсонную ночь, прислушиваясь, какъ гдѣ-то за стѣной кто-то читаетъ мѣрнымъ голосомъ заупокойныя молитвы надъ заснувшей навѣки народною мыслью".

„Заснувшая навѣки мысль" поражена страхомъ и ужасомъ въ картинѣ затменія. Очеркъ Короленка „На затменіи"—единственный въ русской литературѣ по изобразительности торжественнаго явленія природы,—вмѣстѣ съ тѣмъ единственный по наглядности и художественной простотѣ, съ какими символизирована психологія невѣжества, гонимаго свѣтомъ.

„Солнце, Солнце! —пишетъ онъ, изобразивъ моментъ пробужденія природы съ первымъ лучомъ, просіявшимъ за затменіемъ:—я не подозрѣвалъ, что и на меня его новое

появленіе произведетъ такое сильное, такое облегчающее, такое отрадное впечатлѣніе, близкое къ благоговѣнію, къ преклоненію, къ молитвѣ... Что это было: отзвукъ стараго, залегающаго въ далекихъ глубинахъ каждаго человѣческаго сердца преклоненія передъ источникомъ свѣта, или проще,— я почувствовалъ въ эту минуту, что этотъ первый проблескъ прогналъ прочь густо столпившіеся призраки предразсудка, предубѣжденія, вражду этой толпы?.. Мелькнулъ свѣтъ—и мы стали опять братьями... Да, не знаю, что это было, но только и мой вздохъ присоединился къ общему облегченному вздоху толпы".

Въ такихъ простыхъ и въ то же время художественныхъ образахъ высказанная, несложная сама по себѣ мысль о народной темнотѣ находитъ себѣ новое ярко-внушительное выраженіе. Здѣсь, какъ и вездѣ, обаятельная сила образовъ Короленка кроется въ ихъ простотѣ и сердечности настроенія, захватываетъ читателя именно это дѣтски простое, сердечное отношеніе къ явленіямъ и типамъ народной жизни, живой откликъ сердца писателя. В. Г. и лично могъ подходить по-братски и къ Андрей Иванычамъ, и Тюлинымъ—героямъ его разсказовъ, къ простымъ душою и чистымъ сердцами. На высотѣ умственнаго развитія онъ чуждъ педантизма и чего бы то ни было „книжнаго" (въ ковычкахъ), что носитъ въ себѣ схоластическій, начетническій характеръ. Ему тяжело „тамъ на озерѣ, среди книжныхъ народныхъ разговоровъ, среди „умственныхъ" мужиковъ и начетчиковъ, и такъ легко, такъ свободно на этой тихой рѣкѣ, съ этимъ стихійнымъ, безалабернымъ, распущеннымъ и вѣчно страждущимъ отъ похмельнаго недуга перевозчикомъ Тюлинымъ?" Отъ тѣхъ на него вѣетъ холодомъ и отчужденностью, а этотъ кажется такимъ близкимъ и знакомымъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ „все это было когда-то, но только не помню—когда". Въ этомъ ключъ не только литературной, но и личной обаятельности, о которой понынѣ тепло вспоминаютъ нижегородцы.

Отсюда и то сердечное пониманіе религіозныхъ порывовъ массы, которое неожиданно рознитъ Короленка, изображающаго стихійные порывы религіознаго чувства въ народѣ, съ Тютчевымъ и его поэзіею „ноши крестной", съ Иваномъ

Кирѣевскимъ... Такъ, „Смиренные“ Короленка мастерски передаютъ ту безконечно страдальческую покорность русской деревни предъ неизбѣжнымъ, которую поэтизировали когда-то Тютчевъ и другіе славянофилы. Но Короленко рисуетъ и другую сторону, изображаетъ, какъ это „смиреніе“ современнаго интеллигента заставляетъ метаться въ безысходномъ страданіи, не безъ отзвука собственной вины *).

Съ глубокимъ волненіемъ рисуетъ писатель въ очеркѣ „За иконой“ порывы религіознаго настроенія толпы.

„На просторѣ полей, у этихъ часовенокъ, среди раскинувшейся и порѣдѣвшей толпы, икона стала какъ будто ближе и доступнѣе. Тутъ, собственно, ее окружалъ тѣсный кружокъ настоящихъ богомольцевъ. Страждущій, болящій, немощный и скорбящій людъ охватывалъ икону живою волной, которая вздымалась подъ вліяніемъ какого-то особеннаго притяженія. Не глядя другъ на друга, не обращая вниманія на толчки, всѣ они смотрѣли въ одно мѣсто... Полупотухшіе глаза, скорченныя руки, изогнутыя спины, лица, искаженныя отъ боли и страданія — все это обращалось къ одному центру,—туда, гдѣ иза-за стекла и переплета рамы сіяла золотая риза, и голова Богоматери склонялась темнымъ пятномъ къ Младенцу. Изъ глубины кіота икона производила особенное впечатлѣніе. Солнечные лучи, проникая сквозь стекла, сверкали смягченными переливами на золотѣ ея вѣнца; отъ движенія толпы икона слегка колебалась, переливы свѣта вспыхивали и угасали, перебѣгая съ мѣста на мѣсто, и склоненная голова, казалось, шевелилась надъ взволнованною толпой. Тогда потухшіе глаза и искаженныя лица оживлялись. По всѣмъ этимъ лицамъ проходило какое-то вѣяніе, сглаживавшее всѣ различные оттѣнки страданія, подводившее ихъ подъ общее выраженіе умиленія. Я смотрѣлъ на эту картину не безъ волненія... Такая волна человѣческаго горя, такая волна человѣческаго упованія и надежды!.. И какая огромная масса однороднаго душевнаго движенія, подхватывающаго, уносящаго, смывающаго каждое

*) Подобно другимъ нижегородскимъ картинамъ, очеркъ построенъ, если не ошибаемся, на дѣйствительномъ случаѣ содержанія сумасшедшаго на цѣпи въ дачной мѣстности Чернорѣчье подъ Нижнимъ-Новгородомъ.

отдѣльное страданіе, каждое личное горе, какъ каплю, утопающую въ океанѣ!.. Не здѣсь ли, думалось мнѣ, не въ этомъ ли могучемъ потокѣ однородныхъ человѣческихъ упованій, одной вѣры и одинаковыхъ надеждъ—источникъ этой исцѣляющей силы?.. *).

Это сердечное пониманіе религіозныхъ порывовъ массы, какъ выраженія жажды справедливости и милосердія, красною нитью, какъ основное настроеніе, проходитъ чрезъ очерки „За иконей“ и „Рѣка играетъ“. Интересъ къ религіознымъ движеніямъ со стороны В. Г. выразился и въ путешествіи его въ Саровъ, которое онъ повторилъ въ годъ открытія мощей св. Серафима.

Чуткое сердечное пониманіе этихъ настроеній массы сказалось и въ тонкомъ истолкованіи у В. Г. того, какъ народъ создаетъ легенды, движущія сердцами. Въ одной изъ главъ книги „Въ голодный годъ“ Короленко передаетъ легенду, которая объясняетъ единодушіе, поистинѣ самоотверженное милосердіе, заставляющее въ голодный годъ отдавать предпослѣдній кусокъ хлѣба тому, кто уже съѣлъ послѣдній.—„Общественное значеніе этого явленія и громадно, и понятно. Вмѣсто того, чтобы одному замкнуться со строго разсчитаннымъ запасомъ своего хлѣба, едва хватающаго для себя, а другому умирать голодною смертью, — первый дѣлится со вторымъ, увеличиваетъ у себя примѣси суррогатовъ, тянетъ, пока можетъ, а когда не можетъ—идетъ и самъ съ сумой на спинѣ, съ именемъ Христа на устахъ. И вотъ, первые не умерли

*) Я разъ стоялъ въ часовнѣ,—говорилъ Кирѣевскій (разсказъ Герцена въ „Быломъ и думахъ“):—смотрѣлъ на чудотворную икону Богоматери и думалъ о дѣтской вѣрѣ народа, молящагося ей; нѣсколько женщинъ, больные, старики стояли на колѣняхъ и, крестясь, клали земные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядѣлъ я потомъ на святыя черты, и мало-по-малу тайна чудесной силы стала мнѣ уясняться. Да, это не просто доска съ изображеніемъ... Вѣка цѣлые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ. Она сдѣлалась живымъ органомъ, мѣстомъ встрѣчи между Творцомъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрѣлъ на старцевъ, на женщинъ съ дѣтьми, поверженныхъ въ прахъ, и на святую икону, — тогда я самъ увидѣлъ черты Богородицы одушевленными, она съ милосердіемъ и любовью смотрѣла на этихъ простыхъ людей... и я палъ на колѣни и смиренно молился ей“.

съ голоду, а вторые не доѣдали, хворали, а вся голодная Русь перевалила кой-какъ къ новой жатвѣ. Христово имя если и не уравняло богача съ бѣднякомъ, то все же хоть до извѣстной степени сблизило эти разряды и даже богача заставило участвовать въ общемъ бѣдствіи. Пусть одной рукой онъ наживался порой отъ народной невзгоды, но все же и у него шло много хлѣба на милостыню, и онъ подмѣшивалъ нерѣдко лебеду къ своей ржи"... Легенда говоритъ о крестьянинѣ, вздумавшемъ считать куски, подаваемые голоднымъ: на свою семью, когда онъ не сталъ подавать нищимъ, вышло вдвое больше. „Когда мы говоримъ порой, что „много есть на свѣтѣ, другъ Гораціо, чего не снилось нашимъ мудрецамъ",—пишетъ Короленко:—то это для насъ вопросъ отвлеченный и теоретическій. Когда же народъ передаетъ свою легенду объ усчитанномъ хлѣбѣ, то для него это настоящее и близкое, самое практическое соображеніе, которое, помимо всего прочаго, выгодно принять къ руководству... И передъ этой увѣренностію, передъ силой этой легенды исчезаютъ и стираются отдѣльныя индивидуальности, вырабатывается нѣкоторая общая, мірская добродѣтель, создается цѣлая общественная сила.

Впослѣдствіи не одинъ разъ и не въ одномъ мѣстѣ приходилось слышать ту же легенду и видѣть доброе дѣло, исходившее изъ дурныхъ рукъ и не сопровождавшееся любовью... Хотя, конечно, чаще можно было видѣть тотъ же кусокъ хлѣба, подаваемый съ ласковымъ, ободряющимъ словомъ, съ добрымъ чувствомъ".

„Въ этомъ, безъ сомнѣнія, очень много трогательнаго, и подъ легендой бьется, конечно, то же вѣчное начало любви, разыскивавшее для себя ощупью годами и поколѣніями эту наивную форму". Но пониманіе того, чѣмъ жива легенда, не можетъ увлечь писателя до забвенія другой стороны дѣла, неизмѣннаго его стремленія, чтобы живое начало не было убиваемо наносомъ „легендарнаго" или „книжнаго", и онъ спрашиваетъ: „Но развѣ для этого начала необходимы только такія формы? Пусть умиляется надъ этимъ, кто можетъ. Мнѣ же каждый разъ становится грустно, когда я подумаю, что эта великая народная добродѣтель, эта огромная общественная сила, оказавшая въ голодный годъ такія громадныя

услуги, избавившая нашу родину отъ бѣдствія и позора многихъ голодныхъ смертей, что эта система въ весьма значительной мѣрѣ покоится на простой ариѳметической ошибкѣ"...

„Вѣчное начало любви", подавленное книжничествомъ въ уреневцахъ, находящее уродливыя, странныя формы въ голодающей массѣ, В. Г. Короленко умѣетъ уловить даже въ такихъ мрачныхъ типахъ, какъ извѣстный въ Нижнемъ и Павловѣ недавно скончавшійся скупщикъ Щеткинъ, изображенный Короленкомъ въ „Павловскихъ очеркахъ" подъ именемъ Дужкина. Изучая для этихъ очерковъ кустарное село, В. Г. не только познакомился, но и настолько сошелся съ сухимъ и черствымъ скупщикомъ, что тотъ разсказалъ ему всю свою біографію, и сложная психологія человѣка, въ которомъ родная дѣйствительность вытравила и сгладила лучшія человѣческія черты, раскрывается во всей полнотѣ, и жалокъ становится этотъ экономическій человѣкъ, весь ушедшій въ стяжаніе.

Какова эта дѣйствительность, такъ уродующая людей, въ ея историческомъ моментѣ, захваченномъ нижегородскими произведеніями Короленка?

Возьмемъ ли мы „Павловскіе очерки", или „Въ голодный годъ", или „Въ облачный день"—во всѣхъ этихъ столь различныхъ произведеніяхъ мы уловимъ, помимо общей столь симпатичной русскимъ людямъ физіономіи писателя, интеллигента-народника, въ смыслѣ симпатіи къ крестьянской массѣ—одну характерную черту: живое отраженіе въ этихъ произведеніяхъ перелома русской жизни. Это—затянувшійся на долгіе годы переломъ отъ крѣпостного строя къ новому—хроническій, ставшій мучительнымъ кошмаромъ. И писатель считаетъ своимъ долгомъ взывать, будить отъ этого кошмара.

Павлово, разстилавшееся передъ нимъ по оврагамъ, по горамъ и обрывамъ, производитъ на писателя сначала спутанное впечатлѣніе.—„Прежде всего васъ поражаетъ, какъ мало здѣсь новыхъ домовъ; свѣжаго, сверкающаго тесу, новыхъ бревенъ, которыя бы показывали, что здѣсь кто-то строится, что-то выростаетъ новое среди дряхлаго и повалившагося,—совсѣмъ незамѣтно. Зато разметанныхъ крышъ, выбитыхъ

оконъ, подпертыхъ снаружи стѣнъ сколько угодно. Какое-то нелѣпое, огромное каменное зданіе зіяетъ на все село пустыми окнами и облупленною штукатуркой; кто-то задумалъ вывести эту громаду, да, повидимому, въ серединѣ дѣла раздумалъ и бросилъ. Еще болѣе нелѣпыми представляются „палаты“ мѣстныхъ богачей, изъ краснаго кирпича, съ какою-то нелѣпопретенціозною архитектурой, съ башенками, шпицами и чуть ли не амбразурами для бойницъ. Когда же надъ этимъ хаосомъ провалившихся крышъ, кривобокихъ лачугъ, нелѣпыхъ палатъ и развалинъ взвилась струйка бѣлаго пара и рѣзкій свистокъ „фабрики“ прорѣзалъ воздухъ, то мнѣ показалось, что я, наконецъ, схватилъ общее грустное впечатлѣніе этой картины: здѣсь какъ будто умираетъ что-то, но не хочетъ умереть, — что-то возникаетъ, но не имѣетъ силы возникнуть“...

Картина, которою открывается этюдъ „Въ облачный день“, рисуетъ съ художественнымъ символизмомъ томленіе, не находящее себѣ исхода, нависшее надъ русскою землей.— „Казалось, у облачнаго неба не хватало рѣшимости и силы, чтобы пролиться на землю... Тучи набирались, надумывались, тихо развертывались и охватывали кольцомъ равнину, на которой зной царилъ все-таки во всей томительной силѣ; а солнце, начавшее склоняться къ горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую, мглистую панораму, усиливая въ ней смѣну свѣта и тѣней, придавая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движенію въ горячемъ небѣ... Во всемъ чувствовалось ожиданіе, напряженіе, какія-то приготовленія, какая-то тяжелая борьба. Туманная рать темнѣла и сгущалась внизу, выдѣляя легкія, бѣлыя облачка, которыя быстро неслись къ серединѣ неба и неизмѣнно сгорали въ зенитѣ, а земля все ждала дождя и влаги, ждала томительно и напрасно“...—На фонѣ этого томительнаго дня и томительной дороги по арзамасскому тракту развертывается жизнь бывшаго дѣятеля 60-хъ годовъ, а нынѣ земскаго начальника Семена Афанасьевича, цѣлая эпопея тиранства, когда-то властвовавшаго надъ безконечными полями, и ужасъ и безпомощность молодой дѣвушки предъ мрачными преданіями, висящими надъ родными полями. Правда, мрачныя преданія созданы наполовину фантазіей ямщика Силуяна,

но ихъ достаточно, чтобы до сихъ поръ томить и угнетать новое поколѣніе...

„Павловскіе очерки“—въ беллетристической формѣ—настоящее изслѣдованіе о бытѣ кустарнаго села и его прошлаго, съ художественною полнотою рисуетъ былыя волненія павловскаго міра и неудачную попытку молодежи семидесятыхъ годовъ внести въ падающій кустарный строй новыя начала. Какъ вездѣ, они требуютъ прежде всего упорной и долгой работы и борьбы, и очерки заканчиваются горячимъ напоминаніемъ объ обязанностяхъ общества, напоминаніемъ тѣмъ болѣе цѣннымъ, что сдѣлано было въ эпоху паденія и пониженія принциповъ общественности, когда снова говорилось, что наше время—не время широкихъ задачъ, а время маленькихъ дѣлъ...

„Всякій разъ, когда въ обществѣ вѣетъ весной, когда въ его нѣдрахъ трепещутъ и рвутся наружу жизненныя силы, когда кипитъ воображеніе, роятся новые взгляды, мысль развертывается въ ширь, открывая впереди, въ безконечной перспективѣ все новые и новые горизонты, побуждая къ творчеству и къ созданію новыхъ формъ жизни,—тогда экономическій человѣкъ находится въ нѣкоторомъ загонѣ и молчаливо выполняетъ свое назначеніе. Но зато, когда почему-либо живыя силы изсякаютъ, стремленія слабнутъ, воображеніе складываетъ обезсилѣвшія крылья, когда разочарованія встаютъ, какъ призраки, и туманъ разсѣянныхъ иллюзій заволакиваетъ горизонтъ темными тучами, тогда-то экономическій человѣкъ выступаетъ на первый планъ во всѣхъ углахъ жизни и, вмѣсто программы идеалистовъ, выдвигаетъ свою собственную программу, а его увѣренный голосъ скрипитъ рѣзко и громко, какъ крикъ ворона передъ ненастьемъ. И такъ же, какъ онъ самъ, эта программа лишена воображенія и творчества и вся отмѣчена одними отрицаніями: не пейте! Но кто же и когда не говорилъ этого?—Не будьте расточительны, не предавайтесь роскоши, не лѣнитесь, не гуляйте, не пойте пѣсенъ, скиньте пальто и сапоги, обуйтесь въ посконь и лапти, отнимите у дѣтей бѣлый хлѣбъ!..

„Да, это обыкновенная программа и превозглашается она не въ одномъ Павловѣ. Ея отрицанія, какъ буханіе надтреснутаго павловскаго колокола, гудятъ надъ всей Россіей въ

наши чисто-отрицательные покаянные дни *), замѣняя живую работу творческихъ общественныхъ силъ".

Картины, разговоры, сцены кустарнаго быта, голоднаго умиранія у станка,—все, что мелькаетъ мимо обыкшаго глаза, пріобрѣтаетъ въ изображеніи В. Г. длительную силу, и нелишне бы намъ и понынѣ чаще вспоминать, чѣмъ кончаются „Павловскіе очерки": А мы общество?.. Мы, „вверху стоящіе, что городъ на горѣ", что же мы сдѣлаемъ, чтобы освѣтить эту тьму кустарнаго строя? Неужели и у насъ найдется одна только отрицательная программа?

„Хорошо, они не будутъ пить! Хорошо, они не будутъ расточать, тѣмъ болѣе что и расточать нечего! Хорошо, они не станутъ предаваться буйному разгулу и безобразному веселью, тѣмъ болѣе, что имъ и вообще-то не весело!

„Хорошо, они исполнятъ все это, они исполняютъ и вообще свою задачу, работая съ утра до ночи! А мы... исполнимъ ли мы въ отношеніи къ намъ свои обязанности, состоящія въ организаціи и устроеніи?..

„Кто знаетъ? Вопль кустарнаго села, одно изъ безчисленныхъ обращеній къ намъ нашего народа, застаетъ насъ въ періодъ разслабленія и апатіи, въ періодъ господства однихъ отрицательныхъ программъ и идеаловъ, если только могутъ существовать на свѣтѣ отрицательные идеалы".

Въ Нижнемъ Короленко являлся въ глазахъ общества, готоваго помириться на отрицательныхъ идеалахъ, въ ту эпоху оскудѣнія творческой общественной мысли, прежде всего носителемъ положительнаго идеала дѣятельнаго вмѣшательства въ жизнь, которую изображалъ съ такою любовью и пониманіемъ основныхъ ея сторонъ.

Наблюденіе народной жизни укрѣпляетъ его въ убѣжденіи, что „огромная мужицкая Русь требуетъ постоянной и ровной, дружной и напряженной работы"... И онъ является однимъ изъ первыхъ такихъ работниковъ. Работая самъ въ разнообразныхъ областяхъ, онъ увлекаетъ и другихъ, и пребываніе Короленка въ Нижнемъ до сихъ поръ вспоминается, какъ пора особаго оживленія и подъема въ немногочисленномъ нижегородскомъ обществѣ.

---

*) Писано въ 1890 году.

Голодный 1891—92 годъ вызвалъ прямое, энергичное участіе В. Г. въ жизни, какъ путемъ корреспонденціи о „лукояновщинѣ“, такъ и работою въ мѣстныхъ организаціяхъ помощи голодающимъ и устройствомъ столовыхъ въ злосчастномъ Лукояновскомъ уѣздѣ.

Многое здѣсь еще не достаточно освѣщено. Въ своей книгѣ „Въ голодный годъ“ В. Г. скромно умалчиваетъ о выпавшей ему на долю работѣ, но о ней вспоминаютъ всѣ, знавшіе его въ то время, и желательно, чтобы эти воспоминанія не остались подъ спудомъ. Рѣдкій успѣхъ сопровождалъ его энергичную работу, успѣхъ, явившійся, конечно, потому, что участіе въ помощи нижегородскому крестьянству было дѣломъ не только общественнаго долга, но и личнаго влеченія.

Сообщимъ кое-что, пользуясь документальными данными, дѣлопроизводствомъ губернской продовольственной комиссіи и указаніями А. А. Савельева.

Въ декабрѣ 1891 года, встрѣтясь съ А. А. Савельевымъ, В. Г. сообщилъ ему, что онъ въ числѣ другихъ „уловленъ“ Н. М. Барановымъ для участія въ организаціи помощи голодающимъ.

Въ журналѣ нижегородской губернской продовольственной комиссіи, образованной для завѣдыванія дѣломъ продовольственной помощи, при участіи представителей администраціи, земства и общества, имя В. Г. Короленко встрѣчается впервые 15 декабря 1901 г.; 28 декабря состоялось первое засѣданіе губернскаго благотворительнаго комитета, въ которое былъ приглашенъ съ перваго же дня и В. Г. (вмѣстѣ съ А. Гацисскимъ). Въ этомъ засѣданіи В. Г., между прочимъ, настаивалъ на крайней желательности привлеченія къ дѣлу благотворенія возможно большаго числа частныхъ лицъ и развитіи сѣти частныхъ попечительствъ о голодающихъ. Изъ дѣлъ продовольственной комиссіи и благотворительнаго комитета до половины февраля 1902 года не видно, въ какой формѣ выражалось участіе В. Г. въ дѣлѣ. Но уже въ это время начинала, очевидно, выясняться та „лукояновщина“, которая заняла въ то время такъ много вниманія печати, именно—глубокое равнодушіе лукояновскихъ дѣятелей къ народной нуждѣ. Уже въ это время лично къ В. Г., очевидно, стали притекать средства и пожертвованія со стороны. Кромѣ

того, 500 рублей ассигновано было въ его распоряженіе 22 февраля благотворительнымъ комитетомъ по предложенію Н. М. Баранова. Въ концѣ февраля В. Г. выѣхалъ въ Лукояновскій уѣздъ.

О положеніи этого злополучнаго уѣзда много данныхъ имѣется въ журналѣ и продовольственной комиссіи, и благотворительнаго комитета. Лукояновская продовольственная комиссія съ предсѣдателемъ ея, предводителемъ дворянства г. Философовымъ, прославилась въ свое время, и Лукояновскій уѣздъ обязанъ въ значительной долѣ имени В. Г., что дѣятельности ея былъ положенъ предѣлъ и г. Философовъ оставилъ въ ней предсѣдательство.

Во второй половинѣ марта В. Г. въ распутицу вынужденъ былъ неурядицею продовольственнаго дѣла и тормозами, которые ему ставились, бросить работу, открывъ въ 12 пунктахъ 6 волостей 17 столовыхъ на 624 человѣка, и скакать въ Нижній-Новгородъ, чтобы лично представить докладъ объ отчаянномъ положеніи уѣзда, брошеннаго на произволъ судьбы. Обширный представленный имъ благотворительному комитету докладъ въ сдержанныхъ, но тѣмъ сильнѣе говорившихъ чертахъ обрисовываетъ безпомощность населенія и странные порядки, установившіеся въ выдачѣ ссудъ (по шутиловской волости, напр., выдавалось, вмѣсто узаконенныхъ 30 фунтовъ, по $11^1/_2$ и по $6^1/_4$ фунтовъ на ѣдока въ мѣсяцъ). Въ извѣстной книгѣ „Въ голодный годъ“ В. Г. Короленко далъ художественную иллюстрацію тѣмъ безотраднымъ впечатлѣніямъ, какія навѣвала голодная нужда цѣлаго уѣзда. Докладъ В. Г. вызвалъ рѣшительныя мѣры хоть тогда, когда острая нужда достигла крайней степени, когда В. Г. констатировалъ въ своемъ докладѣ несомнѣнное сокрытіе случаевъ самыхъ печальныхъ. Этотъ докладъ, приложенный къ журналамъ комитета и комиссіи 28 и 29 марта, заслуживалъ бы воспроизведенія въ видѣ приложенія къ книгѣ „Въ голодный годъ“.

Въ засѣданіи комиссіи 2-го апрѣля Н. М. Барановъ, подтверждая на основаніи данныхъ личной поѣздки въ уѣздъ, все сообщенное В. Г., о чемъ и раньше сообщали комиссіи І. П. Кутлубицкій, С. А. Давыдова, подполковникъ Рутницкій, А. П. Гучковъ, говорилъ, между прочимъ: „Во всѣхъ

избахъ Лукояновскаго уѣзда, кромѣ столовыхъ, я и спутники мои не встрѣтили ни одного таракана. Они исчезли отъ неимѣнія пищи. Хлѣба съ лебедой тараканъ не ѣстъ. Общее исчезновеніе пруссаковъ изъ лукояновскихъ избъ можетъ служить указателемъ заслугъ прежняго состава лукояновской продовольственной организаціи". Въ журналахъ продовольственной комиссіи нашли себѣ отраженіе и тѣ болѣе или менѣе темныя средства, какія пускались въ ходъ лукояновскими дѣятелями, чтобы исказить мотивы дѣятельности и В. Г. и Н. М. Баранова съ его ближайшимъ помощникомъ І. П. Кутлубицкимъ.

Заподозриванія въ политической неблагонадежности, высказываемыя и въ печати, были здѣсь на первомъ мѣстѣ. Между прочимъ, это подало поводъ къ двукратному обсужденію въ комитетѣ роли во всей этой исторіи „Гражданина", ставшаго на сторону лукояновцевъ. Н. М. Барановъ высказалъ тогда: „Въ Лукояновѣ я нашелъ фанатиковъ"—„гражданщиковъ". Вся неурядица Лукоянова есть плодъ усерднаго чтенія „Гражданина". „Гражданинъ"—подмостки зловреднаго фигляра, и знамя его не дворянское, о роли котораго, какъ въ общей жизни государства, такъ и въ симпатичнѣйшемъ изъ нашихъ историческихъ событій—эмансипаціи, онъ не зналъ или забылъ; знамя г. Мещерскаго—это есть бутафорская тряпка изъ его собственнаго балагана".

Съ замѣною въ лукояновской продовольственной организаціи г. Философова г. Обтяжновымъ, развитіе столовыхъ въ уѣздѣ не встрѣчало прежнихъ препятствій. В. Г. было открыто съ 11 марта по 1-е мая всего 45 столовыхъ въ 22 селахъ и деревняхъ съ числомъ обѣдающихъ свыше полутора тысячъ. Вотъ списокъ селеній, въ которыхъ должно бы остаться навсегда памятно имя В. Г. Короленко: с. Елфимово, Кр. Поляна, Ср. Пичингушъ, с. Тольскій Майданъ, с. Васильевъ Майданъ, дер. Дубровка, Малиновка, Пралевка, Логиновка, Тетюши, Новая деревня, села Лодыгино, Никулино, Михалковъ Майданъ, д. Раксажонъ, села Пикшень, Пермѣево, Чиресь, д. Сумароково, Казаковка, Кельдюшево, с. Печи.

Въ послѣдней главѣ книги „Въ голодный годъ" В. Г. упоминаетъ о легендахъ, сложившихся въ темной массѣ въ

отвѣтъ на безкорыстную помощь со стороны „баръ“: тамъ и сямъ пошли глухіе толки объ антихристѣ и его слугахъ.

„Тѣ самые толки, которые нѣкоторыя газеты съ такой радостью подхватили относительно графа Толстого, какъ „мнѣніе народа“,—теперь появились въ уѣздѣ въ примѣненіи ко мнѣ, г-жѣ Вишняковой и другимъ лицамъ. Только газеты напрасно видѣли въ нихъ „мнѣніе народа“. Правда, народъ, очевидно, не привыкъ еще встрѣчать съ нашей стороны помощь и участіе, въ особенности неоплачиваемыя болѣе или менѣе солидными окладами, которые дѣлаютъ доступными его пониманію наши разъѣзды и хлопоты... Кромѣ того, и вообще помощь въ невзгодѣ—явленіе для народа не особенно привычное, поэтому неудивительно, что въ нѣкоторой его части зародилась эта легенда... Мы слышали, въ какой именно части: старыя старухи и „начетники“-старообрядцы, которые слишкомъ хорошо помнятъ времена гоненій, чтобы безъ всякихъ подозрѣній принять руку помощи...

„Итакъ легенда ходила, рождаясь въ старыхъ озлобленныхъ головахъ... И, вообще, у голода были тоже свои легенды, порой далеко не выдерживающія цензуры, что не мѣшало имъ въ устной передачѣ выдержать такое количество исправленныхъ и дополненныхъ изданій, о какомъ мы, люди печатнаго станка и книги, пока не смѣемъ даже и мечтать... Но я видѣлъ совершенно ясно и съ перваго дня, что голодной легендѣ не суждено облечься плотью и кровью, какъ это случилось съ легендой холерной“. Для того, чтобы могли ополчиться на В. Г. и его помощниковъ, какъ черезъ годъ ополчились на врачей, слишкомъ реально было значеніе помощи голоднымъ. „Тексты и толки у средняго человѣка... все-таки отвлеченность, своего рода игра ума, а хлѣбъ есть все-таки хлѣбъ, и рука, протянувшая хлѣбъ, видимо, давала не камень...- И ясный смыслъ Христовой заповѣди, выражавшейся въ реальномъ фактѣ любви и милосердія — былъ и всегда будетъ сильнѣе запутанной казуистики всякихъ начетниковъ. И онъ былъ сильнѣе всюду“ *).

---

*) Коснувшись этихъ легендъ, кстати, напомнить и легенду, связанную съ именемъ самого В. Г. Короленки, но болѣе невиннаго характера. Одинъ изъ корреспондентовъ „Нижегор. Листка“ изъ

Возвращаясь къ участію В. Г. въ продовольственной комиссіи, отмѣтимъ, что оно выразилось, между прочимъ, въ докладѣ 27 мая 1892 г. по поводу вопроса о пересмотрѣ продовольственной организаціи. Здѣсь, между прочимъ, мы встрѣчаемъ указанія на необходимость систематическаго подъема сельскаго хозяйства: „Не дай Богъ встрѣтить еще въ будущемъ такіе годы, а это непремѣнно должно случиться, если прежнія условія останутся въ силѣ". Замѣчательно еще по искренности и слѣдующее мѣсто: „Мы слышали нерѣдко въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ, что помощь, оказываемая нынѣ населенію, производитъ деморализующее вліяніе. Можетъ быть это и неожиданно, но изъ всего, что мнѣ пришлось видѣть и передумать за это время, я вынесъ именно это прискорбное убѣжденіе. И не потому помощь оказывала такое вліяніе, что располагала къ безпечности, лѣни и пьянству, какъ это утверждаютъ многіе. Эти соображенія кажутся мнѣ совершенно неосновательными; въ народѣ привычка къ труду создавалась вѣками и, конечно, не исчезнетъ въ одну зиму. Я имѣю въ виду другую сторону дѣла. Насъ не унижаетъ только то, что мы получаемъ по праву. Не унижаетъ плата за трудъ, не унижаетъ кредитъ, истекающій изъ кредитоспособности берущаго, или страховая

города Починки (административный центръ Лукояновскаго уѣзда) сообщилъ въ 1903 г. въ этой газетѣ, что въ 90-хъ годахъ, гостя на хуторѣ близъ села Маресева, В. Г. посѣтилъ гор. Починки и былъ здѣсь у одного купца въ лавкѣ. „Многіе изъ починковцевъ пожелали собственными глазами видѣть извѣстнаго писателя, для чего и собрались около магазина, гдѣ былъ Владиміръ Галактіоновичъ. Недалеко отсюда стояла толпа крестьянъ, которые, узнавъ, что въ лавку съ какимъ-то бариномъ пріѣхалъ невѣдомый „короленокъ", пустились въ разсужденія по поводу такого неслыханнаго событія, стараясь выяснить—кто бы могъ быть этотъ „короленокъ"?

„— Это не иначе, какъ отъ англичанки, — выразилъ одинъ свое соображеніе.

„— Англичанка стриженая,—а это, гляди, въ волосахъ, — возразилъ другой.

„— Да и борода-то у него наша, россійская,—поддакнулъ еще одинъ.

„— Это не изъ Америки ли, ребята?—послышалось еще мнѣніе.

„— Нѣтъ,—категорически заявила сѣдая борода, — это отъ англичанки короленокъ, — больше не откуда быть. Когда Бѣлый

премія, выдаваемая въ случаѣ несчастія"... Унизительная для крестьянъ постановка продовольственной организаціи оскорбляла В. Г. „Достаточно вникнуть въ смыслъ, такъ называемой, „провѣрки списковъ на мѣстахъ", явленія, получившаго какъ бы право гражданства и составляющаго почти логическую необходимость при нынѣшней постановкѣ дѣла; достаточно вдуматься въ значеніе этихъ обысковъ въ амбарахъ, избахъ, подпольяхъ и даже въ печкахъ, чтобы понять истинный характеръ этой ссуды. Крестьянинъ разсматривался не какъ полноправный хозяинъ, приходящій, чтобы заключить извѣстную, хотя бы и льготную, кредитную сдѣлку, а какъ попрошайка, который прежде всего подлежитъ подозрѣнію въ утайкѣ имущества съ цѣлью вымогательства... Несомнѣнно, что отношенія, возникающія на этой почвѣ, недостойны ни русскаго крестьянства, основного зерна нашего народа, которое только клевета можетъ обвинять въ

Царь воевалъ съ ей, съ англичанкой-то, его парнишкой полонили, значитъ, и доставили къ Царю. Царь его, значитъ, возрастилъ, чтобы выкупъ съ англичанки большой взять.

„— Какъ бы войны не было, братцы, изъ-за этого самаго „короленка?"

„— А ежели не дадутъ большой выкупъ, казнить, пожалуй, его будутъ?

„Интеллигентные починковцы разсказывали, какъ умѣли, другъ другу біографію Владиміра Галактіоновича и упоминали, между прочимъ, о его путешествіяхъ по Сибири.

„Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ воспользовалась сѣдая борода и всѣхъ удовлетворила своимъ объясненіемъ.

„— А затѣмъ сюда его привезли, чтобы отселева, значитъ, въ Сибирь его, на Соколиные острова, за море—до тѣхъ, стало, поръ, покедова англичанка не уплотитъ намъ выкупъ и не покорится.

„Владиміръ Галактіоновичъ вышелъ изъ магазина и уѣхалъ, не подозрѣвая, что починковцы приняли его за англійскаго королевича, и много лѣтъ, можетъ быть, судили и рядили они о томъ, какъ у нихъ былъ нѣкогда полоненный „короленокъ", котораго они видѣли своими глазами и который отсюда былъ отправленъ на Соколиные острова впредь до полученія за него Бѣлымъ Царемъ большого выкупа, а можетъ быть и казненъ".

Въ свое время, въ газетѣ „Курьеръ" г. С. Елеонскій, лично знававшій В. Г. и округу, о которой идетъ рѣчь, энергично подвергъ сомнѣнію существованіе подобной легенды. Вопросъ о ней остался, однако, не достаточно выясненъ.

огульной порочности, ни представителей ближайшей власти. Несомнѣнно, что такая постановка глубоко симпатичнаго и необходимаго дѣла помощи—деморализуетъ тѣхъ и другихъ, создавая самыя нежелательныя чувства". Къ сожалѣнію, всѣ подобныя указанія не повели ни къ чему, и продовольственное дѣло, переданное цѣликомъ въ руки крестьянскихъ учрежденій, по существу осталось со всѣми недостатками, какіе были вызваны въ 1891—92 гг., смѣшанною организаціею дѣла и перевѣсомъ во многихъ мѣстахъ органовъ административной мнительной опеки надъ крестьянствомъ.

Видная общественная роль, которую игралъ въ Нижнемъ и Нижегородской губерніи В. Г. Короленко, какъ публицистъ, корреспондентъ, вытаскивавшій на свѣтъ Божій темныя общественныя дѣла провинціи, выразилась во многихъ случаяхъ. Такъ, нашумѣли въ свое время его статьи въ „Волжскомъ Вѣстникѣ" о крахѣ Александровскаго дворянскаго банка, раскрывшемъ темные нравы опускавшагося, проживавшагося дворянства. Всѣмъ памятно громкое на всю Россію дѣло о мнимомъ человѣческомъ жертвоприношеніи мултанскихъ вотяковъ и участіе, принятое въ этомъ дѣлѣ Вл. Галактіоновичемъ, выступавшемъ въ печати и на судѣ въ защиту несчастныхъ. „Въ Нижнемъ я—корреспондентъ и горжусь этимъ званіемъ",—сказалъ онъ въ прощальной рѣчи нижегородцамъ.

Самъ В. Г. одно время предполагалъ издавать газету въ Нижнемъ и говорилъ, что всецѣло отдался бы, можетъ быть, карьерѣ журналиста, но дѣло не состоялось, такъ какъ не удалось добиться разрѣшенія.

Въ качествѣ публициста-корреспондента В. Г. Короленко явился въ Нижнемъ продолжателемъ А. С. Гацисскаго, этого „литератора-обывателя", нѣсколько десятилѣтій „стоявшаго на стражѣ" интересовъ мѣстнаго печатнаго слова и научныхъ интересовъ. Принимая участіе въ празднованіи въ Нижнемъ юбилея Гацисскаго (3-го іюля 1898 г.), В. Г. на обѣдѣ произнесъ интересную рѣчь, сравнивавшую Гацисскаго съ человѣкомъ, стоящимъ на стражѣ около мѣста, гдѣ когда-то росла роза, которую и велѣла караулить царица; давно роза увяла, а часовой все стоялъ...

„Нижегородскому обывателю приходилось, иногда, качать

головой, проходя по Студеной улицѣ, иногда за полночь, и видя огонекъ на вышкѣ нашего чудака, который тоже (чудакъ!) стоитъ себѣ на стражѣ, повидимому, совсѣмъ-таки у пустого мѣста.

„Было и у насъ свѣжее, весеннее, благоухающее утро, и много бутоновъ распускалось тогда среди вертограда нашей общественности и литературы. Ясное было, бодрое, рѣзвое утро! Пора надеждъ, увлеченій, иллюзій... Одинъ изъ бутоновъ, который выглянулъ тогда на свѣтъ изъ зеленой почки, назывался идеей областности. Область, провинція, земля! Сколько надеждъ они возбуждали, сколько вызывали волненій, сколько ломалось изъ-за нихъ копій. Это теперь мы стали такъ благоразумны. Тогда же, подъ вліяніемъ весны, мы были экспансивнѣе... Что же удивительнаго, что и молодая идея искрилась и пѣнилась, какъ молодое вино, бурлила, какъ потокъ, грозившій затопить берега... Становилось даже страшно за литературу „центровъ". Господи Боже!— думалось порой. А вѣдь недурно иногда пописывали и тамъ, въ столицахъ.

„Ну, потоки ничего не залили. Прошло это. Послѣ утра всегда бываетъ полдень, а послѣ весны—лѣто. А тамъ, за полднемъ и лѣтомъ—надвигаются сумерки и осень. Подули холодные вѣтры, облетѣли цвѣты, разсѣялись „иллюзіи", какъ легкіе лепесточки. Не до цвѣтовъ теперь... Здравомыслящій обыватель подумываетъ о тепломъ углѣ. Однако, въ глухой и не особенно часто посѣщаемой аллейкѣ вертограда объявился-таки чудакъ: онъ зарядилъ по доброй волѣ свой мушкетъ и, безъ ефрейтора и разводящаго, всталъ на часахъ у куста, гдѣ нѣкогда виднѣлся его любимый бутонъ. Нѣтъ бутона! Кругомъ непогода и вѣтеръ, а часовой стоитъ себѣ съ мушкетомъ вотъ уже многіе годы. „И что только караулитъ, чудачина!" говорили дѣловые обыватели съ недоумѣніемъ. „Какъ есть одно пустое мѣсто".

„И, однако, эти чудаки оказываются порой правы! Кто знаетъ, можетъ быть, и не совсѣмъ еще умеръ розовый бутонъ отъ холода и невзгодья. Можетъ быть, и есть онъ еще гдѣ-нибудь—тутъ вотъ, гдѣ казалось все такъ непривѣтно и пусто. Много ли нужно бѣдному бутону. Для тѣхъ бутоновъ, о которыхъ идетъ рѣчь, достаточно иногда и одного

теплаго, вѣрующаго чудаческаго сердца, чтобы сохраниться въ теченіе долгаго невзгодья".

Этому чудаку-часовому, стоявшему на стражѣ идеи областной печати, В. Г. Короленко посвятилъ цѣлую статью, лучшую характеристику литератора-обывателя Гацисскаго, появившуюся въ 1894 г. въ „Рус. Вѣд." и перепечатанную въ нижегородскомъ „Сборникѣ въ память Гацисскаго". Статья заканчивается слѣдующею горячею защитою областной печати:

„Намъ нужна, намъ настоятельно необходима областная печать, и теперь это ощущается особенно ясно. Жизнь необыкновенно усложняется, и, каково бы ни было направленіе нашей государственной дѣятельности, никто не сомнѣвается, что для ея успѣха необходимо живое и сочувственное отношеніе всѣхъ слоевъ общества. Между тѣмъ и вглубь и вширь мы, несмотря на свое прославленное даже въ учебникахъ единство, въ сущности далеко не едины. Не говоря о малограмотномъ народѣ, хранящемъ допотопныя понятія о самыхъ основаніяхъ нашего гражданскаго строя, Россія такъ необъятна вширь, что всякая государственная идея, какъ бы живо она ни сознавалась въ центрахъ, рискуетъ замереть прежде, чѣмъ дойдетъ до окраинъ. Начиная отъ внутреннихъ губерній Европейской Россіи, чутко вздрагивающихъ при каждомъ новомъ „вѣяніи" изъ центровъ, и кончая сѣверо-востокомъ Сибири, занятымъ „несовершенно-подданными" (по опредѣленію свода законовъ) чукчами, которые не испытываютъ уже ни въ какой мѣрѣ вліянія нашей культуры и нашего государственнаго права,—наше отечество похоже на гиганта, вяло раскинувшагося на огромномъ пространствѣ, съ отекшими членами, не проводящими къ оконечностямъ нервныхъ токовъ отъ центра. И это-то мы называемъ нашимъ единствомъ, и при этомъ мы боимся не инертности, а слишкомъ будто бы быстраго прогресса. Между тѣмъ, никакіе воображаемые сепаратизмы, никакія областныя учрежденія со всѣмъ разнообразіемъ ихъ мѣстныхъ особенностей не могутъ доставить нашему единству, нашему дальнѣйшему гармоническому развитію тѣхъ поистинѣ устрашающихъ препятствій, какія ставятся этою инертностью нашего государственнаго организма, этой бездѣятельностью его областей.

„И вотъ почему всякій очагъ живой мѣстной мысли, который пытается провести въ своемъ уголкѣ общую идею, общія свѣдѣнія, который направляетъ дремлющее вниманіе далекаго захолустья на тѣ же предметы, о которыхъ думаютъ и говорятъ въ центрахъ общей жизни отечества, который будитъ гражданскіе интересы и чувства, направляя ихъ на вопросы общаго блага, является прежде всего могучимъ органомъ объединенія и развитія. И вотъ почему вопросъ о будущемъ освобожденіи областного слова является для нашего огромнаго отечества настоятельнымъ и насущнымъ.

„Но если это такъ, если наше отечество сдѣлало въ этомъ направленіи такой шагъ, послѣ котораго самые вопросы, надъ рѣшеніемъ которыхъ приходилось биться предыдущему поколѣнію, перестали быть вопросами и стали фактомъ; если теперь въ провинціи уже есть своя пресса, если въ ней то и дѣло закипаетъ уже систематическое изслѣдованіе, если на смѣну литератора-обывателя приходитъ новый типъ писателя,—независимаго работника уже отдѣленнаго литературнаго труда, если, наконецъ, мы близки къ тому времени, когда предубѣжденіе противъ провинціальнаго печатнаго слова окончательно разрушится,—то этимъ въ весьма значительной степени мы будемъ обязаны разностороннимъ усиліямъ „литератора-обывателя“, который заслужилъ всею своею одинокой и самоотверженной работой вѣчную и благодарную память“...

Благодарную память не могутъ не чувствовать и къ Вл. Г. немалочисленные уже теперь работники печатнаго слова въ Нижнемъ и въ провинціи. Онъ поистинѣ высоко держалъ знамя корреспондента и значительно поднялъ личнымъ вліяніемъ и примѣромъ дѣятельности престижъ печати.

Недостатокъ въ провинціи умѣлыхъ работниковъ замѣчается до сихъ поръ во всемъ. В. Г. пришлось взяться и за, казалось бы, мало ему свойственную, какъ художнику слова, сухую архивную работу. Нижегородская губернская архивная комиссія по хлопотамъ А. С. Гацисскаго, ея перваго предсѣдателя, открылась 17 октября 1887 г.; В. Г. Короленко избранъ членомъ комиссіи во второе ея засѣданіе 22 октября того же года, и принималъ въ работѣ ея до-

вольно замѣтное участіе. Имъ описаны за рядъ лѣтъ дѣла балахнинскаго городового магистрата, читаны сообщенія въ засѣданіяхъ комиссіи, напр., „Дѣла о словѣ и дѣлѣ государевомъ въ городѣ Балахнѣ“,—сообщеніе 11 апрѣля 1889 г., обработанное позднѣе въ изящный историко-бытовой очеркъ подъ заглавіемъ: „Отголоски политическихъ переворотовъ въ уѣздномъ городѣ XVIII в.“ (помѣщенъ въ „Ниж. Листкѣ“ 1895 г. № 303), давались и другія самостоятельныя статьи въ томъ же „Ниж. Листкѣ“ („Колечко“, 1896 г. № 63) и въ сборникахъ комиссіи („Матеріалы къ біографіи И. П. Кулибина“, Сборникъ, т. II). Эти работы, небольшія по объему, выдѣляются простотою и выдающимся умѣніемъ оживить сухой архивный матеріалъ: со страницъ выцвѣтшихъ, архаическимъ языкомъ изложенныхъ бумагъ, предъ читателемъ вдругъ живьемъ встаютъ отрывки старой народной жизни съ ея своеобразными тревогами, суровою жестокостью, неизбывнымъ горемъ.

Вдумываясь въ эту своеобразную, уже отошедшую жизнь, писатель не теряетъ изъ виду современныхъ нашихъ условій, и напр., горестныя приключенія балахнинской вдовушки, претерпѣвшей тюрьму и позоръ изъ-за дешевенькаго, случайно ей попавшаго колечка, вызываетъ въ немъ такія думы:

„Не надо забывать, что если намъ теперь кажется наивно-жестокимъ весь этотъ процессъ изъ-за 25 коп. колечка, потребовавшій столько бумаги, чернилъ, слезъ и горя,—то, безъ сомнѣнія, и на просвѣщенномъ обликѣ нашей современности будущее столѣтіе прочитаетъ тоже не мало наивной жестокости и безполезнаго мучительства... Намъ и смѣшна, и жалка вся эта кутерьма, окружившая ничего не стоившее колечко слезами и позоромъ завѣдомо невиннаго человѣка. Но... придутъ другія поколѣнія, прочитаютъ наши дѣла—и сколько еще ненужнаго формализма, сколько еще лишняго горя и слезъ откроютъ они подъ формами нашей собственной жизни“.

Обращаясь къ старымъ темамъ, для стараго матеріала В. Г. умѣетъ найти новую точку зрѣнія, и „матеріалы для біографіи Кулибина“ освѣщаютъ, напр., судьбу знаменитаго механика-самоучки съ неожиданной трагической стороны,

съ точки зрѣнія тѣхъ нравственныхъ мукъ, которыя долженъ былъ выносить изобрѣтатель, видя, что современниковъ забавляютъ разные пустяки, игрушки въ родѣ часовъ съ женами-мvроносицами, а все серьезное остается въ пренебреженіи.

Напомнимъ еще мастерскія страницы, посвященныя въ „Павловскихъ очеркахъ“ прошлому кустарнаго села, воспроизведенному по нѣкоторымъ документамъ и преданіямъ. Эти статьи и сообщенія заставляютъ признать за Вл. Г. рѣдкій талантъ возсозданія исторической бытовой старины, и съ живѣйшимъ интересомъ можно ожидать художественнаго воспроизведенія уральской старины временъ пугачевскаго бунта, которую онъ не такъ давно изучалъ на мѣстѣ; если справедливы слухи о романѣ изъ временъ пугачевщины, уже будто бы законченномъ, — въ періодѣ нижегородскихъ архивныхъ изысканій Вл. Г. придется видѣть начальный подготовительный періодъ къ историческому роману, новому возможному роду творчества Вл. Г.

Помимо составленія описи и экскурсій въ область нижегородской старины, дѣятельность В. Г. въ архивной комиссіи имѣла также безспорно значеніе, какъ примѣръ и возбужденіе въ другихъ интереса къ той же необходимой въ интересахъ науки работѣ. Онъ усердно напоминаетъ членамъ комиссіи и обществу: „Въ средѣ губернскихъ архивныхъ комиссій, имѣющихъ главною цѣлью сохраненіе для науки быстро исчезающаго историческаго матеріала и приведеніе его въ состояніе, удобное для пользованія и научной обработки,—не много лицъ, обладающихъ спеціально научной подготовкой. Но при нѣкоторой любви къ родной старинѣ, каждый изъ насъ можетъ сдѣлать не мало, если, не мудрствуя лукаво и не тратя усилій на тщетные по большей части поиски т. наз. „интересныхъ“ дѣлъ, займется добросовѣстнымъ и по возможности полнымъ возстановленіемъ той картины прошлаго, которая дается сырымъ матеріаломъ“. („Предварит. замѣчаніе къ описи дѣлъ бал. гор. магистрата“, „Сборникъ нижегор. архивной комиссіи“, т. III).

Въ комиссію весною 1895 г. В. Г. вноситъ записку подъ заглавіемъ: *„Дѣло о описаніи прежнихъ лѣтъ архивы сто лѣтъ назадъ и въ наше время“*. Записка съ большимъ юмо-

ромъ передаетъ на основаніи подлиннаго дѣла, какъ балахнинскіе „пищики“, отъ которыхъ начальство вдругъ потребовало „описанія прежнихъ лѣтъ архивы“, отлынивали отъ этой работы, сваливая ее другъ на друга и породивъ огромное „дѣло“, тогда какъ самая „архива“ такъ и осталась неописанною, страдая отъ мышеяди и дождей. „Пройдетъ еще сто лѣтъ,—писалъ В. Г.:—и опять кто-нибудь будетъ просматривать эти полуистлѣвшія вязки бумагъ, если только мышеядь и пробитіе дождями не покончатъ съ ними также успѣшно, какъ покончили они съ большинствомъ дѣлъ, находившихся на разсмотрѣніи Якова и Михаила Рукавишниковыхъ съ товарищами. И опять этотъ будущій читатель архива наткнется, быть можетъ, на новое „дѣло о описаніи прежнихъ лѣтъ архивы“, которое будетъ носить общее заглавіе „Трудовъ нижегородской архивной комиссіи“. Какое впечатлѣніе вынесетъ онъ изъ этого чтенія?..“ В. Г. опасается, какъ бы не пришлось по старинному констатировать: „точію и понынѣ оная архива разборомъ и описаніемъ къ окончанію не приведена“. Во избѣжаніе этого онъ предлагаетъ цѣлый продуманный и, какъ оказалось, довольно практичный планъ систематической, сплошной разработки архивныхъ дѣлъ, во имя того, что „только кропотливый трудъ, только черная работа собиранія мелкихъ фактовъ бытовой и общественной жизни прошлаго можетъ дать тотъ матеріалъ, изъ котораго вытекаютъ затѣмъ новые широкіе выводы и обобщенія“.

Это увлеченіе архивною работою, говорятъ, вызывало даже опасеніе со стороны друзей В. Г., какъ бы оно, въ связи съ другою разнообразною работою, въ качествѣ публициста и общественнаго дѣятеля, не отняло бы писателя отъ русской художественной литературы. Къ счастью, опасенія эти оказались неосновательны: послѣ періодовъ разнообразнаго участія въ мѣстной жизни или архивнаго увлеченія слѣдовала обыкновенно снова беллетристическая работа.

Не мало обязаны Вл. Г. Короленку въ Нижнемъ и другія мѣстныя о-ва, между прочимъ—всесословный клубъ, имѣвшій цѣлью поднять и объединить средніе слои Нижняго-Новгорода (канцеляристовъ, мелкое купечество и т. п.); благодаря Вл. Г. при клубѣ создана хорошая библіотека.

Личное вліяніе Короленка отражалось до извѣстной степени и на земствѣ, благодаря близости его къ нѣкоторымъ земскимъ дѣятелямъ (А. А. Савельевъ, особенно Н. Ф. Анненскій, бывшій статистикъ нижегородскаго земства, и др.). Роль третейскаго судьи, которую не разъ приходилось играть Влад. Галактіоновичу, какъ нельзя лучше подчеркиваетъ ту степень уваженія, какою пользовался онъ въ нижегородскомъ обществѣ. При оцѣнкѣ того или другого нравственнаго явленія какъ-то невольно являлся у нижегородцевъ вопросъ: „а что сказалъ Влад. Гал.?!.“ и т. п.—„Этого не было бы при Короленкѣ“,—можно услышать подчасъ до сихъ поръ изъ устъ нижегородскихъ старожиловъ, когда зайдетъ рѣчь о томъ или иномъ нежелательномъ общественномъ явленіи.

Чѣмъ вообще былъ для нижегородцевъ Короленко, видно, наконецъ, изъ описанія грандіознаго чествованія его при отъѣздѣ изъ Нижняго-Новгорода. Обѣдъ отъ нижегородскаго общества собралъ до 150 лицъ. Здѣсь были представители дворянства, земства, города, мировые судьи, присяжные повѣренные, врачи, преподаватели среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, коммерсанты, студенты, представители печати и др. лица; было также около 30 дамъ. Первый тостъ—старѣйшаго представителя нижегородскаго общества П. К. Позерна—привѣтствовалъ В. Г., какъ „живого общественнаго дѣятеля, группировавшаго вокругъ себя всѣ порядочные элементы общества“. Это былъ основной мотивъ, на всѣ лады варьировавшійся въ прощальныхъ рѣчахъ нижегородцевъ.

„Прежде всего шлемъ привѣтъ вамъ, дорогой Вл. Гал., какъ крупному литературному дарованію. Но не по одному этому вы дороги намъ, нижегородцамъ“ (А. И. Ланинъ). „Справедливость—вотъ что написано на знамени Вл. Короленко, какъ писателя и общественнаго дѣятеля... Вездѣ и всюду Вл. Короленко встаетъ предъ нами, какъ рыцарь справедливаго дѣла, во всеоружіи своего таланта и неотразимаго вліянія своей убѣжденной натуры“ (М. А. Плотниковъ). „Съ вашимъ отъѣздомъ у насъ, нижегородцевъ, прежде всего сильно пострадаетъ самолюбіе (изъ рѣчи члена городской управы И. В. Богоявленскаго). Какъ одинъ изъ крупнѣйшихъ представителей русской литературы, живя среди насъ, вы были въ нашемъ нравственномъ мірѣ единствен-

ной нашей гордостью... Но, кромѣ самолюбія, можетъ пострадать у насъ, что всего важнѣе, и наше мужество,—мужество переносить наши невзгоды, не падая духомъ. Живя среди насъ и раздѣляя съ нами эти невзгоды, вы тѣмъ самымъ уменьшали ихъ по меньшей мѣрѣ на цѣлую половину. Съ другой стороны, своимъ чуднымъ словомъ... вы, вѣроятно, умѣряли силу давленія на жизнь существующаго у насъ гигантскаго гидравлическаго пресса. Вы свѣтили намъ въ темной ночи нашей жизни, какъ яркая полночная звѣзда, свѣтили ровнымъ, мягкимъ свѣтомъ, не возбуждая ни страстнаго гнѣва ни безумнаго смятенія. Своимъ чуднымъ словомъ и обычной трудовой жизнью вы какъ будто учили насъ понимать условія исторической необходимости, не лишая себя надеждъ и упованій на болѣе свѣтлое будущее. Безъ васъ намъ будетъ болѣе жутко"...

Рѣчи отмѣтили разнообразнѣйшія стороны жизни и дѣятельности В. Г. Короленка въ Нижнемъ, которымъ посвящена и настоящая статья. Онъ отвѣчалъ рядомъ прочувствованныхъ тостовъ за земское и городское самоуправленіе, за провинціальную печать, за единеніе ея съ земствомъ, за уничтоженіе сословныхъ дѣленій въ обществѣ, за земскую статистику, освѣщающую мѣстную жизнь. Но лучше всего приподнятое настроеніе, царившее на этомъ замѣчательномъ банкетѣ, вылилось въ первой рѣчи В. Г. въ отвѣтъ на первые тосты, отрывки изъ которой мы уже цитировали выше и которая обошла въ свое время всѣ газеты.

„Провинцію сравнили какъ-то съ водоемомъ,—говорилъ здѣсь В. Г.:—Идеи, зарождающіяся въ столицахъ, проникаютъ въ провинцію, откладываются здѣсь, накопляются, растутъ и часто затѣмъ питаютъ самые центры этой живой, сохранившейся силы тогда, когда въ столицахъ источники порой уже изсякли. Есть извѣстная глубина, до которой не достигаютъ колебанія, происходящія на поверхности. Правда, первое ощущеніе человѣка, попадающаго въ водоемъ, болѣе или менѣе внезапно—есть ощущеніе холода и нѣкоторой жуткости. Но слѣдующія же минуты несутъ лишь ободряющую свѣжесть. Чувствуешь, что это жизнь и что источники этой жизни никогда не изсякнутъ, какія бы порой изсушающія вѣянія ни шли „изъ центровъ".

„Каждый годъ мы видимъ одно и то же явленіе: послѣ суровой зимы приходитъ весна, вскрываются рѣки, бѣгутъ по нимъ пароходы, закипаетъ новая жизнь. Гдѣ и когда она начинается? Начинается она съ маленькихъ, почти незамѣтныхъ ручейковъ. Первые лучи, первыя капли, первыя струйки рождаютъ ручьи и потоки. Въ дальнихъ поляхъ, на холмахъ и оврагахъ уже идетъ движеніе и шумъ. Все это, сливаясь, стремится впередъ, къ одной цѣли и наполняетъ еще неподвижныя, еще холодныя, скажемъ,—еще консервативныя большія рѣки... Но это множество слабыхъ сами по себѣ, но живыхъ, говорливыхъ, звенящихъ струекъ—даетъ ту силу, которая разламываетъ ледъ. И вотъ ледъ уносится и таетъ, а по рѣкѣ, гудя и шумя, несется первый пароходъ, оглашая берега радостнымъ извѣстіемъ, что это онъ открылъ навигацію.

„Но открылъ навигацію не онъ. Это сдѣлали тѣ безчисленныя струи, которыя прибѣжали сюда съ дальнихъ полей... Это не мѣшаетъ помнить,—и теперь, возвращаясь въ столицу, я возвращаюсь съ глубокимъ сознаніемъ значенія и силы этихъ провинціальныхъ струекъ въ нашей русской жизни. И что бы ни пришлось мнѣ дѣлать дальше, хорошо или плохо, сильно или слабо,—я непремѣнно внесу въ эту работу это свое сознаніе, постараюсь напомнить тѣмъ, кто плаваетъ на большихъ корабляхъ, что имъ нельзя было бы совершать свое большое плаваніе, если бы разныя маленькія рѣчки, носящія маленькія лодки, не сдѣлали своего дѣла.

„Надѣюсь, что я могу сказать, какъ очевидецъ, что маленькія рѣки уже дѣлаютъ свое тихое дѣло. Во всякомъ случаѣ,—что бы ни было со мной дальше,—нижегородской полосы я уже никогда не вычеркну изъ своей жизни и, повѣрьте искренности моихъ словъ, всегда буду дорожить живой связью съ провинціей вообще,—съ нижегородскимъ Поволжьемъ въ частности. Ваше здоровье, господа, и—за весну въ провинціяхъ!“

Мало у насъ писателей и людей, которые бы такъ горячо напоминали намъ о возможности этой весны для русской жизни, такъ разносторонне жили и работали, памятуя о ней, какъ В. Г. Короленко въ Нижнемъ.

Г. Галина.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

* * *

Счастье, капризное счастье! Иди
Мимо своею дорогой...
Лаской минутной не трогай,
Ложной надежды въ душѣ не буди...

Людямъ бросаешь ты цѣпи свои—
Цѣпи любви золотыя...
Пусть ихъ одѣнутъ другіе!..
Мнѣ же оставь только пѣсни мои...

Нѣтъ, счастье, нѣтъ!.. Я прощаюсь съ тобой:
Храмъ твой роскошенъ, но тѣсенъ...
Крылья широкія пѣсенъ
Быть мнѣ мѣшаютъ твоею рабой!...

Разсвѣтъ.

Свѣтаетъ. Но кругомъ пока еще темно.
И только вдалекѣ полоска тучъ алѣетъ:
Тамъ ночь своимъ крыломъ уже закрыть не смѣетъ
Зари блестящее окно...

Задумчивая тѣнь, блѣднѣя, исчезаетъ,
За ней спѣшатъ толпой предъутренніе сны,—
Восходитъ новый день надъ царствомъ тишины...
Свѣтаетъ...

Н. Гаринъ.

МАЯ*).

Посвящается моей милой, дорогой дочкѣ.

По прекрасной набережной въ Іокагамѣ шла маленькая,—всѣ японки маленькія,—японка въ своемъ халатикѣ, немного согнувшись, потому что за спиной у нея сидѣла трехлѣтняя Мая.

Мая, обхвативъ по обыкновенію ручонками шею своей няни, что-то весело болтала по-японски, какъ настоящая японочка...

И не могла слушать безъ слезъ ее няня, потому что уѣзжала Мая, и въ послѣдній разъ несла она такъ свою Маю на пароходъ.

Лились слезы по щекамъ няни, и два года, которые прожила она съ Маей, казались ей какимъ-то сномъ. Уѣзжала ея дѣвочка съ золотыми, какъ лучи солнца, волосами, уѣзжала ея Мая—восторгъ и удивленіе всѣхъ японокъ. И гдѣ найдешь такую другую? Не будетъ больше она носить Маю у себя за спиной, не будутъ обвивать ея шею ручонки Мая, не будетъ щебетать у нея за спиной ея птичка. И не будетъ больше цѣловать ее Мая въ голову, въ уши, пока такъ идетъ и несетъ она свою бѣлокурую Маю.

Никто не остановитъ и не спроситъ ее больше:

— Откуда этотъ ангелъ съ свѣтлыми волосами?

И не скажутъ ей:

— Внеси же ее и въ нашъ домъ, чтобы и въ нашемъ

---

*) Въ основу разсказа взято истинное происшествіе во время китайскихъ безпорядковъ въ 1900 году.

домѣ сверкнула, какъ солнце, ея головка, чтобъ и къ намъ занесла она радость жизни.

И, гордая своей дѣвочкой, няня входила тогда, садилась съ Маей на цыновку и говорила пѣвучимъ голоскомъ своимъ Маѣ:

— Теперь тихо-тихо сиди и слушай, какъ будутъ пѣть маленькія-маленькія птички. Тихо, тихо сиди.

И, насторожившись, лукаво, прислушивалась Мая и смотрѣла на золотую клѣточку, поютъ ли тамъ птички? И пѣвчія насѣкомыя пѣли,—такъ тихо, такъ нѣжно, какъ будто капельки воды падали и тихо звенѣли.

И не могла больше удерживать своего восторга Мая и смѣялась, и звенѣлъ ея смѣхъ, какъ серебряный колокольчикъ, и разносился по застланной цыновками маленькой, чистенькой, прохладной комнаткѣ съ лакированными ширмочками, на которыхъ летѣли серебряные аисты.

Смѣялась Мая и смотрѣла въ открытую дверь на розовый персикъ, что цвѣлъ облитый солнцемъ. И смотрѣла няня на Маю, смотрѣли всѣ и радовались.

И вотъ прошло все это, и уѣдетъ ея Мая на большомъ черномъ пароходѣ.

Уйдетъ пароходъ и унесетъ съ собой и Маю, какъ унесъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ ея возлюбленнаго на войну съ китайцами. Какъ любила она! Знала, что не воротится: не возвращаются герои. Мертвая ходила и ждала страшной вѣсти, когда сказали, наконецъ, ей:

— Умеръ.

Только спросила:

— Смертью героя?

— Героя.

— Гдѣ могила героя?

Могила? Въ сердцѣ ея могила героя. И пока бьется это сердце, оно будетъ напоминать людямъ о героѣ.

Уже отходитъ пароходъ отъ лодки, гдѣ стоитъ она, маленькая няня-японка, и горькія слезы льются по ея щекамъ.

Съ горькимъ отчаяніемъ обиды, стоя тамъ на палубѣ, ухватившись ручонками за сѣтку, закричала Мая, когда поняла, что увозятъ ее отъ няни:

— Няня, няня!

Весь міръ наносилъ ей эту первую обиду, первую рану прямо въ сердце. И такъ болѣло сердце.

— Няня, няня!

Все дальше и дальше уходятъ берега. Яркій день, синее море, паруса лодокъ, далекимъ узоромъ бѣлѣютъ горы. До самаго неба поднялась бѣлоснѣжная вершина Фузи-Ямы и замерла въ безмятежномъ покоѣ.

Выплакала всѣ свои слезы Мая и только вздыхаетъ тройными вздохами, да смотритъ въ ту сторону, гдѣ осталась ея няня...

Такъ и уснула, сломанная первымъ своимъ горемъ. Во снѣ опять она видѣла свою няню, дѣтей, съ которыми играла она, и всѣхъ тѣхъ, которые такъ любили ее, которые научили ее радоваться и звонко смѣяться при встрѣчѣ.

Два года прошло съ тѣхъ поръ, какъ, переѣхавъ изъ Японіи, отецъ и мать Маи поселились въ Манчжуріи...

Мая уже научилась говорить по-китайски, и говорила такъ же свободно, какъ когда-то по-японски. И выговоръ у нея былъ настоящій китайскій: гдѣ надо въ носъ, гдѣ надо горломъ...

Ея няней былъ бой, китайскій мальчикъ, съ длинной косой, въ голубой кофтѣ, въ широкихъ голубыхъ панталонахъ, въ черныхъ, мягкихъ туфляхъ на толстыхъ изъ войлока подошвахъ.

Мая любила его, цѣловала его лицо, руки. Цѣловала всѣхъ китайцевъ.

Китайцы, которые любятъ безъ ума дѣтей и никогда ихъ не наказываютъ, обожали Маю. Когда она съ своимъ боемъ уходила въ городъ, то всегда возвращалась съ полнымъ фартукомъ сладостей и фруктовъ.

И она кричала еще издали отъ восторга. Мать брезгливо говорила:

— Фу, какая гадость!

Но Мая съ наслажденіемъ ѣла китайскія лакомства на кунжутномъ маслѣ.

Все такіе же золотистые волосы были у нея, длинные, вьющіеся, такой же звонкій смѣхъ, такой же радостный и сплошной порывъ любви ко всѣмъ.

Мать сердилась за то, что Мая убѣгала иногда безъ спросу, и разъ поставила ее за это въ уголъ.

Горько плакала Мая и говорила:

— Вотъ ты ставишь меня въ уголъ, а я все равно буду ходить. А когда я умру, у тебя не будетъ больше Мои и тогда ты тоже будешь плакать. Очень, очень плакать...

И Мая заливалась слезами. И бой плакалъ и кричалъ:

— Лучше меня убейте, только не наказывайте Маю.

— Да, да,—всхлипывая соглашалась Мая,—убей лучше насъ обоихъ и потомъ подари намъ игрушки...

И вдругъ все сразу перемѣнилось. Китайцы больше не приходили; Маю никуда не пускали. Бой все плакалъ; Мая приставала къ нему, но онъ молчалъ и, наконецъ, сказалъ по секрету матери Мои:

— Я плачу потому, что васъ всѣхъ убьютъ китайцы. Они приказали и мнѣ уйти отъ васъ.

Мая проснулась и, вмѣсто боя, ея мама пришла одѣвать ее.

— Гдѣ бой?

— Бой ушелъ.

— Куда?

— Совсѣмъ ушелъ,—онъ никогда больше не воротится.

— Воротится,—упрямо крикнула Мая.

Мая горько плакала.

— Вотъ няня отъ меня ушла, теперь бой: если онъ не воротится, я никого больше не буду любить. Онъ воротится!

И, дѣйствительно, бой возвратился.

Однажды большая толпа китайцевъ подошла къ ихъ дому. У нихъ въ рукахъ были ружья, сабли, алебарды.

Блѣдные, въ смертельномъ страхѣ обитатели дома выглядывали осторожно изъ оконъ...

Вдругъ среди подходившихъ Мая увидѣла своего боя. Не долго думая, черезъ форточку она спустилась, прежде чѣмъ ее замѣтили, на улицу и съ протянутыми руками побѣжала къ нему.

Она бѣжала и уже издали весело кричала бою по-китайски:

— Я говорила, я знала, что ты опять вернешься.

И, добѣжавъ, она бросилась къ нему на шею и цѣловала его, всѣхъ китайцевъ.

И некогда было всѣмъ этимъ хунхузамъ стрѣлять, вое-

вать: всѣ хотѣли опять по старому цѣловаться съ своей любимицей, бѣлокурой Маей...

А потомъ состоялся военный совѣтъ, и Мая была парламентеромъ.

Кончилось тѣмъ, что папа Маи далъ хунхузамъ немного денегъ, и они, позволивъ бою продолжать свою службу, ушли съ обѣщаніемъ больше не приходить.

Какъ рада была Мая, какъ радъ былъ бой.

И опять Мая, держась за руки, гуляла по городу съ своимъ боемъ и радостно говорила ему:

— Когда мы вырастемъ, мы поѣдемъ къ моей нянѣ и будемъ жить тогда всѣ вмѣстѣ.

М. Горькій.

„Вода и ея значеніе въ природѣ и жизни человѣка“ *).

У всѣхъ людей есть пятна на совѣсти,— у меня тоже есть одно.

Но большинство людей относится къ этимъ украшеніямъ на лицѣ своей души крайне просто; они носятъ ихъ такъ же легко, какъ крахмаленныя рубашки, а я не ношу такихъ рубашекъ и, должно быть, поэтому —чувствую себя крайне неудобно съ моимъ пятномъ. Однимъ словомъ — я хочу покаяться.

Я не потому каюсь, что уже не нахожу въ жизни иныхъ пріятныхъ развлеченій или не чувствую себя способнымъ чѣмъ-либо другимъ привлечь къ себѣ вниманіе людей; я такъ же и не потому пускаюсь въ откровенность, что имѣю намѣреніе разсказать что-либо о моихъ достоинствахъ,—о, нѣтъ! Ни одна изъ тѣхъ причинъ, которыя обыкновенно побуждаютъ людей къ публичному покаянію, не руководитъ мной въ данномъ случаѣ. Я каюсь потому, что чувствую— пора! И вотъ я взялъ въ руки перо и, какъ щеткой, откровенностью хочу счистить съ души моей то темное пятно, которое давно уже давитъ мнѣ сердце.

Началось все это на улицѣ въ веселый день мая, когда я гулялъ и встрѣтилъ одну знакомую гимназистку. Ее звали Лизочка; у нея были превеселые каріе глазки,—но теперь они были печальны; розовое, изящное и живое личико—въ

*) Этотъ и слѣдующіе два разсказа были напечатаны въ провинціальныхъ газетахъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

моментъ встрѣчи было блѣдно и безжизненно; у нея была легкая, какъ полетъ птички, походка, а теперь—она едва передвигала ноги.

— Лизочка, здравствуйте! Какъ здоровье вашихъ куколъ?

Я забылъ сказать, въ которомъ классѣ она училась. Въ четвертомъ. Я очень любилъ играть съ ней въ куклы,—это прекрасно освѣжаетъ послѣ общенія съ людьми.

— Здравствуйте,—сказала мнѣ Лизочка, и въ голосѣ ея я услыхалъ слезы.

— Что съ вами, дѣвочка?—спросилъ я встревоженный. Сознаюсь—я любилъ ее, и она отвѣчала мнѣ взаимностью со всей силой и страстью своихъ двѣнадцати лѣтъ. Мнѣ въ ту пору было еще только пятьдесятъ три года.

— Н... намъ опять задали... сочиненіе...—сквозь слезы сказала она.

— Сочиненіе? Ба! Да развѣ тема такая печальная, что вы, еще не разработавъ ея, уже плачете?

Она улыбнулась.

— Да, вамъ хорошо,—васъ не заставляютъ писать сочиненія!

— Увы, Лизочка,—тоже заставляютъ. Только васъ заставляютъ учителя, а меня обстоятельства. Не будемъ говорить, кто изъ нихъ хуже. Но вы не печальтесь: я напишу за васъ сочиненіе. Какая тема?

— Вода и ея значеніе въ природѣ и въ жизни человѣка! Напишете? Милый! На пять?

— Постараюсь—съ плюсомъ!

— А потомъ придете играть въ куклы?

— Послѣ сочиненія? Обязательно.

— До свиданія! Какой вы ми-илый!

И она ушла...

Я потому такъ быстро предложилъ ей написать сочиненіе, что это дѣло было уже мнѣ знакомо. Однажды учитель словесности поставилъ мнѣ двойку за сочиненіе, написанное для одной гимназистки пятаго класса на тему: „Положительныя черты въ характерахъ Скалозуба и Молчалина“. Другой разъ я получилъ единицу съ минусомъ за сочиненіе для гимназиста шестого класса на тему: „Польза и вредъ почитанія родителей“, или что-то въ этомъ родѣ.

Такимъ образомъ, я былъ знакомъ съ тѣмъ, что долженъ былъ дѣлать. Но все-таки я задумался. Мнѣ очень хотѣлось, чтобы моя милая дѣвочка получила полный баллъ. Какъ бы это написать такъ, чтобъ получить именно пятерку, а не меньше? А?

Подумавъ, я рѣшилъ: прежде, чѣмъ писать, мнѣ нужно вообразить, что я не длинный малый, двухъ аршинъ десяти вершковъ ростомъ, а малюсенькая розовощекая гимназисточка двѣнадцати лѣтъ отъ роду. Несомнѣнно, что когда учитель даетъ тему, онъ принимаетъ въ расчетъ знанія ребенка на тему, его психологію, его стиль и, наконецъ, его идейный, такъ сказать, взглядъ на предметъ сочиненія, его отношеніе къ нему. Несомнѣнно, что это такъ. И, значитъ, что я долженъ, по мѣрѣ возможности, подражать ребенку. Прекрасно!

Придя домой, я легъ на диванъ, закурилъ папиросу и заснулъ, чего совсѣмъ не хотѣлъ дѣлать. Разбудилъ меня пріятель, который пришелъ ко мнѣ въ гости, чего онъ тоже не хотѣлъ дѣлать, какъ оказалось. Онъ вышелъ изъ дома, не имѣя ни малѣйшаго желанія идти ко мнѣ, и вдругъ—пришелъ! И мы заговорили съ нимъ о томъ, какъ эластичны узы дружбы: идешь направо отъ дома пріятеля и вдругъ—приходишь все-таки къ нему и мѣшаешь ему спать. Потомъ мы говорили о винѣ и о людяхъ, которые пьютъ вино. Мы открыли такую вещь: люди, у которыхъ есть деньги въ карманѣ или кредитъ въ виноторговлѣ, могутъ купить вино, а люди, которые не имѣютъ ни того, ни другого—не могутъ. Когда пріятель ушелъ, писать о водѣ было уже поздно...

Сочиненіе было заказано къ субботѣ,—у меня еще было два дня. Но на слѣдующій день водѣ помѣшалъ уже не пріятель, а вино, которое по отношенію ко мнѣ, дѣйствительно, оказалось непріятелемъ. И вотъ наступилъ послѣдній день, и я засѣлъ писать о водѣ и ея значеніи въ природѣ и жизни человѣка. У меня очень болѣла голова, но все-таки я написалъ. Потомъ—прочиталъ, ничего не понялъ и, рѣшивъ, что я, должно быть, очень удачно подражалъ ребенку и вполнѣ удовлетворю моимъ сочиненіемъ учителя,—понесъ его моей гимназисткѣ.

Она встрѣтила меня радостно.

— Готово! Ахъ, какъ хорошо! На пять, да? Ну, конечно,— вѣдь вы сочинитель... Идемте играть въ куклы!

Мы пошли, и играли, а потомъ я пошелъ домой и спокойно спалъ ночь...

Въ воскресенье я пошелъ къ ней. Пришелъ. Маменька ея вышла навстрѣчу мнѣ, и была она величественна, какъ хорошая колокольня, а глаза ея смотрѣли на меня, какъ два револьверныя дула.

— Ахъ, это вы, милостивый государь? Вы?

— Я почти увѣренъ, сударыня, что это именно я.

— Безъ шутокъ-съ!

— ? ! ?

— Писатель вы! Соч-чинитель! Слышите ли?

— Я думаю, что слышу... Но не увѣренъ, что я понимаю...

— Что вы сдѣлали съ моей дочерью?..

— Позвольте мнѣ это вспомнить...

— Взгляните на нее!..

Я пошелъ и взглянулъ. Она лежала на постелькѣ и, какъ только умѣла, какъ могла—плакала бѣдненькая.

— Лизочка...—сказалъ я.

— Ахъ!.. Мама, мама, велите дворнику Матвѣю зарѣзать его ножомъ... топоромъ... убейте его!—закричала Лизочка.

Это было удивительно!

— Объясните мнѣ...

— Возьмите ваше гнусное сочиненіе, которое сдѣлало мою дочь посмѣшищемъ всей гимназіи и которому она обязана тѣмъ, что ей... поставили ноль!.. Возьмите и...

Я ушелъ. Бережно взявъ сочиненіе, я спряталъ его въ карманъ и ушелъ. Мнѣ казалось, что я несу въ карманѣ цѣлый Атлантическій океанъ со всѣми его тайнами. Придя домой, я прочиталъ сочиненіе... Читайте сами...

„Вода и ея значеніе въ природѣ и жизни человѣка“.

„Вода есть мокрая жидкость, появленіе которой на землѣ относится къ доисторическимъ временамъ. Сначала воды на землѣ было не очень много, но послѣ того, какъ по по-

велѣнію Господа былъ устроенъ всемірный потопъ, ее стало на землѣ болѣе самой земли и съ той поры она, никуда не стекая, такъ и остается въ болотахъ, озерахъ и моряхъ. Скопляется вода только въ низкихъ мѣстахъ, а на высокихъ удержаться не можетъ, потому что она жидкая. Если ее налить на вершину горы, то она скоро вся стечетъ внизъ, поэтому подножія горъ всегда бываютъ окружены морями, озерами и болотами. Если налить ее на апельсинъ, то она тоже не удержится на немъ, а вотъ на землѣ она держится, хотя земля круглая, какъ апельсинъ... Всѣ рѣки такъ же текутъ сверху внизъ, потому что онѣ начинаются на высокихъ мѣстахъ, и вслѣдствіе жидкости воды. Если ее даже просто пролить на полъ, то и тогда она потечетъ туда, гдѣ ниже, а не наоборотъ. Ее очень просто отличить отъ масла, потому что она лѣтомъ не застываетъ, а масло застываетъ и лѣтомъ, если его поставить въ погребъ. Постное масло— больше похоже на воду. Въ болотахъ вода грязная, въ моряхъ соленая, и потому ее не пьютъ, пьютъ только воду изъ рѣкъ, но и то только тамъ, гдѣ нѣтъ водопроводной воды. Пить воду вредно, потому что можно простудиться,— болѣе полезно пить чай, кофе и квасъ... Вода такъ же служитъ для путей сообщенія, и тѣ государства, у которыхъ много воды, отличаются высокоразвитой торговлей,— таковы изъ древнихъ Финикія и Греція, а изъ современныхъ— Англія. Въ водѣ любятъ жить рыбы. По водѣ очень удобно возить товары, на особыхъ корабляхъ, которые называются флотъ, но пѣшкомъ ходить по ней нельзя, потому что она жидкая и разступается отъ ногъ, и человѣкъ тонетъ. Въ природѣ вода является—лѣтомъ въ видѣ дождя, отчего на землѣ бываетъ грязно. Когда идетъ дождикъ, онъ прежде падаетъ на крыши домовъ, а оттуда стекаетъ ручьями на землю. Во время дождя взрослые выходятъ на улицу въ калошахъ и подъ зонтиками, а дѣти сидятъ дома, и имъ бываетъ очень скучно. Зимой дождь замерзаетъ и падаетъ на землю въ видѣ снѣга, отчего бываетъ холодно. Въ жизни человѣка вода нужна для разныхъ надобностей: въ ней завариваютъ чай, изъ нея варятъ супъ, ею умываются, и когда умываются съ мыломъ, то она, попадая въ глаза, больно щиплетъ ихъ. Изъ мыла съ водой хорошо выходятъ

пузыри. Для того, чтобы сдѣлать пузырь, разводятъ въ водѣ немножко мыла, берутъ соломинку и, окуная ее въ эту жидкость, дуютъ въ нее осторожно. На концѣ соломинки выдувается большой, красивый, разноцвѣтный пузырь и, отрываясь отъ соломинки, летитъ въ воздухѣ, пока не лопнетъ. Въ водѣ такъ же стираютъ бѣлье, водой моютъ полы въ комнатахъ и отъ воды простужаются, если пьютъ ее вспотѣвши. Еще въ водѣ купаются и нѣкоторые тонутъ. Такимъ образомъ, мы ясно видимъ, что значеніе воды въ природѣ и въ жизни человѣка очень важно".

Елизавета Піонова.

Вотъ оно мое сочиненіе. Признаюсь, что, прочитавъ его, я остался доволенъ собой, ибо нашелъ, что оно написано совершенно въ стилѣ четвертаго класса гимназіи и не безъ знанія дѣтской психологіи. Я знаю, что мыльные пузыри болѣе близки интересамъ двѣнадцатилѣтней дѣвочки, чѣмъ торговля финикійцевъ, и остановился на мыльныхъ пузыряхъ болѣе подробно, чѣмъ на водѣ, какъ на факторѣ культуры. Я не доказывалъ преимущества вина предъ водой, хотя и могъ бы блестяще доказать это. Я не доказывалъ въ моемъ сочиненіи необходимости обложенія воды акцизомъ въ видахъ увеличенія доходовъ государства,—хотя почему бы не доказывать этого? То ли еще доказываютъ люди съ высокоразвитымъ чувствомъ патріотизма! Я ни слова не сказалъ о всемъ томъ, чего не могла знать гимназистка четвертаго класса и, мнѣ кажется, я сказалъ все, что она знала о водѣ. Какого же чорта нужно было этому достопочтенному учителю?

Пусть онъ самъ попробуетъ написать такое же сочиненіе для 12 лѣтней ученицы; посмотрѣлъ бы я, какъ онъ это сдѣлаетъ!..

За что онъ поставилъ нуль моей протеже? Я былъ возмущенъ и оскорбленъ.

Всякій на моемъ мѣстѣ чувствовалъ бы то же самое, я полагаю. Я рѣшилъ отправиться къ этому господину.

Я пришелъ къ нему и увидѣлъ предъ собой длинную и тощую фигуру, весьма напоминающую собой ижицу, перевернутую вверхъ тормашками.

— Милостивый государь,—сказалъ я ему,—это я—авторъ сочиненія „Вода и ея значеніе въ природѣ и въ жизни человѣка“, поданнаго вамъ гимназисткой четвертаго класса Елизаветой Піоновой.

— Развѣ вамъ не стыдно сознаться въ этомъ?—съ ужасомъ спросилъ онъ меня.

— Я не о себѣ пришелъ говорить съ вами... Я хотѣлъ бы только знать, за что вы поставили Піоновой нуль?

— За сочиненіе,—увѣренно отвѣтилъ онъ мнѣ.

— Чѣмъ же собственно вамъ не нравится это сочиненіе?

— Ер-рунда!

Тутъ я горько пожалѣлъ, что не захватилъ съ собой пушки. Съ такимъ бы удовольствіемъ я влѣпилъ въ учителя хорошенькій зарядъ изъ артиллерійскаго орудія!

— Государь мой!—смиренно заговорилъ я:—Вы, кажется, полагаете, что на землѣ возможно существованіе лѣса раньше, чѣмъ вырастутъ деревья. Вы требуете отъ ученицы яснаго представленія о значеніи воды въ природѣ, но извѣстно ли вамъ, о, государь мой, что ваша ученица ни въ какихъ близкихъ сношеніяхъ съ природой не находится и едва ли можетъ о ней имѣть представленіе. Она живетъ въ дѣтской во второмъ этажѣ большого каменнаго дома и отъ ея квартиры до природы огромное разстояніе, ибо, какъ это вамъ должно быть извѣстно, въ благоустроенныхъ городахъ природа находится за городомъ. Пока еще ея домашніе не озаботились ознакомить ее съ природой, и увѣряю васъ, она, Піонова, не въ состояніи сказать вамъ, гдѣ находится природа, и какая она изъ себя...

— Г-мъ?! Да? Это очень... странно! Но чего же вы желаете?

— Дайте Піоновой другую тему! Клянусь вамъ, я больше не буду писать для нея...

— Другую тему? Ну что жъ? Это можно... Извольте...

Онъ взялъ съ своего стола маленькую книжицу, на обложкѣ которой я мелькомъ прочиталъ „Паульсонъ“, и сталъ ее перелистывать...

— Ну-съ вотъ: пусть она напишетъ „Море и пустыня“.

Я кротко и умоляюще посмотрѣлъ на него.

— „Море и пустыня“...—повторилъ онъ, — славненькая темочка!

— Но, государь мой! Она никогда не видѣла моря и не была въ пустынѣ...—съ отчаяніемъ воскликнулъ я.

— Однако, это довольно неразвитая дѣвочка! Ну, тогда вотъ: „Вліяніе природы“...

— Опять природа!

— Да, да! Тогда—„Балтійское море и его торговое, экономическое, культурное и политическое значеніе“...

— Не торгуетъ она, политикой, по молодости лѣтъ, не занимается...

— Ужасно неразвитая дѣвочка! Что бы ей такое дать?.. Та-та-та! Ну-те-ка, вотъ: „Что есть общаго въ характерахъ Чацкаго и Хлестакова“?

...Какъ всѣ люди, я тоже кротокъ и человѣколюбивъ... до извѣстнаго предѣла. Впрочемъ, я вѣдь не оправдываюсь, а только каюсь...

У него въ комнатѣ была печка, а на печкѣ—отдушникъ. Ну, такъ вотъ на этомъ отдушникѣ, захлестнувъ учителю за шею его же собственный галстукъ—я его и повѣсилъ.

Повѣшенный, онъ только потерялъ свое сходство съ ижицей, а кромѣ этого, мнѣ кажется, никто ничего не потерялъ.

Вотъ и все, что я хотѣлъ сказать.

М. Горькій.

ИДИЛЛІЯ.

Въ маленькой комнаткѣ, съ низкимъ, закопченнымъ потолкомъ слабо мерцаетъ лампада предъ божницей въ углу. Ея дрожащій свѣтъ родилъ на стѣнахъ неустанно трепещущія, пугливыя тѣни, и онѣ, ползая вверхъ и внизъ, то покрываютъ собой, то открываютъ яркія дешевыя картинки, изображающія „Страшный судъ", „Путь праведника и грѣшника" и другіе ужасы въ этомъ родѣ, иллюстрирующіе достоинства добродѣтели и недостатки порока.

Кромѣ мерцанія лампады, въ комнату входитъ еще длинная полоса свѣта откуда-то извнѣ, сквозь стекло четырехугольнаго отверстія въ низкой, обитой клеенкой двери. Эта полоса ложится свѣтлой тропой на полъ, покрытый холщевымъ половикомъ, и уходитъ подъ столъ. Пахнетъ деревяннымъ масломъ и еще чѣмъ-то, такимъ же тяжелымъ. Вся комната тѣсно заставлена. По одной ея стѣнѣ стоитъ широкая, двуспальная кровать, за спинкой кровати — громадный, покрытый ковромъ сундукъ, потомъ божница. У другой стѣны помѣщается неуклюжій, старинный комодъ, рядомъ съ нимъ опять большой сундукъ, за нимъ столъ, а между столомъ и дверью на стѣнѣ виситъ гора одежды. Впереди, у широкаго окна стоитъ еще столъ, два стула по бокамъ его, одинъ посрединѣ, на столѣ лампа, двѣ рамки съ портретами и толстая книга въ кожѣ.

Въ окно смотритъ темносинее небо лѣтней ночи, молчаливое и меланхоличное, съ золотыми крапинками безпокойно дрожащихъ звѣздъ. Порой стекла окна дребезжатъ отъ шума проѣхавшей по улицѣ пролетки. Полумракъ въ комнатѣ увеличиваетъ размѣры загромождающихъ ее предметовъ, и отъ

безмолвной игры тѣней все свободное пространство среди комнаты кажется населеннымъ призраками. Яркія пятна картинъ на стѣнахъ смотрятъ, какъ чьи-то четырехугольные, большіе и уродливые глаза. И все въ этомъ тѣсномъ чуланѣ пропитано безмолвіемъ и тяжелымъ мертвымъ запахомъ.

Свѣтлый четырехугольникъ въ двери иногда застилаетъ собой какое-то темное тѣло... Тогда полоса свѣта на полу вздрагиваетъ и на секунду исчезаетъ, потомъ снова является, какъ широкій мечъ, вонзаясь въ сумракъ и пугая своимъ появленіемъ населяющія его тѣни. Но безмолвіе не оживляется этимъ движеніемъ свѣта, только изъ-за двери доносятся въ пустоту комнаты щелканье косточекъ счетъ, характерный звонъ денегъ и удары чѣмъ-то тяжелымъ по доскѣ.

...Дверь отворяется и въ комнату входитъ маленькій, сухой старикъ, съ острой, сѣдой бородкой, въ тяжелыхъ очкахъ на красномъ, хрящеватомъ носу, въ бѣломъ, длинномъ передникѣ и съ лампой въ рукѣ. За нимъ стоитъ, держась за скобку двери, старушка, сгорбленная временемъ, съ головой, наклоненной къ землѣ. Они оба окидываютъ быстрымъ взглядомъ внутренность каморки; старикъ ставитъ лампу на столъ, крестится и сиповато говоритъ:

— День прошелъ и—слава Богу!

— Слава-те Господи! — вторитъ ему старуха. — Чайку попьешь?

— Ужъ извѣстно!—И старушка возвращается назадъ въ помѣщеніе, заваленное мѣшками муки, ящиками, банками. Это—маленькая бакалейная лавочка на захолустной улицѣ города. Въ ней продаютъ коленкоръ и деготь, иголки и сѣно, угли, хлѣбъ, нитки, табакъ, кислую капусту—все, что ежедневно нужно людямъ, считающимъ деньги копѣйками.

Пока старушка возится въ лавкѣ, старикъ проходитъ впередъ къ столу и ставитъ лампу, тихо напѣвая себѣ подъ носъ какой-то тропарь. Комната сразу принимаетъ жилой видъ, и теперь можно ясно разобрать неописуемыя муки грѣшниковъ на картинѣ „Страшнаго Суда“.

— И-имъ же Тя хва-а-лимъ... Мать! захвати-ка-сь счеты оттуда...

— Знаю, чай... — ворчливо отвѣчаетъ старушка, гремя чайной посудой...

— То-то... Имъ же Тя ве-елича-аемъ...

Заложивъ руки за спину, онъ останавливается предъ „Страшнымъ Судомъ“ и перестаетъ пѣть, въ тысяча первый разъ разсматривая, какъ корчатся грѣшники, палимые огнемъ адовымъ, похожимъ на снопы красной соломы. Каждый грѣшникъ поджаривается въ отдѣльномъ помѣщеніи и представляетъ вмѣстѣ съ огнемъ, объявшимъ до половины его скрюченное муками тѣло, нѣчто очень похожее на половинку елочной хлопушки, изъ которой высунулся сюрпризъ.

— О-отъ юности моея мнози борютъ мя страсти, но Самъ мя заступи и спаси, Спасе мой... — баскомъ и речитативомъ произноситъ старикъ и, отходя отъ картины, глубоко воздыхаетъ...

— Отецъ, неси-ко самоваръ-отъ!—командуетъ мать изъ лавочки...

— Готовъ ужъ? Ай да ты у меня!—говоритъ отецъ, идя въ лавку, а навстрѣчу ему несется ворчливое, но польщенное:

— Ну ужъ!

Это у нихъ происходитъ каждый день послѣ того, какъ они закроютъ свою лавочку и на свободѣ захотятъ попить чайку. Почти всегда, кончая торговлю, онъ начинаетъ пѣть тропари, ирмосы и кондаки, она ставитъ самоваръ; потомъ они садятся пить чай и за чаемъ считаютъ дневную выручку и свои барыши.

Вотъ они за столомъ. Самоваръ шипитъ и курлыкаетъ; „мать“ сняла платокъ съ головы, поправила шелковую „головку“ на своихъ сѣдыхъ волосахъ и наливаетъ отцу чай въ фаянсовый бокалъ съ отбитой ручкой, который служитъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ. Передъ ней—синяя, съ черной трещиной, большая чашка, блюдечко съ медомъ, крендели... Передъ нимъ—счеты и длинная узенькая книга, испещренная крупными іероглифами, выведенными карандашомъ... Онъ вонзаетъ свои маленькіе, быстрые глазки съ красными вѣками въ книгу и кладетъ сухой, крючковатый и коричневый палецъ на грязныя косточки счетъ.

— Ну-ко-ся, Господи благослови!

И старуха крестится, благоговѣйно взглядывая на божницу. Потомъ она переводитъ глаза на палецъ мужа, то и

дѣло передвигающій косточки, и слѣдитъ за нимъ, смачно прихлебывая съ блюдечка чай. Минутъ пять вся комната полна щелканьемъ косточекъ, шопотомъ старика, читающаго цифры, и бульканьемъ чая въ горлѣ старухи. Ея сморщенное, какъ смятая перчатка, лицо—полно вниманія, большіе черные, тусклые глаза не отрываются отъ счетъ.

У него на лицѣ — напряженіе математика, рѣшающаго сложную задачу.

— Мыло... полфунта 6 к., махорка 4 к... гривенникъ... н-да... А всего итого отпущено сегодня въ долгъ на два шесть гривенъ! Вотъ какъ!

— Мишка сапожникъ отдалъ восемнадцать копѣекъ? — освѣдомляется старуха.

— Сапожникъ? Просилъ приписать къ старому долгу. Это дѣло пропащее... и зачѣмъ ты ему отпустила?

— Да я, говоритъ, въ субботу отдамъ всѣ...

— Какъ онъ можетъ отдать? Жена у него больная, самъ онъ безъ работы, а Манька знать ихъ не хочетъ... гуляетъ себѣ и больше никакихъ.

— Да вѣдь у тебя росписка на него есть?

— Росписка есть... Возня. Къ мировому надо, а онъ, мировой-то, по гривеннику съ листа прошенія возьметъ... да разная другая канитель... Глядишь—вмѣсто пяти-то сорока и получишь четыре цѣлковыхъ, а это не резонъ...

— У нихъ благословенная икона есть въ серебряной ризѣ... она рублей въ восемь цѣной... — напомнила старуха.

— Это я знаю... Прохвостъ заложитъ, пожалуй...

— Пускай заложитъ — вѣдь никому другому, а все намъ же...

— Намъ-то, намъ... да вѣдь подъ нее надо дать хоть цѣлковый, а съ долгомъ-то это ужъ будетъ шесть сорокъ...

— И то мы въ барышѣ...

— Мы всегда будемъ въ барышѣ, потому мы съ тобой люди прозорливые... А только и то надо помнить — какой барышъ...

— Ну ужъ не все помногу...

— И это вѣрно... Да-ко-сь мнѣ медку-то!..

Минуты двѣ продолжается молчаніе, прерываемое только звучнымъ схлебываніемъ чая съ блюдечекъ. Старики сосре-

доточенно дуютъ на дымящійся чай и посматриваютъ въ открытое окно на ночное, торжественно-важное небо и на яркія звѣзды его...

— А опять вызвѣздило,—говоритъ старикъ, выпивъ свой стаканъ,—завтра ведрено будетъ.

— Теперь такіе дни должны быть всплошь до новаго мѣсяца... Мѣсяцъ будетъ обмываться—опять дожди пойдутъ,—поясняетъ старуха.

— А какъ ты думаешь про Загарину—барыню?..

— А думаю такъ, что надо будетъ исполнительный-то листъ пустить въ дѣйствіе. Описать у нея всѣ хурды-мурды да и въ чистую ее...

— Въ богадѣльню-то ее не приняли...

— Н-ну?! Значитъ надо поторопиться намъ, а то она все продавать учнетъ. Чѣмъ ей кромѣ жить?

— На паперть—одна дорога... Онамедни къ ней татары приходили... Я смотрѣла — продастъ чего или нѣтъ? Не продала...

— Видишь? Завтра я ее подожму. А можетъ она и продала что мелкое?

— Кажись бы нѣтъ... — съ сомнѣніемъ сказала старуха.

— Погибла дворянка...—помолчавъ рѣшилъ старикъ.

— Да ужъ... Всѣ они теперь такъ хизнутъ...

— Ну, туда и дорога. Въ свое время пожили, попировали... теперь давай дорогу другимъ.

Старикъ многозначительно улыбнулся, взглянувъ въ лицо своей жены, и оба они перевели глаза на портреты, стоявшіе за самоваромъ. На одномъ изъ нихъ былъ снятъ рослый гимназистъ съ угловатымъ, рѣзкимъ лицомъ, на другомъ — полная дѣвочка съ длинной косой, переброшенной черезъ круглое плечо на грудь, и высокимъ лбомъ съ упрямой складкой надъ переносьемъ.

— Вотъ они... новые-то жители земли...—кивнулъ головой старикъ, и его сухое, острое лицо оживилось доброй и мягкой улыбкой... Старушка тихонько хихикнула, тоже вся преображенная. Но это скоро прошло у нихъ, ибо еще не вполнѣ наступилъ часъ нѣжныхъ чувствъ.

— Лександру-то надо будетъ послать рублей... съ четвертную,—началъ задумчиво и хмуро старикъ...—Хоша онъ

за урокъ и получаетъ, однако, въ такомъ кругу ему нужно слѣдить за собой. Брюки, тамъ, новые и все такое. Товарищи... Тоже молодость...

— Испорть его, смотри!—предупредила старуха.

— Сашутку-то?... Его тысячьми не испортишь,—онъ свою дорогу твердо знаетъ. Вотъ я съ Загариной да съ Унженцова взыщу и пошлю ему.

— Чай, и Сонѣ пора высылать...

— И Сонѣ пошлю... Не бойсь, не забуду...

— И какъ она, я все думаю, живетъ тамъ, среди чужихъ-то? То-то, чай, дико бѣдненькой дѣвонькѣ...—пригорюнилась старуха.

— Ничего... живетъ! Пишетъ—хорошо. Столичные—народъ вѣжливый, смирный,—не нашъ братъ... Вонъ третьеводни Сачковъ какой скандалъ поднялъ. Оретъ — донесу, говоритъ,—заклады тайно принимаешь!.. Подай, говоритъ, мои вещи. А проценты седьмой мѣсяцъ, мошенникъ, не платитъ. Теперь подъ закладъ-то ему я далъ тридцать, считай—по полтора рубля въ мѣсяцъ—ужъ и стало тридцать девять... Этого не понимаетъ, кривая рожа... Донесу! А доноси! Найди у насъ что-нибудь, ищи, вотъ-те всѣ сундуки!

Старикъ взволновался: у него покраснѣлъ и задрожалъ носъ и очки запрыгали. Онъ даже закашлялся отъ негодованія.

— А Господь съ ними со всѣми,—миролюбиво сказала старуха и добавила:—что они намъ могутъ сдѣлать? Покричатъ—да къ намъ же въ нуждѣ своей придутъ. А что не любятъ насъ въ околодкѣ—пускай! Насъ есть кому любить...—она кивнула головой на портреты и снова мягко улыбнулась...

— Это такъ,—соглашался старикъ, успокаиваясь. — Это вѣрно... Но все-таки, ежели я захочу прытко дѣйствовать—полъ-улицы какъ послѣ пожара очутится. По міру пойдетъ!.. Потому—документы!—и онъ, внушительно стукнувъ сухими пальцами по столу, строго посмотрѣлъ на жену.

— А Господь съ ними, пускай ихъ живутъ,—неизмѣнно твердила старуха.—Чего ты серчаешь, коли тебѣ твоя сила извѣстна?

— Обидно, мать, понимаешь? Одни мы—что ли на землѣ

грѣшники? А выходитъ—какъ бы одни... Всѣ на насъ зубы точатъ, всѣ злорадствуютъ.

— А намъ больно, наплевать,—философски возразила старуха.—Али Господь Батюшка не видитъ, для чего мы съ тобой живемъ? Онъ все видитъ! Его святой судъ будетъ,—ну, и отвѣтимъ мы предъ Нимъ... А люди намъ не помѣха...

— Это вѣрно...—спокойно сказалъ старикъ. — Напилась ты? Ну, такъ собирай да ложись, а я псалтирь почитаю часокъ...

— Ну, ну, я сейчасъ.... Почитай-ко-сь, и утихомиришься словомъ-то Божьимъ. А серчать, я тебѣ всегда говорю, не надо. Не для себя вѣдь мы, для родныхъ, кровныхъ дѣтей. Выростимъ ихъ, выучимъ,—они вину нашу предъ Господомъ людямъ заслужатъ. Будутъ образованные, царевы и Боговы вѣрные люди. Ну, ради нихъ мы и согрѣшимъ, такъ, чай, не во грѣхъ будетъ зачтено. Вѣдь и птичка Божія, птенчиковъ своихъ выкармливая, жучковъ да божіихъ коровокъ клюетъ,—такъ-то-ся...

— Это истинно... Будетъ Соня докторшей, а Санька учителемъ.

— А онъ вѣдь адвокатомъ хотѣлъ?—быстро сказала старуха, переставъ мыть чашки.

— Расхотѣлъ. Чай, я читалъ тебѣ письмо-то? Перехожу, говоритъ, на филагогическій... въ учителя, значитъ,—пояснилъ старикъ и, задумчиво глядя на портретъ, добавилъ: да-алеко онъ пойдетъ! Твердая у него голова.

— Дай-ко Ты, Господи!—молитвенно сказала старуха.

— И Соня тоже... Вознаградилъ насъ Господь Богъ за наши труды... да! Удались намъ дѣтки!—воскликнулъ старикъ.

— А ты еще скулишь—люди, люди! А что намъ люди? Зачѣмъ намъ люди?

— И вѣрно! Ахъ, мать, и какъ это вѣрно ты сказала!

Онъ даже глаза зажмурилъ отъ удовольствія и съ улыбкой покачалъ головой, а его старуха, опершись руками о столъ, улыбалась двумъ портретамъ глубоко-нѣжной улыбкой матери.

— Ну, готова я, садись, читай. А я Богу молиться стану,—сказала она, оторвавшись отъ стола.

— Налюбовалась...—счастливо засмѣялся старикъ.

... Черезъ нѣсколько минутъ въ маленькой, тѣсно заставленной комнатѣ сдѣлалось тихо. Небо все смотрѣло въ ея широкое окно и звѣзды блестѣли на немъ. На улицѣ было безмолвно и темно.

Стоя на колѣняхъ передъ божницей, закинувъ голову назадъ, такъ что затылокъ почти ложился на горбъ, старуха съ влажными глазами, какъ бы задыхаясь, прерывисто шептала слова своихъ молитвъ:

— Помоги ей, Господи, сохрани ее, Милостивый!

А старикъ монотонно, растягивая слова и произнося ихъ въ носъ, вполголоса читалъ:

— Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ и на пути грѣшныхъ не ста...

М. Горькій.

ЧАСЫ.

I.

Тикъ-такъ, тикъ-такъ!

Ночью въ тишинѣ и въ одиночествѣ жутко слушать безстрастное краснорѣчіе маятника часовъ: звуки монотонные и математически правильные, однообразно отмѣчающіе всегда одно и то же—неустанное движеніе жизни. Тьма и сонъ объемлютъ землю, все молчитъ,—лишь часы холодно и громко отмѣчаютъ исчезновеніе секундъ... Маятникъ стучитъ, и съ каждымъ звукомъ жизнь сокращается на секунду, на крошечную частичку времени, даннаго каждому изъ насъ, на секунду, которая уже не вернется къ намъ. Откуда являются секунды и куда онѣ исчезаютъ? Никто не отвѣтитъ на это... И есть еще много вопросовъ, на которые не отвѣчено, есть другіе, болѣе важные вопросы, и отъ разрѣшенія ихъ зависитъ наше счастье. Какъ жить, чтобы сознавать себя нужнымъ для жизни, какъ жить, не теряя вѣры и желанія, какъ жить, чтобъ ни одна секунда не исчезала, не волнуя души и ума? Отвѣтятъ ли когда-нибудь на все это часы, движенію которыхъ нѣтъ конца,—что скажутъ на это часы?

II.

Тикъ-такъ, тикъ-такъ!

Нѣтъ ничего на свѣтѣ безстрастнѣе часовъ: они одинаково правильно стучатъ и въ моментъ вашего рожденія, и въ то время, когда вы жадно срываете цвѣты грезъ юности. Со дня своего рожденія каждый день человѣкъ становится ближе къ смерти. И когда вы будете хрипѣть въ агоніи—

часы будутъ сухо и спокойно считать ея секунды. Въ ихъ холодномъ счетѣ—прислушайтесь—звучитъ нѣчто все знающее и уставшее отъ этого знанія. Ничто, никогда не волнуетъ ихъ и не дорого имъ. Они равнодушны, и намъ, если мы хотимъ жить,—нужно создавать себѣ иные часы, полные ощущеній и мысли, полные дѣйствій, чтобъ замѣнить эти скучные, однообразные, убивающіе душу тоской, укоризненно и холодно звучащіе часы.

III.

Тикъ-такъ, тикъ-такъ!

Въ неустанномъ движеніи часовъ нѣтъ неподвижной точки,—что же мы называемъ настоящимъ? За одной родившейся секундой раждается вторая и сталкиваетъ первую въ бездну неизвѣстнаго...

Тикъ-такъ! И вы счастливы. Тикъ-такъ! И вотъ вамъ въ сердце вливается жгучій ядъ горя, и оно можетъ остаться на всю жизнь съ вами, на всѣ часы данной вамъ жизни, если вы не постараетесь наполнить каждую секунду вашей жизни чѣмъ-либо новымъ и живымъ. Страданіе соблазнительно; это опасная привилегія, обладая ей мы обыкновенно не ищемъ другого, болѣе высокаго права на званіе человѣка. А его такъ много, этого страданія, что оно стало дешево и почти уже не пользуется вниманіемъ людей. Поэтому едва ли стоитъ дорожить страданіемъ,—слѣдуетъ наполнять себя чѣмъ-либо болѣе оригинальнымъ, болѣе цѣннымъ—не такъ ли? Страданіе—обезцѣненный фондъ. И не слѣдуетъ жаловаться на жизнь кому бы то ни было: слова утѣшенія рѣдко содержатъ въ себѣ то, чего ищетъ въ нихъ человѣкъ. Всего же полнѣе и интереснѣе жизнь тогда, когда человѣкъ борется съ тѣмъ, что ему мѣшаетъ жить. Въ борьбѣ не замѣтно промчатся тоскливые и скучные часы.

IV.

Тикъ-такъ, тикъ-такъ!

Жизнь человѣка до-смѣшного кратка. Какъ жить? Одни упорно уклоняются отъ жизни, другіе всецѣло посвящаютъ себя ей. Первые на склонѣ дней будутъ нищи духомъ и

воспоминаніями, вторые—богаты и тѣмъ, и другимъ. И тѣ, и другіе умрутъ, и отъ всѣхъ не останется ничего, если никто не будетъ безкорыстно отдавать жизни свой умъ и сердце... И когда вы будете умирать, часы безстрастно будутъ считать секунды вашей агоніи—тикъ-такъ! И въ эти секунды родятся новые люди, по нѣскольку въ каждую, а васъ уже—нѣтъ! и ничего не останется въ жизни отъ васъ, кромѣ вашего тѣла, которое будетъ дурно пахнуть. Неужели же ваша гордость не возмущается этимъ автоматическимъ творчествомъ, которое бросило васъ въ жизнь, потомъ вырвало изъ нея и—только? Укрѣпите же въ жизни память о себѣ, если вы горды и оскорблены вашей подчиненностью тайнымъ задачамъ времени. Подумайте о вашей роли въ жизни:—былъ сдѣланъ кирпичъ, потомъ онъ лежалъ неподвижно въ одномъ зданіи, потомъ разсыпался и исчезъ... И скучно, и пошло быть кирпичемъ—не правда ли? Не походите же на кирпичъ, если у васъ есть умъ и душа и если вы хотите испытать въ жизни хорошіе, полные чувствованій и думъ, бурные часы.

V.

Тикъ-такъ, тикъ-такъ!

Если вы задумаетесь о томъ, что теперь значите вы въ безпредѣльномъ движеніи часовъ,—вы будете подавлены сознаніемъ вашего ничтожества. Да оскорбитъ васъ это сознаніе! Да возбудитъ оно въ васъ гордость, и пусть вы почувствуете вражду къ жизни, унижающей васъ, и да объявите вы ей борьбу. Во имя чего? Когда природа лишила человѣка его способности ходить на четвереньках, она дала ему, въ видѣ посоха—идеалъ! И съ той поры онъ безсознательно, инстинктивно стремится къ лучшему—все выше! Сдѣлайте это стремленіе сознательнымъ, учите людей понимать, что только въ сознательномъ стремленіи къ лучшему—истинное счастье. Не жалуйтесь на безсиліе и ни на что не жалуйтесь. Единственное, что можетъ принести вамъ ваша жалоба—это сожалѣніе, милостыня нищихъ духомъ. Всѣ люди одинаково несчастны, но болѣе всѣхъ несчастенъ тотъ, кто украшаетъ себя своимъ несчастіемъ. Эти же люди болѣе всѣхъ другихъ жаждутъ вниманія къ себѣ и менѣе

всѣхъ достойны его. Стремленіе впередъ—вотъ цѣль жизни. Пусть же вся жизнь будетъ стремленіемъ, и тогда въ ней будутъ высоко-прекрасные часы.

VI.

Тикъ-такъ, тикъ-такъ!

„На что данъ свѣтъ человѣку, котораго путь закрытъ и котораго Ты окружилъ мракомъ“? Это старый Іовъ спрашивалъ у Бога. Нынче уже нѣтъ такихъ смѣлыхъ людей, которые, помня, что они дѣти Бога и созданы Имъ по образу и подобію Его, говорили бы къ Нему, какъ Іовъ, и вообще дешево цѣнятъ нынѣ люди себя. И мало любятъ жизнь, и даже себя любятъ неумѣло. И въ то же время боятся смерти, хотя никто не избѣжитъ ея, какъ это извѣстно. Неизбѣжное—законно. Вѣдь человѣкъ съ той поры, какъ явился на землѣ—все умираетъ, и къ этому надо привыкнуть, пора. Сознаніе выполненной задачи можетъ уничтожить страхъ смерти, и честно пройденный путь жизни дастъ покойный конецъ. Тикъ-такъ... И отъ человѣка остаются только одни дѣла его. И прекращаются для него часы вмѣстѣ съ его желаніями, и наступятъ иные часы—часы оцѣнки его жизни, суровые часы.

VII.

Тикъ-такъ, тикъ-такъ!

Въ сущности, все довольно просто въ этомъ запутавшемся въ противорѣчіяхъ, во лжи и злобѣ живущемъ мірѣ. И было бы еще проще, если бы люди всматривались другъ въ друга, и каждый имѣлъ за собой друга.

Одинъ, если онъ и великъ, все-таки малъ. Необходимо понимать другъ друга: вѣдь всѣ мы говоримъ темнѣе и хуже, чѣмъ думаемъ. Человѣку не хватаетъ много словъ, чтобъ открыть свое сердце предъ другимъ, и поэтому много крупныхъ и важныхъ для жизни думъ пропадаетъ безслѣдно оттого, что для нихъ своевременно не нашлось нужныхъ формъ. Раждается мысль, есть искреннее желаніе воплотить ее въ слова, въ твердыя и ясныя слова... а словъ—нѣтъ.

Больше вниманія къ мысли! Помогайте раждаться ей

она всегда окупитъ вашъ трудъ. Вездѣ и во всемъ есть мысль,—даже въ трещинахъ камня вы прочтете ее, если захотите этого. Если люди захотятъ, они всего достигнутъ; если они захотятъ, они будутъ владыками жизни, а не рабами ея, какъ теперь. Только бы явилось желаніе жить, гордое сознаніе силы своей, и вся жизнь представитъ собой прекрасные часы, полные явленій силы духа, поражающіе благородствомъ подвиговъ—великіе часы.

VIII.

Тикъ-такъ, тикъ-такъ!

Да здравствуютъ сильные духомъ, мужественные люди,—люди, которые служатъ истинѣ, справедливости, красотѣ! Мы ихъ не знаемъ, потому что они горды и не требуютъ наградъ; мы не видимъ, какъ радостно сжигаютъ они свои сердца. Освѣщая жизнь яркимъ свѣтомъ, они заставляютъ прозрѣвать даже слѣпыхъ. Нужно, чтобы прозрѣли слѣпые, которыхъ такъ много, нужно, чтобъ всѣ люди съ ужасомъ и отвращеніемъ увидѣли, какъ груба, несправедлива и безобразна ихъ жизнь. Да здравствуетъ человѣкъ, владыка своихъ желаній! Весь міръ—въ его сердцѣ; вся боль міра, все страданіе людей—въ его душѣ. Зло и грязь жизни, ложь и жестокость ея—его враги; всѣ часы свои онъ щедро тратитъ на борьбу, и жизнь его полна буйныхъ радостей, красиваго гнѣва, гордаго упрямства... Не жалѣй себя—это самая гордая, самая красивая мудрость на землѣ. Да здравствуетъ человѣкъ, который не умѣетъ жалѣть себя! Есть только двѣ формы жизни: гніеніе и горѣніе. Трусливые и жадные изберутъ первую, мужественные и щедрые—вторую; каждому, кто любитъ красоту, ясно, гдѣ величественное.

Часы нашей жизни—пустые, скучные часы; наполнимъ же ихъ красивыми подвигами, не жалѣя себя, и тогда мы переживемъ красивые, полные радостнаго трепета, полные жгучей гордости часы! Да здравствуетъ человѣкъ, который не умѣетъ жалѣть себя!

С. Гусевъ-Оренбургскій.

РАЗГОВОРЪ.

Поѣздъ шелъ черепашьимъ шагомъ къ Илецкой-Защитѣ. Унылая степь раскинулась кругомъ, выжженная солнцемъ, обвѣянная зноемъ, полная печали. Блѣдное небо, казалось, улетало отъ земли, покидая ее на произволъ раскаленнаго солнечнаго ока, и степь, какъ въ бреду, грезила миражами, создавая воды и рощи тамъ, гдѣ были лишь опустошенныя нивы, среди тощихъ всходовъ которыхъ сновали суслики.

Въ душномъ вагонномъ купэ сидѣло трое: батюшка необъятной толщины и апоплексическаго вида; сморщенный, какъ высохшій лимонъ, старичекъ и плотный мужчина въ рубахѣ на выпускъ, подпоясанный ремнемъ, въ очкахъ, съ русой бородкой и интеллигентнымъ лицомъ.

— Жарковато... Аки бы въ пещи вавилонской!—шумно вздохнулъ батюшка послѣ продолжительнаго молчанія.

Сложивъ руки на животѣ, онъ забарабанилъ по нему пальцами, обращая лунообразное и багровое лицо къ изсохшему старичку.

— Хлѣба выгораютъ... травы высыхаютъ! Кобылка, суслики... Доколѣ, Господи, наказуешь! А, конечно... по дѣломъ! По дѣломъ! Развращеніе веліе, а по развращенію и мѣра взысканія... Подумайте! Засуха и бездождіе, а до сихъ поръ ни одного молебствія! Завтра да завтра! Изъ-за матеріальнаго разсчета, изъ-за трехъ цѣлковыхъ какихъ-нибудь запущаютъ дѣло Божіе... О, жадность человѣческая... нѣсть тебѣ предѣла!

Батюшка еще тяжелѣе вздохнулъ и утеръ лицо краснымъ платкомъ.

Старичекъ сочувственно засмѣялся долгимъ, безшумнымъ смѣшкомъ, обнажавшимъ гнилыя зубы.

— Точно-съ,—сказалъ онъ.—Бѣдствія наползаютъ, такъ сказать, всесторонне на отечество... Но позволю себѣ спросить, батюшка, кратко и ясно: отчего деревенька бѣдствуетъ?

Старичекъ вопросительно заглянулъ смѣющимися глазами въ лицо батюшкѣ.

Батюшка провелъ рукою по пушистой бородѣ.

— Провидѣніе!

Склонивъ голову на-бокъ, старичекъ съ минуту помолчалъ.

— Оно точно-съ... Безъ Провидѣнія... куда же мы? Никудышники-съ! А только примите во вниманіе и мудрую поговорку: самъ плохъ, не дастъ Богъ! Вотъ... комиссіи тамъ разныя собираются, комитеты, совѣщанія... Толкуютъ о поднятіи хозяйства... Пустяки-съ!

Батюшка недоумѣвающе задвигалъ бровями.

— Пустяки,— говорите?

Старичекъ склонилъ голову на другой бокъ и продолжительно засмѣялся.

— Я вамъ вотъ что скажу! Какое теперь пришло время,— ежели присмотрѣться къ окружающему?

Онъ медленно поднялъ руку съ растопыренными пальцами и, не спѣша, сжалъ ихъ въ кулакъ, сморщенный, маленькій и безсильный.

— Теперь пришло время... вотъ! Вездѣ круто, вездѣ люто! Мужичекъ успѣвай только ручками всплескивать. Тамъ, глядишь, пожарикъ... все начисто смелъ! Тамъ страдное время, а ручекъ не хватаетъ, глядишь, хлѣбушка ложится,—а пришли его убирать... поздно, миленькіе... Дождичекъ пошелъ, да такой, что и конца ему нѣтъ. Не управится мужичекъ, хоть разорвись во всѣ стороны... Оттого и раззоръ! А есть у насъ, между тѣмъ, на Руси, слава Господу Богу, пчелка-съ... пчелка медовая-съ! И пчелка эта, безо всякаго толка, по пустымъ улейкамъ разсована. А это—зря-съ! Истинно, зря-съ! Ежели по настоящему-то разсудку дѣло обмозговать, не было бы у насъ ни голодовокъ, ни пожаровъ, ни гладовъ, ни моровъ, такъ сказать... А все пчелка-съ!

— Что же это за пчелка такая?—недоумѣвалъ батюшка.

Старичекъ прищурилъ глаза и, понюхавъ табаку, сказалъ раздѣльно и съ разстановкою:

— Арестантики-съ!

Батюшка съ ошеломленнымъ видомъ повернулся къ нему.

— Удивлены-съ?—засмѣялся старичекъ:—вотъ и всѣ такъ-то... удивляются! А что можетъ быть проще. Я, видите ли, смотритель тюрьмы... Но къ чему тюрьма, спрошу васъ? Зачѣмъ остроги, каторги, тому подобное? Зря-съ! Арестантиковъ надо въ деревеньки посадить! Живи, милый дружочекъ, въ деревенькѣ, какъ и прежде жилъ, только баловаться тебѣ теперь—шалишь... не дадимъ! Водочки пить не дадимъ! Съ ножичкомъ, съ кинжальчикомъ воевать... не дадимъ! Кто ты? Арестантикъ? А, стало-быть, ты пчелка! Гони медокъ! Людямъ польза и тебѣ хорошо! Не такъ ли?

Батюшка сдѣлалъ круглые глаза и недоумѣвающе двигалъ усами.

— Уповательно, и надзираніе существовало бы?—сказалъ онъ, опасаясь, повидимому, обратнаго.

Смотритель снисходительно улыбнулся.

— Безъ надзиранія и мужичекъ не можетъ быть оставленъ. И за мужичкомъ присмотръ требуется, чтобы не баловался! А если мужичекъ забалуется, сейчасъ его тутъ же, не сходя съ мѣста... въ арестантики! Расходы уменьшаются, волокиты никакой. Сегодня ты мужичекъ, завтра ты — арестантикъ. Сейчасъ тебя въ сѣрую одежку и... работай!

— Но что же дѣлать будутъ арестантики въ деревнѣ?— все больше удивлялся и даже пугался батюшка.

— А кирпичики!

— То есть... какъ же это... кирпичики?

— Такъ-съ! Глинка есть? Водичка есть? Замѣшивай, дружочекъ, глинку на водичкѣ, дѣлай кирпичики! У мужичка хатка повалилась,—мужичку хатку надо новую строить, а кирпичики... вотъ они! Арестантикъ надѣлалъ! Мужичекъ работай свою работу, а арестантикъ хатку сложитъ! Да хатку-то не простую, не древесную, а каменную! Изъ кирпичиковъ-съ! На какую угодно семью арестантикъ хатку сложитъ! И амбарчикъ соорудитъ! И погребушечку! И для курочекъ помѣщеньице, и лошадкамъ—хлѣвокъ! И все изъ кирпичиковъ! И крышу глинкой обмажетъ, дверцы, окошечки

вставитъ... все арестантикъ! Живи, мужичекъ, да Бога благодари, работай свою работу полевую, ни о чемъ не думая! И всѣмъ будетъ славно! Улочки прямыя, домики кирпичные, у каждаго домика садикъ арестантикъ разведетъ... Рай!

Смотритель тюрьмы посмотрѣлъ въ окно на унылыя степи.

— Да!—вздохнулъ онъ съ оттѣнкомъ мечтательности:— тамъ комиссіи, совѣщанія... А такъ просто Россію-матушку облагодѣтельствовать...

Прислушивавшійся къ разговору мужчина въ очкахъ весело и громко расхохотался.

Смотритель быстро обернулся къ нему.

— А никакъ встрѣчались съ вами?—призналъ онъ:—у благочиннаго, отца Герасима... Лицо знакомое. Вы не Загребельскій ли учитель?

— Онъ самый!

Учитель подсѣлъ ближе къ собесѣдникамъ и, щурясь, насмѣшливо смотрѣлъ на нихъ черезъ очки.

— Ну, и времена настали, братцы мои! — заговорилъ онъ: — сколько благодѣтелей! Вотъ батюшка хочетъ Россію молебствіями осчастливить, господинъ тюремный смотритель — кирпичиками... А тамъ... комиссіи... тоже придумываютъ! Удивительныя времена...

— Позвольте-съ!—возмутился батюшка, внезапно выходя изъ состоянія апатіи:—прошу не искажать-съ... смысла словесъ! Если я говорилъ касательно молебновъ, и вообще молебствій, то полагая силу ихъ въ упованіи на Промыслъ! Ибо издревле Русь крѣпка и сильна благочестіемъ была! Когда же твердыня сія поколебалась,—стали бѣды и напасти одержать ее... Бѣды отъ сродниковъ, бѣды отъ лжебратіи...

— Отъ сусликовъ такъ же?—не унимался учитель.

— Воистину! И все сіе отъ Господа за нечестіе наше!

— И сусликъ отъ Господа?

— Сусликъ, равно какъ и злокозненный сей вопросъ вашъ,—волновался батюшка,—отъ духа лукаваго! Ибо попускаетъ Господь Богъ бѣсы творить зло и бѣды, дабы черезъ то обратить къ Себѣ сердца людскія! Но, конечно, понять сіе—мудрено,—особливо для нѣкоторыхъ... лжеумцевъ вашего званія...

— Какого такого званія?

— Интеллигентовъ-съ! Да-съ! Мудрено-съ!

Батюшка почему-то покрутилъ пальцемъ около лба, а смотритель добродушно засмѣялся.

— Интеллигентики-съ? У меня въ завѣдываніи есть тоже нѣсколько... штучекъ-съ!

Онъ покрутилъ головой.

— Му-у-дреный народъ!

— Этого въ деревеньку не пошлешь? — разсмѣялс учитель.

— Н...нѣ-ѣ-тъ-съ...

Учитель расхохотался.

Нѣкоторое время помолчали.

Въ окно такъ и вѣялъ зной, точно изъ раскаленной печи. Батюшка снялъ шляпу, отдулся и отеръ лицо большимъ краснымъ платкомъ.

— Полагаю, — заговорилъ онъ все еще возмущеннымъ тономъ, ни на кого не глядя, но, очевидно, адресуя слова свои къ учителю: — все зло, всѣ бѣды отъ развращеннаго ума! Позволю спросить: какъ жили наши предки? Во благочестіи, не мудрствуя лукаво, уповая, такъ сказать... И что же? Посрамилось ли когда ихъ упованіе? Государство расло и укрѣплялось, врази трепетали... Богатство не токмо не оскудѣвало, но приумножалось! Какъ на брегахъ молочныхъ рѣкъ, жили подъ державою благочестивыхъ кесарей. Позволю себѣ даже выразиться словами старинной пѣсни:—какъ простую воду, пили медъ и крѣпкое вино...

Батюшка почему-то произнесъ слово „медъ“ по-славянски.

И глубоко вздохнулъ.

— А теперь...

— Теперь пришло время... вотъ!—сочувственно подхватилъ смотритель любимой поговоркой и, поднявъ худые пальцы, медленно сжалъ ихъ въ кулакъ.

— Именно! — воодушевился батюшка: — крутое, тяжкое время, время неустройства. А отчего сіе? Гдѣ корни? Гдѣ причины? Въ гордынѣ ума лжемудрецовъ вѣка сего... Изгоняютъ пастырей отъ овецъ и допускаютъ къ нимъ волковъ хищныхъ! Откуда пошло въ народѣ развращеніе, а вмѣстѣ съ нимъ и оскудѣніе богатствъ? Истинно говорю: отъ науки злы..

— Какъ, батюшка! Вы отрицаете школы!—съ дѣланнымъ ужасомъ вскричалъ учитель и всплеснулъ руками: — ба-а-тюшка!

Батюшка гнѣвно завертѣлся.

— Не школы я отрицаю!—заговорилъ онъ уже сердито и недоброжелательно: — а методу-съ... методу-съ преподаванія! И вполнѣ одобряю и хвалю намѣреніе высшей власти возвратить школу снова въ лоно церкви, снова призвать пастырей, да пасутъ стадо Божіе съ малолѣтства его... Сирѣчь: воспитаніе народа въ школахъ вестись должно въ духѣ церковности, въ духѣ любви къ Господу и почитанія начальствующихъ,—а не по методамъ развращающей свѣтскости и лжезнанія... А для сего... надлежитъ всѣ школы... передать пастырямъ... И тако будетъ!

Батюшка задыхался не столько отъ жары, сколько отъ волненія, а смотритель дѣлалъ видъ, что растроганъ словами батюшки, и кивалъ сочувственно головой:

— Именно! Воистину! Великолѣпная рѣчь!

Учитель зажалъ руки колѣнками и раскачивался на скамейкѣ.

Видъ у него былъ насмѣшливый.

Онъ хотѣлъ что-то возразить, но промолчалъ.

— Посмотрите-ка! — внезапно сказалъ онъ, указывая за окно.

Смотритель тюрьмы вытянулъ шею, какъ голодный гусь, а батюшка съ трудомъ повернулъ къ окну свое багровое лицо. У обоихъ былъ такой видъ, точно они ожидали отъ учителя всякой пакости.

За окномъ виднѣлась вьющаяся вдоль насыпи дорога. Черезъ дорогу, точно играя, перебѣгали взадъ и впередъ желтые звѣрьки, оставляя пыльные слѣды за собою. И видно было, что среди тощихъ всходовъ ихъ таилось много...

— Поди, тоже думаютъ всю степь захватить и весь хлѣбъ покушать... суслики-то! — сказалъ учитель. — А вотъ пройдетъ годъ, пройдетъ два года... пройдетъ десять лѣтъ... Народъ поумнѣетъ и средство придумаетъ. Выйдетъ на поля несмѣтнымъ войскомъ, съ пѣснями да съ шутками, колотя палками по поганымъ ведрамъ... И сусликъ исчез-

нетъ! И сусликъ, и кобылка... и всякая пакость исчезнетъ! А хлѣбъ все будетъ изъ земли переть...

И, задумчиво смотря за окно, учитель говорилъ, точно забывъ про собесѣдниковъ:

— И покроетъ онъ... всю землю—золотыми всходами!

П. Дубовская.

Народная школа во Франціи.

„Полуразвалившіяся школьныя зданія, голодающіе учителя, отсутствіе книгъ—такова печальная картина состоянія французской народной школы“. Эти слова одного изъ циркуляровъ министра народнаго просвѣщенія, изданныхъ въ 1830 году, могутъ считаться довольно нелицепріятной характеристикой французской народной школы того времени.

Факты лишь подтверждаютъ эту безотрадную картину.

Во времена Реставраціи на нужды народнаго образованія изъ государственнаго казначейства ассигновывалось лишь 50.000 франковъ, а новый законъ 1833 г. требовалъ, чтобъ каждая община, или хоть нѣсколько сообща содержали одну школу, чтобъ въ учителя принимались лица, выдержавшія соотвѣтственный экзаменъ и чтобъ вознагражденіе ихъ было не менѣе 200 франковъ въ годъ. Отсюда можно заключить, насколько учащій персоналъ былъ неудовлетворителенъ, какъ скудно оплачивался учительскій трудъ и какъ недостаточно было количество школъ. Самая идея о необходимости сообщать народу хотя бы минимальныя свѣдѣнія впервые была высказана Талейраномъ и Кондорсе. Однако, идея эта во время революціи и 1-ой республики не получила опредѣленной формы. Наполеонъ I, давъ народной школѣ государственную субсидію, предоставилъ руководящую роль въ дѣлѣ народнаго образованія духовенству. Программа была низведена до обученія чтенію, письму, счету и Закону Божію. Положеніе вещей существенно не измѣнилось вплоть до 1867 года. Народная школа во Франціи не росла и не развивалась; она прозябала подъ гнетомъ духовенства съ одной стороны,—равнодушія, временами враждебныхъ отно-

шеній со стороны правительства—съ другой. Вотъ что говорилъ, между прочимъ, Тьеръ въ одной комиссіи, занятой вопросами народнаго образованія: „Элементарное образованіе незачѣмъ дѣлать доступнымъ для всякаго; вѣдь оно представляетъ изъ себя роскошь, а предметы роскоши существуютъ не для всѣхъ и каждаго...“

Законъ 1867 года, выработанный министромъ народнаго просвѣщенія Дюрюи, вноситъ много новаго въ жизнь народной школы.

Въ силу его, жалованье учителямъ увеличивается, содержаніе школъ для дѣвочекъ, независимо отъ школъ для мальчиковъ, дѣлается обязательнымъ для общинъ съ 500 жителей, исторія и географія дѣлаются обязательными предметами; кредитъ на ремонтъ школьныхъ зданій и на постройку новыхъ повышается къ 1870 году до 5 слишкомъ милліоновъ франковъ. Здѣсь кстати замѣтить, что Дюрюи первый высказалъ мысль о необходимости сдѣлать первоначальное образованіе безплатнымъ и обязательнымъ. Однако, мысль эта получила силу закона лишь въ 1881 (безплатность обученія) и 1882 году (обязательность), когда французская народная школа, послѣ долгихъ лѣтъ пренебреженія и запустѣнія, вступила съ середины 70-хъ годовъ на широкій путь быстраго развитія, когда польза обученія укоренилась въ сознаніи массъ, а сама школа сдѣлалась предметомъ заботъ правительства, городовъ, общинъ и частныхъ лицъ. Результатомъ этихъ дружныхъ усилій явилась современная французская школа, къ которой мы и переходимъ.

Администрація школьнаго дѣла и учащій персоналъ.

Всѣ дѣла народнаго образованія во Франціи, кромѣ министра народнаго просвѣщенія, вѣдаетъ цѣлый рядъ совѣтовъ: 1) высшій училищный совѣтъ, 2) академическій совѣтъ *), 3) совѣщательный комитетъ, 4) департаментскій и муниципальный школьный совѣтъ и, наконецъ, мѣстный школьный совѣтъ. Въ составъ совѣтовъ входятъ чиновники

*) Академіи соотвѣтствуютъ нашимъ учебнымъ округамъ.

министерства народнаго просвѣщенія, а также профессора (высшій училищный совѣтъ), учителя и учительницы—всѣ по избранію своихъ товарищей, и, наконецъ, мѣстныя власти: префектъ, мэръ и депутатъ отъ кантона. Въ совѣщательный комитетъ приглашаются, срокомъ на одинъ годъ, лица, извѣстныя своими трудами на поприщѣ народнаго образованія, хотя бы они и не состояли на государственной службѣ. Это выборное и коллегіальное начало имѣетъ огромныя преимущества. Присутствіе въ совѣтахъ учителей, какъ стоящихъ близко къ школѣ, мѣстныхъ властей и постороннихъ лицъ, которыя какъ бы являются представителями общества—все это сближаетъ школу съ жизнью и придаетъ министерскимъ распоряженіямъ жизненный характеръ, болѣе отвѣчающій естественнымъ запросамъ, нежели циркуляры, исходящіе отъ одного лица, облеченнаго властью, но стоящаго довольно далеко отъ дѣла.

Здѣсь умѣстно указать на огромное значеніе парижскаго муниципальнаго совѣта въ школьныхъ дѣлахъ города. Напримѣръ, для учрежденія новыхъ школъ или для нововведенія уже въ существующихъ необходимо соглашеніе инспектора начальныхъ училищъ, академическаго инспектора, муниципальнаго совѣта и, наконецъ, министерства. Можно сказать, что значеніе муниципалитета прямо пропорціально огромнымъ суммамъ, которыя городъ Парижъ вводитъ въ свой бюджетъ на нужды народнаго образованія.

Роль духовенства въ народныхъ школахъ сведена къ нулю. Какъ извѣстно, преподаваніе Закона Божія въ этихъ школахъ замѣнено ученіемъ о морали.

Для религіознаго воспитанія, если бы родители таковое пожелали дать дѣтямъ, учащіеся освобождаются отъ занятій по четвергамъ.

Школьныя постановленія запрещаютъ отвлекать дѣтей отъ занятій хотя бы и для Закона Божія, не входящаго въ программу. Однако, священники проявляютъ „кроткое упорство“, по словамъ одного лица, близко стоящаго къ школьному дѣлу, и занятія Закономъ Божіимъ во многихъ приходахъ происходятъ въ часы классныхъ занятій. Директора жалуются, школьныя комиссіи протестуютъ; протесты и жалобы доводятся до свѣдѣнія духовнаго начальства, но все

это ни къ чему не ведетъ, и вышеупомянутыя школьныя постановленія остаются до нѣкоторой степени мертвой буквой.

Начальная школа во Франціи бываетъ 3-хъ родовъ: 1) публичная, 2) конгрегаціонная, 3) частная. Предметомъ настоящаго очерка служатъ исключительно публичныя народныя школы. Онѣ имѣютъ нѣсколько подраздѣленій, а именно: 1) материнскія школы (для малолѣтнихъ), 2) обычная элементарная школа и 3) высшая элементарная школа (повторительные курсы), къ которой относятся и ремесленныя школы. Строго разграничить высшую элементарную школу отъ низшей довольно трудно, такъ какъ высшая элементарная школа является иногда самостоятельной школой съ 2-хъ-годичнымъ курсомъ, а иногда она—просто однолѣтній дополнительный курсъ къ низшей. Такая неопредѣленность явилась слѣдствіемъ жизненности французской школы. Дѣло въ томъ, что въ 1881 году срокъ обязательнаго обученія былъ ограниченъ возрастомъ 13-ти лѣтъ, между тѣмъ какъ до этого года обязательное обученіе кончалось въ возрастѣ 12-ти лѣтъ. Желаніе раціонально пополнить этотъ школьный годъ и породило новый типъ школъ. Кромѣ того, этому способствовало все болѣе и болѣе вырастающая потребность въ техническомъ и профессіональномъ образованіи, такъ что высшая элементарная школа все болѣе приближается къ типу ремесленныхъ школъ.

Учителями и учительницами публичныхъ народныхъ школъ могутъ быть лица, выдержавшія установленный государствомъ экзаменъ. Чтобы занять мѣсто штатнаго учителя или учительницы, а не „кандидата“ только, нужно имѣть „свидѣтельство о пригодности къ педагогической дѣятельности“ (Certificat d'aptitude pédagogique). Такое свидѣтельство дается лишь послѣ двухлѣтнихъ практическихъ занятій и по выдержаніи особаго практическаго экзамена. Учителя и учительницы, получившіе вышеупомянутое свидѣтельство, раздѣляются на 5 классовъ. Учителя 5-го и 4-го кл. могутъ перейти въ высшій классъ послѣ 5-ти лѣтъ службы, а учителя 3-го и 2-го кл.—послѣ 3-хъ лѣтъ. Наивысшій окладъ безъ добавочнаго содержанія таковъ: 2000 франковъ для учителя и 1600 фр. для учительницы. Минимальное жалованье французскаго на-

роднаго учителя—800 фр. въ годъ и, кромѣ того, добавочное содержаніе, которое въ Парижѣ равняется 1000 фр., а въ другихъ мѣстностяхъ колеблется между 400 и 50 франками,—смотря по количеству жителей, а, значитъ, и учениковъ. Всѣ учителя и учительницы—старшіе и младшіе — пользуются готовой квартирой. Старшіе учителя и учительницы съ 2-мя и болѣе классами получаютъ еще добавочныхъ 200 фр. Прослужившіе 25 лѣтъ получаютъ пенсію не менѣе 500 франковъ. Такимъ образомъ, народный учитель во Франціи, получающій 850 фр. въ годъ при готовой квартирѣ, является пасынкомъ судьбы. 1500 фр. составляютъ обычный средній заработокъ учителя и 1100 фр. средній заработокъ учительницы.

Расходы по содержанію школъ несутъ государство, департаменты и общины. Первое платитъ жалованье учителямъ и чиновникамъ, вѣдающимъ школьное дѣло. На департаментахъ и муниципалитетахъ лежатъ расходы на зданія и инвентарь; общины даютъ учащему персоналу добавочное содержаніе, отапливаютъ и освѣщаютъ школы. О количествѣ начальныхъ публичныхъ школъ можно судить по тому, что каждая деревушка, насчитывающая не менѣе 20-ти дѣтей школьнаго возраста и удаленная на три километра отъ училища, должна имѣть свою школу.

Что касается ремесленныхъ школъ, то ихъ въ 1889 году было 185 для мальчиковъ и 71 школа для дѣвочекъ.

Давъ эти краткія свѣдѣнія объ исторіи французской народной школы, о ея организаціи, администраціи и объ учащемъ персоналѣ, мы переходимъ къ начальнымъ публичнымъ школамъ Парижа. Имѣя со всѣми французскими народными школами общую исторію и организацію, начальная школа Парижа имѣетъ и кое-какія особенности. Парижскія народныя школы обставлены лучше, пользуясь попеченіями парижскаго муниципалитета, который по отношенію народной школы проявляетъ удивительную заботливость и, поистинѣ, поразительную щедрость. Ознакомясь съ народной школой Парижа, можно ясно видѣть предѣльный пунктъ достигнутаго расцвѣта французской народной школы и тѣ ближайшія задачи, которыя поставили себѣ лица, занятыя дѣломъ народнаго образованія.

Парижская народная школа.

Законъ 1893 года о расходахъ по начальному образованію поставилъ парижскій муниципалитетъ въ совершенно исключительныя условія. Оставя за собой право контроля, правительство предоставило попеченіямъ города всѣ нужды народнаго образованія на всѣхъ его ступеняхъ. Такое положеніе вещей, ощутительное для городскихъ финансовъ, съ другой стороны дало возможность централизировать всѣ усилія и работу на пользу школы сдѣлать болѣе интенсивной. Городу предстояло разрѣшить трудныя задачи, имѣя въ виду совершенно особенныя условія жизни въ Парижѣ и своеобразныя потребности населенія и индустріи. Оставляя въ сторонѣ заботы города о дѣтяхъ до-школьнаго возраста и различныя внѣ-школьныя мѣропріятія, мы остановимся только на томъ, что долженъ былъ сдѣлать городъ и что сдѣлалъ для начальной школы.

Въ 1896 году въ Парижѣ дѣтей школьнаго возраста было 225.800 человѣкъ. Имѣть для нихъ для всѣхъ достаточное количество школъ и учащій персоналъ, хорошо подготовленный—это уже немало. Но городъ сдѣлалъ и дѣлаетъ гораздо больше. Онъ покупаетъ участки земли, стоимость которыхъ въ нѣкоторыхъ кварталахъ Парижа достигаетъ сказочныхъ размѣровъ, возводитъ на нихъ прекрасныя зданія, отвѣчающія всѣмъ требованіямъ науки, снабжаетъ инвентаремъ и даетъ учителямъ содержаніе, достаточное при дороговизнѣ парижской жизни. Кромѣ учителей общеобразовательныхъ предметовъ, городъ имѣетъ персоналъ, преподающій предметы спеціальные (пѣніе, рисованіе, ремесла). Желая отнять у родителей всякій предлогъ не посылать дѣтей въ школу, городъ учреждаетъ школьныя кассы, благодаря которымъ бѣдные школьники снабжаются одеждой, даровыми лѣкарствами, всѣми школьными принадлежностями; наконецъ, городъ устраиваетъ при школахъ столовыя и дневныя убѣжища. Имѣя право на самую широкую иниціативу въ дѣлѣ начальнаго образованія, городъ дѣлалъ и дѣлаетъ массу попытокъ; неудачныя отбрасываются, помогая въ будущемъ

не повторять ошибокъ. Если не всѣ попытки можно назвать удачными, всѣ онѣ интересны.

Школьныя зданія и учащій персоналъ.

Выборъ мѣста для будущей школы, составленіе и утвержденіе плановъ и т. д. лежитъ на инспекторѣ строительнаго отдѣла городской управы, на санитарной комиссіи и на дирекціи школъ, причемъ особыя инструкціи опредѣляютъ руководящія правила для возведенія школьныхъ зданій. Начальная школа обыкновенно имѣетъ, кромѣ классовъ, кабинетъ директора или деректриссы школы, учительскую, рекреаціонный залъ, классъ ручного труда и рисовальный классъ. Школьныя постановленія воспрещаютъ доступъ въ школы всѣмъ постороннимъ лицамъ. Но это правило допускаетъ исключеніе. Такъ, въ школахъ часто происходятъ лекціи, бесѣды и т. д. обществъ и союзовъ, которые своей дѣятельностью способствуютъ дѣлу народнаго образованія. Затѣмъ, во время выборовъ въ школахъ нерѣдко происходятъ собранія республиканской партіи.

Вся обстановка школъ, классныя принадлежности и т. д. пріобрѣтаются путемъ конкурса, чѣмъ избѣгается монополія нѣсколькихъ большихъ магазиновъ.

Учителя и учительницы парижскихъ начальныхъ школъ пользуются особымъ положеніемъ въ смыслѣ содержанія. Дѣлясь, какъ всѣ французскіе народные учителя, на 5 классовъ, они получаютъ больше, а именно: учителя 1800, 2100, 2400, 2700 и 3000 франк., а учительницы отъ 1500 до 2600 франк.— смотря по занимаемому классу. Директора получаютъ отъ 3400 до 4400 фр., а директриссы отъ 3000 до 4000 фр. За занятія на повторительныхъ курсахъ парижскіе учителя добавочнаго содержанія, какъ ихъ провинціальные товарищи, не получаютъ. Расходъ на учащій персоналъ и на низшихъ служащихъ въ парижскихъ начальныхъ школахъ выразился въ 1900 году цифрой почти 12 милліоновъ франковъ; на снабженіе школъ всѣмъ необходимымъ, на библіотеки, мелкіе расходы и т. д. истрачено въ 1900 году милліонъ слишкомъ франковъ.

Пополненіе школъ учащимися и законъ объ обязательности первоначальнаго обученія.

Для помѣщенія ребенка въ школу родители должны представить въ мэрію метрическое свидѣтельство и свидѣтельство о привитіи оспы. Въ тѣхъ участкахъ, гдѣ школъ еще недостаточно, муниципальный совѣтъ раздаетъ стипендіи для обученія ребенка въ частныхъ свѣтскихъ школахъ. Практика показала, что администраціи приходится не столько считаться съ недостаткомъ мѣстъ въ школахъ, сколько съ неисполненіемъ со стороны родителей закона объ обязательности первоначальнаго обученія.

Въ концѣ каникулъ по мэріямъ дѣлаются публикаціи, приглашающія родителей заявлять о дѣтяхъ школьнаго возраста. Оффиціальные источники свидѣтельствуютъ, что количество заявленій со стороны родителей въ нѣкоторыхъ парижскихъ округахъ ничтожно „до смѣшного". Правда, администрація имѣетъ право преслѣдовать судомъ родителей, игнорирующихъ законъ, но контроль въ высшей степени труденъ. Во-первыхъ, рабочій людъ легко можетъ его избѣгнуть въ силу частыхъ перемѣнъ мѣстожительства; затѣмъ, отъ регистраціи ускользаютъ лица, дающія дѣтямъ образованіе дома; наконецъ, приходится наталкиваться на обстоятельства, которыя дѣлаютъ всякія требованія со стороны администраціи чрезмѣрными и почти невыполнимыми. Обстоятельства эти универсальны: бѣдность, сиротство, необходимость удерживать дома дѣтей школьнаго возраста, какъ помощниковъ и уже кормильцевъ. Въ виду этихъ и многихъ другихъ соображеній, муниципальный совѣтъ, уважая законъ, ограничивается тѣмъ не менѣе наивозможно широкой публикаціей; тѣ родители, несоблюденіе которыми закона стало извѣстно, принуждаются посылать дѣтей въ школу. Всякія полицейскія мѣры признаны неудовлетворительными. Школьныя власти печатно заявляютъ, что выходъ изъ затруднительнаго положенія одинъ, а именно: нравственный прогрессъ и полное убѣжденіе массъ въ томъ, что лучшее оружіе противъ нуждъ и житейскихъ затрудненій — это знаніе. Нельзя не прибавить, что массы быстрыми шагами приближаются къ пра-

вильной оцѣнкѣ образованія: число парижскихъ школъ растетъ и ни одна не пустуетъ.

Программа и распредѣленіе времени.

Въ программу элементарныхъ начальныхъ школъ входитъ:

Воспитаніе нравственное и гражданское (civique)	1	час.
Чтеніе	5	„
Письмо	5	„
Счетъ устный и метрическая система	$2^1/_2$	„
Грамматика, диктантъ и письменныя упражненія	$2^1/_2$	„
Отвѣты наизусть	1	„
Исторія и географія	2	„
Предметные уроки	1	„
Пѣніе	1	„
Рисованіе	2	„
Ручной трудъ	2	„
Гимнастика	$2^1/_2$	„
Рекреаціи	$2^1/_2$	„
Итого	30	час. въ недѣлю.

Насъ не должно удивлять выдѣленіе въ самостоятельную часть программы отвѣтовъ наизусть. Это обстоятельство вытекаетъ изъ національнаго характера и изъ общественныхъ условій жизни. Французы любятъ декламацію: какъ у насъ принято при интимныхъ собраніяхъ друзей и знакомыхъ пѣть и занимать музыкой, такъ у французовъ, на ряду съ этимъ, если не больше, принято развлекать собравшихся декламаціей. Наконецъ, республиканскій образъ правленія и выборное начало требуютъ умѣнья говорить и хорошей дикціи. Въ Парижѣ есть много частныхъ школъ декламаціи, ученицы которыхъ,—дочери по большей части буржуазныхъ семей,—вовсе не готовятся къ сценѣ. Въ программу высшихъ элементарныхъ школъ, большинство учениковъ которыхъ имѣютъ свидѣтельство объ окончаніи элементарной школы, входитъ:

Нравственное воспитаніе и воспитаніе гражданское . . .	$1^1/_2$	час.
Чтеніе и отвѣты наизусть . .	$1^1/_2$	„
Французскій языкъ	$5^1/_2$	„
Письмо	1	„
Ариѳметика	4	„
Естествовѣдѣніе, гигіена и домоводство	2	„
Исторія, географія	$3^1/_2$	„
Рисованіе съ натуры	3	„
Ручной трудъ и черченіе. . .	3	„
Пѣніе	$1^1/_2$	„
Гимнастика.	$3^1/_2$	„
Итого. . .	30	часовъ въ недѣлю.

Въ программѣ и распредѣленіи времени въ высшихъ начальныхъ школахъ въ концѣ 90-хъ годовъ произошли нѣкоторыя измѣненія. Существовавшая программа возбуждала критику. Многіе находили, что въ программѣ отводится слишкомъ большое мѣсто спеціальнымъ предметамъ и слишкомъ скромное—общеобразовательнымъ. Въ такомъ смыслѣ высказались и многіе учительскіе кружки и ассоціаціи. Какъ только вопросъ былъ возбужденъ, дирекція занялась его разработкой. Особымъ циркуляромъ въ 1898 году директорамъ и директриссамъ начальныхъ школъ было предложено представить свои соображенія относительно перемѣнъ въ программѣ и распредѣленіи времени.

Въ 1899 году перемѣны были уже произведены и получили силу закона. Между прочимъ, въ циркулярѣ по поводу этихъ перемѣнъ директоръ народныхъ училищъ писалъ: „Перемѣны эти, повидимому, отвѣчаютъ желаніямъ, выраженнымъ самими учащими, и мы знаемъ, что можно твердо надѣяться, въ отношеніи результатовъ, на преданность дѣлу всего учащаго персонала“.

Перемѣны, дѣйствительно, отвѣчали желаніямъ, выраженнымъ, между прочимъ, учащими: количество часовъ, посвященныхъ общеобразовательнымъ предметамъ, было увеличено на 4 часа; занятія спеціальными предметами было сокращено на 2 часа и совсѣмъ уничтожены „военныя упражненія“.

Преподаваніе морали.

Остановимся на воспитаніи нравственномъ и гражданскомъ и на ученіи противъ алкоголизма, — на 2-хъ сравнительно недавнихъ нововведеніяхъ школьной программы. Мораль, какъ уже было сказано, замѣнила въ программѣ Законъ Божій; она—дѣтище демократической, свободомыслящей республики, и правительство приложило, повидимому, всѣ усилія, чтобы поставить преподаваніе морали наиболѣе раціонально. Окружной инспекторъ г-нъ Эвелинъ изложилъ, какъ бы въ руководство преподавателямъ, свои взгляды на задачи и на методъ преподаванія морали.

Преподаваніе морали имѣетъ въ школѣ свои дни, часы, но такое формальное пониманіе этого предмета, по мнѣнію Эвелина, весьма неудовлетворительно. Онъ утверждаетъ, что все—урокъ гигіены, исторіи, посторонніе пустячные вопросы и отвѣты — все можетъ послужить случаемъ укоренить въ дѣтяхъ основы нравственности, и преподающіе должны всегда это помнить. Власти оффиціально заявляютъ, что „учащій персоналъ съ готовностью и жаромъ откликнулся на призывъ". Лично намъ пришлось въ одномъ женскомъ лицеѣ (гимназіи) Парижа присутствовать на урокѣ морали и гражданскаго воспитанія. Рѣчь шла о правахъ и обязанностяхъ гражданъ—мужчинъ и женщинъ. Учительница задавала вопросы—краткіе и общіе, на которые слѣдовали подобные же отвѣты. Вопросы задавались быстро, весело,—такъ же сыпались отвѣты.

У слушателя невольно являлась мысль, что излишняя катехизація въ такомъ серьезномъ и обширномъ предметѣ, какъ мораль и гражданскія обязанности, нежелательна; хотѣлось услыхать отъ ученицъ что-либо самостоятельное, примѣръ, какое-нибудь объясненіе па формальный отвѣтъ. Но вотъ послышался вопросъ:—Почему не вотируютъ женщины?—и учительница указала пальцемъ на дѣвочку лѣтъ 13-ти.

— Потому что женщина недостаточно для этого разумна— не задумываясь отвѣтила спрошенная (parce que la femme n'est pas assez intelligente).—О, ля-ля!—критически, но весело воскликнула учительница и быстро указала пальцемъ на другую, которая и отбарабанила, что полагалось.

Желаніе воспитывать въ душѣ ребенка нравственные

устои и проводить эту тенденцію чрезъ всѣ предметы и мелочи школьной жизни имѣетъ глубокій смыслъ, но нельзя не признать, что проведеніе на практикѣ этихъ высокихъ идей имѣетъ недостатокъ, съ которымъ встрѣтимся еще, говоря о преподаваніи другихъ предметовъ, и который—скорѣе недостатокъ національнаго характера, нежели школьныхъ методовъ.

Борьба школъ противъ пьянства.

На мысль ввести въ школу бесѣды объ алкоголизмѣ навели многія обстоятельства и, между прочимъ, все прогрессирующее развитіе пьянства во Франціи, уменьшающееся въ Норвегіи и Англіи. Въ школѣ увидали одно изъ дѣйствительныхъ орудій противъ этого бича. Какъ только вопросъ возникъ, сейчасъ же было приступлено къ его практическому рѣшенію. По школамъ были устроены лекціи объ алкоголизмѣ и борьбѣ съ нимъ. Лекторами были доктора, слушателями—учащій персоналъ народныхъ школъ. Въ циркулярѣ по поводу новой отрасли преподаванія выражалось желаніе, чтобы ребенку уже въ школѣ внушались привычки умѣренности и чтобъ ему былъ уясненъ весь вредъ злоупотребленія спиртными напитками. Уроки о вредѣ пьянства не составляютъ самостоятельной части программы. Бесѣды объ этомъ вводятся въ уроки по гигіенѣ, естествовѣдѣнію и морали. Конечно, нельзя думать, что школа можетъ искоренить зло; на это не надѣются и лица, направляющія дѣятельность школъ; они говорятъ: „Достаточно, если ребенокъ будетъ предупрежденъ и если онъ будетъ сознавать вредъ и опасность пьянства“.

Преподаваніе исторіи.

Преподаваніе исторіи во французскихъ народныхъ школахъ возбуждаетъ критику у многихъ, стоящихъ близко къ дѣлу народнаго образованія. Память учениковъ излишне наполняется годами, историческими анекдотами, мелкими фактами, и предметъ сводится скорѣе къ исторіи царей, нежели къ исторіи народовъ. Критикующіе выражаютъ желаніе, чтобы на урокахъ исторіи дѣти знакомились съ тѣмъ

какъ народъ медленно приближался къ пользованію своими правами, и чтобъ исторія воспитывала въ духѣ демократіи и республики. Нашъ личный опытъ показалъ намъ, что преподаваніе исторіи во французскихъ школахъ, какъ литературы и морали, страдаетъ нѣкоторою поверхностностью и поспѣшностью. Слушая въ классѣ отвѣтъ, спрашиваешь себя: дѣйствительно ли ученики поняли то, о чемъ говорится, или они только на лету схватили и удержали въ памяти? Сколько намъ ни пришлось видѣть и слушать уроки французскихъ учителей и учительницъ—всѣ они удивляли насъ своей живостью, ясными и остроумными объясненіями; казалось, что труднаго для нихъ нѣтъ, хотя, съ другой стороны, являлась мысль, что трудное въ ихъ объясненіяхъ дѣлается легкимъ отчасти потому, что объясненія болѣе скользятъ поверху, опираясь на остроумныя сравненія и сближенія, нежели уходятъ въ глубь вещей. Учителя вполнѣ соотвѣтствуютъ натурѣ и духовному строю учениковъ. Безъ сомнѣнія, и во Франціи есть вялые и тупые учителя, но мы говоримъ о тѣхъ, которыхъ слушали и которые, по нашему мнѣнію, представляютъ обычный типъ французскаго учителя.

Преподаваніе пѣнія.

Пѣніе считается у французовъ предметомъ, который воспитываетъ ребенка, пробуждая въ немъ все лучшее. По выраженію Дюплана, пѣніе есть „первичное удовлетвореніе жажды идеальнаго, дремлющей въ душѣ каждаго“. Такому пониманію соотвѣтствуетъ подготовленность преподающихъ и компетентность инспекторовъ пѣнія въ начальныхъ школахъ. Среди послѣднихъ встрѣчаются извѣстные музыканты и композиторы, какъ, напримѣръ, Гуно, Юберъ (Hubert) и Базенъ (Bazin). Въ низшихъ элементарныхъ школахъ пѣніе преподаютъ школьные учителя и учительницы, но лишь по выдержаніи особаго экзамена. Въ концѣ года бываетъ конкурсъ; ученики, наиболѣе успѣшные въ пѣніи, получаютъ награду.

Преподаваніе рисованія.

Преподаваніе рисованія въ низшихъ школахъ Парижа имѣетъ свою исторію, въ которой каждый шагъ велъ не въ

сторону, а впередъ. Мы остановимся на современномъ положеніи вещей. Въ 1900 году на веденіе рисованія въ элементарныхъ школахъ было ассигновано болѣе 900.000 франковъ. Солидность суммы говоритъ, насколько важнымъ считается этотъ предметъ. Каждый годъ бываетъ выставка ученическихъ работъ. Наплывъ публики бываетъ огромный, что доказываетъ интересъ общества къ этой части школьной программы. Въ высшихъ элементарныхъ школахъ рисованіе преподаютъ спеціалисты, а въ низшихъ школахъ—школьные учителя, получающіе за уроки рисованія 800 франковъ въ годъ. Въ началѣ 90-хъ годовъ для учителей и учительницъ народныхъ школъ были открыты нормальныя школы рисованія. Лишь окончившіе курсъ такой школы допускаются къ преподаванію рисованія. До 90-хъ годовъ учителя подготовлялись къ преподаванію рисованія на временныхъ лекціяхъ, которыя организовала дирекція школъ. Контроль надъ преподаваніемъ рисованія принадлежитъ спеціальному инспектору. Обзаведеніе рисовальнаго класса на 60 учениковъ стоитъ приблизительно 1100 франковъ. Обычная величина комнаты—12 метровъ въ длину и 8 метровъ въ ширину. Освѣщеніе бываетъ часто верхнее; въ противномъ случаѣ свѣтъ падаетъ слѣва, а окна правой стороны снабжаются занавѣсами.

Ручной трудъ дѣвочекъ.

Къ ручному труду дѣвочекъ относится шитье, кройка, кулинарное искусство и прачечное мастерство, включающее и глаженье. Учительницы могутъ преподавать рукодѣліе въ своихъ школахъ лишь по окончаніи спеціальныхъ нормальныхъ курсовъ. Нерѣдки случаи, что окончившія эти курсы, шли дальше, т. е. получали дипломъ „учителя ремеслъ“, выдаваемый министромъ торговли. Вещи, которыя кроятся на нормальныхъ курсахъ, для окончательнаго шитья и отдѣлки направляются въ школы, а оттуда въ особое бюро, разсылающее сшитое по мэріямъ для раздачи бѣднымъ школьницамъ. Такъ въ 1898 году въ мэріи было разослано 1400 платьевъ. Кройка и домоводство преподаются только въ высшихъ элементарныхъ школахъ, ограничиваясь въ низшихъ шитьемъ и вязаньемъ. Практическій курсъ домоводства

имѣетъ цѣлью „пополнить теоретическія познанія, уже сообщенныя ученицамъ, указать способъ ихъ примѣненія и развить въ дѣвушкахъ искусство вести хозяйство“. Кулинарному искусству обучаетъ особая учительница, глаженью и стиркѣ— прачка; занятія ведутся подъ надзоромъ школьной учительницы. Ученицы покупаютъ провизію для заранѣе установленнаго меню, ведутъ приходо-расходную книгу, готовятъ, причемъ должны держать посуду въ чистотѣ и порядкѣ. Приготовленное съѣдается молодыми стряпухами, но хлѣбъ и вино должны быть свои. Ученицы не только стираютъ, но учатся также выводить пятна, чистить перчатки, шерстяныя и другія матеріи. Въ среднемъ полный курсъ кулинарнаго и прачечнаго искусства обходится около 620 франковъ. Ручной трудъ дѣвочекъ въ парижскихъ школахъ имѣетъ чисто практическій характеръ, подготовляя дѣвушку къ умѣнью удовлетворить потребностямъ семейной жизни.

Ручной трудъ мальчиковъ.

Мы нѣсколько долѣе остановимся на ручномъ трудѣ мальчиковъ, какъ имѣющемъ болѣе широкую постановку. Съ 1882 года ручной трудъ дѣлается въ школахъ обязательнымъ. Но Парижъ въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, опередилъ распоряженія правительства. Уже съ 1872 года стали открываться при школахъ мастерскія. Муниципальный же совѣтъ, по собственной иниціативѣ, хотѣлъ выработать руководящія начала для постановки этого дѣла. Труды комиссій, образованныхъ съ этой цѣлью, послужили подготовкой для современной организаціи ручного труда въ школахъ. Постановка ручного труда съ 1882 года по настоящее время не разъ измѣнялась. Во 1-хъ, практика показывала нѣкоторые пробѣлы и несовершенства; затѣмъ, школьныя власти внимательно прислушивались къ мнѣнію общества, и какъ только критика признавалась основательной, немедленно приступали къ реорганизаціи. Современное положеніе вещей представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Въ низшихъ элементарныхъ школахъ ученики въ мастерскихъ не работаютъ. Они занимаются въ классѣ сгибаніемъ, вырѣзываніемъ и лѣпкой. Ученики высшихъ элементарныхъ

школъ работаютъ въ мастерскихъ, занимаясь столярнымъ и слесарнымъ мастерствами.

Ручной трудъ преподаютъ учителя-ремесленники (въ мастерскихъ) и школьные учителя (въ классѣ), но только по окончаніи спеціальныхъ нормальныхъ школъ и курсовъ. Однако, учителя-ремесленники руководятъ лишь рукой ученика, а учитель даетъ имъ научныя объясненія, требуемыя извѣстной работой, являясь, такимъ образомъ руководителемъ ума, направляющаго пальцы. Въ одномъ изъ циркуляровъ, обращенномъ къ учителямъ, говорится: „не надо забывать, что преподаваніе ручного труда не имѣетъ цѣлью только развивать руку и вѣрность глаза, оно должно способствовать общему развитію ребенка". Учителя-ремесленники получаютъ отъ 2400 до 2600 франковъ въ годъ; учителя и учительницы, имѣющіе свидѣтельство объ окончаніи нормальной школы ручного труда и руководящіе работами, получаютъ добавочное содержаніе. Въ 1900 году на классы ручного труда въ народныхъ школахъ ассигновано почти 350.000 франковъ. Къ 1-му января 1900 года начальныхъ школъ съ мастерскими было 133.

Значеніе и задачи ручного труда мальчиковъ въ начальной школѣ достаточно выяснены въ министерскихъ циркулярахъ и докладѣ лица, близко стоящаго къ дѣлу. „Ничто такъ не полезно,—читаемъ мы въ докладѣ,—какъ дать понять дѣтямъ, что станокъ не можетъ обезчестить работающаго на немъ. Молодые парижане учатся этому въ школьныхъ мастерскихъ, когда они, надѣвъ рабочій фартукъ, принимаются за молотъ или пилу". А вотъ что читаемъ мы въ министерскомъ постановленіи: „Важно развивать въ ребенкѣ съ раннихъ лѣтъ ловкость, быстроту и увѣренность движеній, которыя, полезныя для всѣхъ, особенно необходимы ученикамъ народныхъ школъ, которыхъ ожидаетъ въ большинствѣ случаевъ ручной трудъ".

Физическое воспитаніе.

Съ 1898 года гимнастика служитъ единственнымъ средствомъ физическаго воспитанія во французскихъ народныхъ школахъ; она признана наилучшимъ средствомъ, укрѣпляющимъ тѣло и воспитывающимъ духъ дисциплины.

Однако, было время, когда это значеніе гимнастики оспаривали такъ называемые „школьные батальоны“ и „школьныя игры“. Отъ первыхъ остались одни воспоминанія о миніатюрныхъ парадахъ школьниковъ въ день національнаго праздника (14 іюля). Учащіе составили сильнѣйшую оппозицію играмъ и школьнымъ батальонамъ, которые выбиваютъ ученика изъ колеи, нарушаютъ дисциплину и, кромѣ того, вся эта шумиха парадовъ и приготовленій къ нимъ съ ружьями, барабанами и т. д. наносила даже ущербъ школьнымъ занятіямъ. „Школьные батальоны“ были уничтожены, оставались школьныя игры. Изъ 180 директоровъ, опрошенныхъ по этому поводу, 173 высказались за гимнастику и противъ игръ, которыя и были прекращены съ 1898 года, хотя и теперь еще имѣютъ своихъ защитниковъ. Въ настоящее время гимнастику въ народныхъ школахъ преподаютъ или особые учителя, или школьный учащій персоналъ, имѣющій свидѣтельство о правѣ преподаванія гимнастики. Программа предмета проста; въ нее входятъ движенія, развивающія гибкость и ловкость, упражненія съ ружьемъ, боксъ, плаванье (на сушѣ) и спеціально для дѣвочекъ танцы.

Наказанія, награды и каникулы.

Наказанія, которымъ народный учитель можетъ подвергнуть учениковъ, строго опредѣлены школьными постановленіями. Къ дозволеннымъ наказаніямъ относятся:

1) плохая отмѣтка; 2) выговоръ; 3) лишеніе рекреаціи; 4) задержаніе послѣ класса; 5) работа, данная сверхъ положеннаго; 6) временное или окончательное исключеніе. Послѣдняя мѣра допускается лишь съ разрѣшенія инспектора и муниципальнаго совѣта и предпринимается въ самыхъ важныхъ случаяхъ, а именно—когда ученикъ грозитъ опасностью нравственности остальныхъ. Постановленія строго запрещаютъ тѣлесныя наказанія и всякій актъ грубости и насилія надъ учащимися.

Въ вопросѣ о наградахъ проявляется отеческая заботливость городского управленія по отношенію школьниковъ: дѣлается все, чтобы поощрить учащихся и дать извѣстную санкцію ихъ работѣ. Въ январѣ раздаются награды успѣш-

нымъ ученикамъ. Образцы наградъ собраны въ педагогическомъ музеѣ, гдѣ ихъ и выбираютъ директора и директриссы по своему усмотрѣнію. На покупку наградъ полагается въ среднемъ 30 сантимовъ на человѣка; затѣмъ, на годичномъ конкурсѣ дикціи лауреаты получаютъ по 40 франковъ изъ сберегательной школьной кассы. По окончаніи выходныхъ экзаменовъ лучшіе получаютъ опять-таки по 40 франковъ изъ той же кассы и награду въ видѣ книги.

Лѣтніе каникулы въ начальныхъ школахъ продолжаются 8 недѣль. Вопросъ о лѣтнихъ каникулахъ французскихъ учебныхъ заведеній есть одинъ изъ тѣхъ, которые могутъ возбудить совершенно справедливую критику. Къ 14 іюля свидѣтельства и награды розданы; ученики теряютъ охоту учиться, покончивъ, такъ сказать, свои разсчеты со школой; къ этому присоединяется невыносимая жара, которая стоитъ въ Парижѣ въ іюнѣ и іюлѣ. Въ 1895 году министръ народнаго просвѣщенія выразилъ желаніе ввести хотя бы временную реформу: отпускать учениковъ 14 іюля и начинать занятія въ половинѣ сентября. Однако, департаментскій совѣтъ высказался самымъ рѣшительнымъ образомъ противъ подобнаго измѣненія. Такое отношеніе департаментскаго совѣта къ предложенію реформы можно объяснить боязнью идти наперекоръ установившимся традиціямъ. Кромѣ того, измѣненіе срока лѣтнихъ каникулъ въ народныхъ школахъ естественно повлекло бы такое же измѣненіе въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ,—что значительно осложнило бы вопросъ. Какъ бы то ни было, несмотря на справедливую критику, положеніе вещей пока остается прежнимъ. Мнѣ пришлось присутствовать на урокѣ въ одномъ женскомъ лицеѣ въ началѣ іюня. Жара стояла невыносимая; въ классѣ было по крайней мѣрѣ 25°; чрезъ открытыя окна былъ виденъ школьный дворъ и каштаны въ полномъ цвѣту. Съ улицы глухо доносился шумъ экипажей и голосовъ. Тамъ чувствовалась жизнь и бодрое движеніе, а въ классѣ было душно, скучно, урокъ шелъ вяло. Учительница, видимо, чувствовала подавленное состояніе ученицъ; желая во что бы то ни стало преодолѣть вялость аудиторіи, она добросовѣстно вела урокъ, обливаясь потомъ, и все-таки ничего не достигая. Учителя и учительницы го-

ворили мнѣ, что школьныя постановленія въ вопросѣ о лѣтнихъ каникулахъ считаются со вкусами и привычками общества. Не поѣхать на морскія купанья или не поохотиться—это является для французскаго буржуа чѣмъ-то невозможнымъ. Желая удовлетворить любителей купаній и охотниковъ, срокъ лѣтнихъ каникулъ установили съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы родители, не разлучаясь съ дѣтьми, могли отбыть и повинность морскихъ купаній, и захватить хотя бы начало сезона охоты.

Надо признать, что если родители удовлетворены, то дѣти страдаютъ—и особенно городскіе школьники, подавляющее большинство которыхъ принадлежитъ къ семьямъ, даже не мечтающимъ ни о купаньяхъ, ни объ охотѣ.

Выпускные экзамены.

Экзаменаціонную комиссію составляютъ инспекторъ начальныхъ училищъ, (предсѣдатель) кантональный депутатъ, директора и директриссы, но не той школы, гдѣ производится экзаменъ. Экзамены бываютъ письменные (диктовка, рѣшеніе задачъ и экзаменъ по рисованію) и устные—по исторіи, географіи и мотивированному чтенію. Высшій баллъ—10. Получившіе по письменнымъ работамъ въ суммѣ менѣе 25 къ устнымъ экзаменамъ не допускаются. Замѣчено, что уровень познаній изъ года въ годъ понижается, что, между прочимъ, объясняется раннимъ возрастомъ экзаменующихся. Въ настоящее время школьныя власти озабочены тѣмъ, чтобы нѣсколько затруднить полученіе свидѣтельства и чтобы экзамены не были пустой формальностью. Такъ, муниципальный совѣтъ уже получилъ отъ директора начальныхъ училищъ оффиціальное обѣщаніе приступить къ желательной перемѣнѣ. Въ связи съ выпускными экзаменами нельзя не упомянуть о конкурренціи между школами; каждая хочетъ представить къ экзамену наибольшее количество учениковъ. Учителями овладѣваетъ лихорадка. „Побольше выпускныхъ“—вотъ ихъ весенняя мечта, которой нерѣдко приносится въ жертву нормальный ходъ школьныхъ занятій.

Намѣченныхъ кандидатовъ шлифуютъ, муштруютъ, под-

гоняютъ. Безъ сомнѣнія, это поспѣшное подготовленіе, почти вынужденное, утомляя дѣтей, вовсе не имѣетъ результатомъ прочнаго усвоенія знаній. Подобную экзаменаціонную лихорадку мы видимъ у преподавателей и другихъ странъ; причина лежитъ въ природѣ человѣка, въ данномъ случаѣ—въ профессіональномъ честолюбіи учителей. Пока существуютъ экзамены, врядъ ли это зло можетъ быть искоренено.

Заключеніе.

При оцѣнкѣ французской народной школы необходимо отдѣлить внѣшнюю сторону отъ того духа, которымъ проникнута внутренняя жизнь школы—теоретическія начинанія отъ ихъ практическаго примѣненія. Съ внѣшней стороны все обстоитъ блестяще. Въ періодъ 1883—1893 годовъ на постройку школьныхъ зданій истрачено 148 милліоновъ франковъ. Въ частности въ Парижѣ на начальное образованіе въ 1900 году было ассигновано 31 слишкомъ милліонъ франковъ. Число учащихся въ свѣтскихъ начальныхъ школахъ въ 1896 году выразилось цифрой 4 милліона. При этихъ цифрахъ комментаріи, повидимому, излишни. Краснорѣчивой къ нимъ иллюстраціей служатъ роскошныя школьныя зданія съ прекрасными площадками для игръ, съ цвѣтниками, съ мастерскими, превосходными рисовальными классами и съ школьными столовыми.

Какъ читатель могъ видѣть изъ очерка, вопросъ, выдвигаемый жизнью, сейчасъ же подвергается обсужденію, непосредственными результатами котораго являются реформы. Изъ обзора, напримѣръ, парижскихъ школъ видно, что въ ихъ жизни были мѣры, принятыя наощупь, были слишкомъ поспѣшныя рѣшенія и ошибки. Нельзя не признать, что лучше стремиться впередъ, хотя бы цѣной нѣкоторыхъ ошибокъ, нежели непоколебимо охранять разъ принятыя формы, несмотря на ихъ видимыя несовершенства. Руководители французскихъ народныхъ школъ признаютъ, что застой въ дѣлѣ народнаго образованія невозможенъ, что школа должна идти рука объ руку съ наростающими соціальными потребностями и въ нихъ искать руководства для введенія новаго

или возстановленія стараго. Все это несомнѣнные плюсы. Но какъ только мы коснемся программы и духа, которымъ проникнуто преподаваніе,—мы сейчасъ же встрѣчаемся съ значительными минусами. Мораль должна быть признана неудачной частью программы. Къ недостаткамъ приходится также отнести поверхностность и излишнюю бѣглость сообщаемыхъ знаній, время лѣтнихъ каникулъ, денежныя награды за успѣхи и то гоненіе, которому подвергаются школьныя игры.

Какъ мы уже говорили, объясненіе всѣхъ этихъ недочетовъ нужно искать въ характерѣ націи и въ уровнѣ развитія и идейности учителя.

Французъ остроуменъ и смѣлъ въ полетахъ своей мысли, причемъ смѣлъ насчетъ глубины; онъ воспріимчивъ, но полонъ противорѣчій; въ немъ способность увлекаться уживается съ большой практичностью: типъ „рантье“ не буржуазный, а общефранцузскій; несмотря на воспріимчивость и живость, французъ по природѣ изрядный рутинеръ: рутинны основы ихъ брака, семьи, воспитанія, рутинна и ихъ школа. Обладая изящнымъ вкусомъ, французы чрезмѣрно любятъ внѣшній блескъ. Ордена, форма, парады, все картинное, эффектное опьяняетъ француза. Не рѣдкость услыхать изъ устъ какого-нибудь болѣе или менѣе уравновѣшеннаго парижанина презрительный отзывъ о своихъ соотечественникахъ: „О, мы любимъ перья на каскахъ“. (Oh, nous aimous le panache“). Подъ этимъ надо подразумѣвать очень многое. Лихорадочная жизнь Парижа, гдѣ съ головокружительной быстротой чередуются событія, направленія и новости изъ всевозможныхъ сферъ человѣческой дѣятельности—эта жизнь мѣшаетъ ординарному человѣку сосредоточиться на чемъ-нибудь одномъ. Французы отлично усвоили важность въ школахъ обилія воздуха, свѣта и простора; это, наконецъ, удовлетворяетъ ихъ любовь къ комфорту. Въ результатѣ—великолѣпныя школьныя зданія. Интересующіеся дѣломъ народнаго образованія теоретически стоятъ на высотѣ положенія: ихъ понятія о значеніи народной школы, о томъ, что школа должна идти рука объ руку съ жизнью, съ нарождающимися соціальными потребностями,—эти понятія—послѣднее слово культуры. Однако, въ примѣненіи прогрессивныхъ тео-

рій французы остаются французами. При школахъ устроены отличныя площадки для игръ, но физическія игры, какъ средство воспитательное, подвергаются гоненіямъ. За успѣхи награждаютъ деньгами; взрослые рантье поощряютъ нарожденіе юныхъ. Время лѣтнихъ каникулъ приносится въ жертву традиціоннымъ буржуазнымъ привычкамъ. Программы обширны и широки, но преподаваніе ведется съ излишней легкостью и поверхностностью. Увлеченіе политической борьбой партій внесло въ программу совершенно неудачный, нежизненный предметъ—мораль въ опредѣленные дни и часы. Обвинить французскую школу въ томъ, что она отстала отъ требованій общества, было бы, по моему, совершенно несправедливо: каковъ попъ, таковъ и приходъ. Мнѣ вспоминается, какъ два года тому назадъ, навѣстивъ своихъ друзей-французовъ, я поинтересовалась уроками ихъ 7-милѣтней дочери. Она приготовляла урокъ ариѳметики. Я увидала длинный столбецъ слагаемыхъ, написанный, очевидно, рукой учительницы; дѣвочка, шепча обычное: „8 да 4 = 12; 2 пишу, одинъ въ умѣ“, выводила робко сумму. Изъ разспросовъ ея и изъ разговоровъ съ матерью я заключила, что устный счетъ, какъ онъ практикуется у насъ, дѣвочкѣ былъ неизвѣстенъ: ее учили по методу, царившему у насъ добрыхъ 20 лѣтъ тому назадъ. Семья, о которой идетъ рѣчь, очень интеллигентная и болѣе чѣмъ состоятельная. Что касается физическихъ игръ, онѣ тоже не въ духѣ французскаго воспитанія. Дѣтей оберегаютъ отъ зноя, излишняго холода, сырости; прогулкамъ отдается мало времени; дѣти наполняютъ парки и сады, вооруженныя неизбѣжными мячами и скакалками. Такъ смотрятъ на физическое воспитаніе родители того класса и развитія, при которыхъ у насъ, напримѣръ, значеніе физическихъ игръ на воздухѣ считается неоспоримымъ. Французскій учитель, во 1-хъ, французъ со всѣми національными чертами характера. Съ другой стороны, политическія, общественныя и экономическія условія французской жизни таковы, что учитель не видитъ въ дѣлѣ обученія народа какого-то подвига, требующаго особеннаго напряженія альтруистическихъ чувствъ; преподаваніе скорѣе является для него службой, какъ всякая иная. Это не значитъ, разумѣется, что среди французскихъ учителей нѣтъ людей, любящихъ свое дѣло.

Переходя въ частности къ учительницамъ, необходимо имѣть въ виду общій уровень развитія французскихъ женщинъ. До основанія женскихъ лицеевъ,—а эти учрежденія еще очень молодыя,—французская женщина училась или дома, или въ монастырѣ, или въ частныхъ пансіонахъ. Сумма свѣдѣній, сообщавшихся имъ, была очень скромная. Чтобы получить право преподавать, надо выдержать правительственный экзаменъ; но одинъ экзаменъ, какъ извѣстно, не есть и не можетъ быть точнымъ показателемъ не только знаній, а и развитія. Прибавимъ къ этому, что получить мѣсто, особенно въ Парижѣ, безъ протекціи очень трудно, почти невозможно, что говорятъ и сами учащіе. Такое положеніе вещей должно понижать уровень преподающихъ.

За недостатками французской школы было бы несправедливо забыть о достоинствахъ. Вспомнимъ, что деревушка, имѣющая не менѣе 20 человѣкъ дѣтей школьнаго возраста, уже имѣетъ школу; на дѣло народнаго образованія тратятся огромныя суммы; учащіе имѣютъ голосъ въ обсужденіи школьныхъ вопросовъ и, что очень важно, руководящіе дѣломъ народнаго образованія на словахъ и на дѣлѣ доказываютъ, что школа должна быть чужда застою, идя наравнѣ съ жизнью. Строгая критика французской школы находитъ себѣ оправданіе въ изреченіи: „Кому много дано, съ того и спросится много“; а что французамъ много дано, доказываютъ ихъ знаменитые дѣятели въ области искусствъ и наукъ.

С. Елеонскій.

ПОДПАСОКЪ.

Когда безродному Петькѣ стукнуло одиннадцать лѣтъ, ему сказали: „Паси!“—и отдали подъ начало къ пастуху Пиманычу.

Пиманычъ, еще не дряхлый старикъ, вручая новому подпаску длинный, смоленый около ручки кнутъ, въ присутствіи другого подпаска Васьки, уже достаточно обученнаго дѣлу въ прошлое лѣто, внушалъ:

— Пуще всего, Петька, доглядывай, чтобы стадо не зашло въ господское поле или въ луга. Загонитъ тогда баринъ нашихъ коровешекъ въ свой хлѣвъ и поминай ихъ, какъ звали. Баринъ строгій, засудитъ, за потраву штрафъ возьметъ такой, что всю жизнь не раздѣлаешься. Всему міру будетъ горе, а намъ съ тобой чистая петля. У него, у барина-то, въ конторѣ объявлена за потраву такса—съ каждой головы по пять цѣлковыхъ. Всѣ это знаютъ, и въ волостномъ правленіи вывѣшено. А всѣхъ головъ у насъ четыреста штукъ, съ овцами и со свиньями. Посчитай-ка, какая суйма выходитъ...

Петька два года ходилъ въ школу и живо сообразилъ:

— Двѣ тыщи цѣлковыхъ.

— То-то... Шутка ли?..

— А сколь каждая корова стоитъ?—интересовался новый пастушонокъ.

— Примѣрно, рублей двадцать въ округахъ.

— Это, Пиманычъ, если мы упустимъ стадо, то, значитъ, сто штукъ пропадетъ.

— Пропасть не пропадетъ, всѣ цѣлы будутъ, только штрафъ заплати...

— А не все ли равно—что коровами откупиться, что деньгами?

— Это ты про что толкуешь?—спрашивалъ Пиманычъ, вглядываясь въ смышленое лицо босого мальчишки.

— Про то, молъ, что двѣ тыщи рублей заплатить, что сто коровъ отдать—одна стать...

Васька широко раскрылъ глаза, чувствуя удовольствіе, что и его мысли проясняются отъ словъ товарища.

— А, да... ну, это такъ... — проговорилъ Пиманычъ съ улыбкой, понюхалъ табачку и продолжалъ: — Рифметика... значитъ, понимаешь дѣло, малецъ, вотъ и береги скотинку. Знай, что всякую минуту на насъ смотрятъ то баринъ, то барыня, то барченокъ, то барышня, то конторщикъ...

— А чего имъ видно за четыре-то версты?—возражалъ Петька.

— Все видно,—сказалъ Пиманычъ, а Васька дополнилъ:

— У нихъ такая труба есть, подзорная, далеко хватаетъ: наставятъ и все, какъ на ладони. Баютъ, что ежели на мѣсяцъ навести ее, такъ видно, какъ Каинъ Авеля убиваетъ.

— Такъ вотъ, ребятушки, какіе у нихъ снаряды: Каинъ не прокрадется, не то что какая-нибудь супоросая свинья... значитъ, гляди въ оба. Не дай Богъ грѣху случиться. Міръ, конечно, великъ человѣкъ, штрафъ заплатитъ, а мы отрабатывай потомъ... двѣ тыщи-то рублей. Тутъ сколь годовъ надо работать?

— А ты сколь получаешь?—спросилъ Петя.

— Пятишницу въ мѣсяцъ,—отвѣтилъ за него Вася.

— Значитъ, за двѣсти рублей долженъ служить три года съ третью, а за двѣ тысячи... тридцать три года...

— За двѣсти рублевъ три года? Чего мало насчиталъ?—возражалъ пастухъ.

— Нѣтъ, такъ...

— Тридцать рублевъ за лѣто,—вотъ какъ считай... въ десять лѣтъ я получу триста...

— Тогда дѣло другое... Тогда ты за двѣ тыщи рублей долженъ служить шестьдесять шесть лѣтъ съ чѣмъ-то...

— А мнѣ сейчасъ пятьдесятъ два... Сколько же тогда будетъ?

— Сто шешнадцать...

— Ого! Не дожить... Значитъ, вамъ придется отвѣчать,— стращалъ Пиманычъ:—Я-то умру, и косточки сгніютъ, а вы все будете пастухами, и на дѣтей вашихъ хватитъ пасти, ежели женаты будете. Только врядъ ли придется вамъ жениться. Какая дура пойдетъ за вѣчнаго пастуха? Такъ и будете маяться весь вѣкъ... Ну, пишша будетъ мірская, какъ и теперь, а жалованья ни гроша. Обноситесь хуже послѣдняго нищаго, и никто не пожалѣетъ... по тому самому, что сами виноваты... Такъ-то, голубчики... Ежель прокараулите, свадьбѣ вашей не бывать. Изъ-за чего я весь вѣкъ пастухомъ-то? Вотъ о вашу же пору подпаскомъ я былъ у Еремѣича, вы его не помните,—Килой звали... Такъ этакъ же разъ продрыхли мы, а стадо-то ушло въ аржаное цѣликомъ... Ну, и пороли же насъ на сходѣ потомъ... Еремѣичу триста штукъ всыпали, а мнѣ полтораста... за каждую животину по одной лозѣ... Какъ только живы остались!.. То-то, молодцы, дѣло сурьезное, шутить имъ нельзя... вздохнулъ Пиманычъ; вздохнули за нимъ и ребята...

И пасъ Петя старательно, съ опаскою. Трудно было. Ужъ на что, живучи съ пеленокъ въ чужихъ людяхъ, терпѣливъ онъ былъ на счетъ всего, но случалось — зарядитъ дождь, нитки сухой не оставитъ, до костей промочитъ, а укрыться нельзя—эти свиньи проклятые въ дождикъ разбѣгаются, лови ихъ, а вѣтеръ по всѣмъ дырамъ одеженку поддуваетъ,—такъ и застучитъ зубами Петька и ничѣмъ не согрѣется потомъ около костра.

— Зз...ббб...

И спрашиваетъ тогда Пиманычъ сироту:

— Ты что, Петька?

— Чижало, Пиманычъ...

— То-то, чижало... Лопать-то*) на тебѣ совсѣмъ того — одно понятіе... подгуляло очень... на свиньѣ щетина лучше грѣетъ...

Вздохнетъ Петя, а Вася прибавитъ:

— Это еще что—цвѣтики! а ягодки впереди... Погоди, вотъ осень придетъ, заморозки начнутся, тогда у-у! — и Васька заежился отъ представленія осенней стужи.

---

*) Одежда и обувь.

— Да, это правильно,—подтверждалъ Пиманычъ.—Я на что привыченъ къ холоду, а и то не могу стерпѣть конца осени. Рано тогда домой и стадо пригоняемъ, а бабы ругаются: „Чего рано пригнали стадо?“ — „Поди-ка, сама попаси, ядреная!“ скажешь иной Аленѣ... Сиверка! Зима да и полно, только снѣгу не достаетъ.

И холоднѣе становится Петѣ, ужасъ забирается въ его душу: неужто еще холоднѣе теперешняго будетъ? Но Пиманычъ утѣшалъ:

— Погоди, дай срокъ, я міру скажу, чтобы тебѣ полушубокъ дубленый да онучи обуродовали... А лапти я те новые сплету...

— Эхъ, кабы дали!.. жаждалъ Петя.—Лучше бы хлѣба меньше, а одеженку бы справили... Студено, Пиманычъ, безъ одежи-то.

— Ну, еще бы!.. А ты ближе садись къ костру, между нами... вотъ такъ... а ноги въ золу... а спину я те прикрою зипуномъ... этакъ будетъ хорошо...

Были, впрочемъ, и счастливыя минуты у пастушатъ... Это—когда стадо на стойлѣ въ тихій знойный день. Скотинка поляжется,—которая на пескѣ, которая на лугу, свиньи въ болотѣ, а иная телушка въ рѣчку зайдетъ по вымя и смотрится въ воду, любуется собой, шельма... какъ барышня въ зеркало... Сварятъ картошку въ котелкѣ пастухи, иногда гольцовъ наловятъ рѣшетомъ, пискарей, поѣдятъ ухи съ лукомъ—важное хлѣбово!.. Послѣ того Петя съ Васей дудокъ надѣлаютъ изъ тростника, звонкихъ гудковъ, концы обмотаютъ берестяною длинной лентой, свернувъ ее воронкой, чтобы громче пѣли, а то иная корова рога сброситъ — такъ и ихъ Петя къ дѣлу приладитъ,—еще лучше играютъ тростянки... И заливаются пастушата въ дудочки и всякія рулады выдѣлываютъ: и вверхъ, и внизъ, и за одно, и врозь, впрочемъ, больше трехъ нотъ такой инструментъ не подымаетъ, но лучше не надо... О гармоніи имъ рано было думать, да гармонія для пастуха въ сущности неподходящая затѣя, ибо безродный пастушенокъ—тотъ же нищій, только безъ сумы,—къ чему гармонія?.. Приходили на стойло иногда сверстники—поповъ сынокъ Сережа долгоушій, просвирникъ Мишанька и другіе — купаться, и тутъ-то удовольствіе! Ся-

дутъ всѣ въ кружокъ на бугорочкѣ, обопрутся локтями на колѣна, надуютъ чумазыя щеки пузыремъ и засмаливаютъ... часа по два безъ передышки дудятъ, пока язычекъ у дудочекъ не обломится. А Пиманычъ о ту пору подъ музыку сладко спитъ въ шалашѣ, и все стадо тихо дремлетъ, помахивая хвостами.

Дружилъ Петя съ товарищами, особенно съ Сережей-поповичемъ, лучшія дудочки ему отдавалъ. Попадья не противилась этой дружбѣ, разъ даже подарила Петѣ красную поношенную Сережину рубашку, но, къ сожалѣнію, эту рубашку не пришлось носить. Пестрый быкъ-бодунъ, какъ увидѣлъ ее на немъ, поднялъ хвостъ, выпучилъ глаза, уперъ толстую морду и копыта въ землю, запылилъ ногами и какъ зареветъ, точно изъ дубоваго боченка. Пиманычъ прямо сказалъ:

— Ну, Петька, лучше сыми рубаху отъ грѣха и не носи больше, а то живо онъ те на рога посадитъ.

— До зимы, видно, придется поблюсти,—согласился Петя, укладывая рубашку въ пиманычевъ кошель.

— Дурашный онъ у насъ, быкъ-то, — говаривалъ Пиманычъ.—За нимъ глядѣть, да глядѣть...

И дѣйствительно, непутевая скверная скотинка была этотъ быкъ... Уставитъ буркалы на красную крышу господской усадьбы и реветъ... съ полчаса реветъ—о чемъ? поди, разбери, самъ толкомъ не знаетъ... А то упрется рогами въ муравьиную кучу и кружится на одномъ мѣстѣ, какъ привязанный и все: бу-бу!.. Такъ, дуракъ... Сладу съ нимъ никакого. Все норовитъ въ поле забраться... И били его, и здорово били волокушами, все не унимается. Разъ даже на господское поле забрался. Хорошо—еще барскіе караульщики проворонили, а то было бы дѣло... Тогда Пиманычъ строго-на-строго наказалъ никому про то не болтать — ни Сережѣ долгоушему, ни Мишанькѣ просвиднику:

— Дойдетъ до барина—бѣда!

И ребята крѣпко блюли тайну.

Часто по ночамъ Петя ворочался съ боку на бокъ отъ новыхъ непривычныхъ заботъ и думъ, вскакивалъ и кричалъ спросонья: „Быкъ, быкъ, быкъ!..“ Да, измѣнилась его жизнь. Дотолѣ онъ не зналъ, что такое враги на бѣломъ свѣтѣ, и

хотя не сладко было сиротѣ въ чужихъ людяхъ, но дастъ тетка Матрена подзатыльникъ и дѣло съ концомъ, все-таки душу ничто не бременило. А теперь, какъ взялся за мірское дѣло, сразу враги появились: быкъ-дуракъ, непозволявшій носить кумачевую рубашку, хитроумная господская труба, да поле, да луга, лѣсъ... Ну, быкъ и раньше не былъ пріятелемъ. Помнитъ Петька, когда еще не пасъ стадо, тетка Матрена такъ оттаскала его за вихры, что съ тѣхъ поръ прошла охота дразнить быка и укорять его въ невѣжествѣ! Но зачѣмъ теперь поле такъ ненавистно? луга — гдѣ онъ раньше собиралъ цвѣты и откапывалъ шмелиный медъ? лѣсъ, гдѣ ягоды?.. Зачѣмъ подзорная труба, про которую столько чудеснаго разсказывалъ учитель въ прошлую зиму, будоражила Петю? И Петя разъ на мечту Васьки: „Эхъ, поглядѣть бы, какъ Каинъ-то Авеля"...—съ озлобленіемъ отвѣтилъ: „А ну ее къ чорту, одноглазую!" и готовъ былъ бросить камнемъ въ ея свѣтящійся золотой ободокъ, высматривавшій изъ барскихъ хоромъ предательскимъ окомъ... Да, все перемѣнилось, поиначе переставилось передъ умственнымъ взоромъ Петяшки, маленькая голова котораго работала теперь въ смыслѣ освобожденія себя отъ враговъ.

— И что̀ бы міру не продать этого бодуна и купить бы смирнаго?

— Ну, это не твоего ума дѣло, Петрунька,—полагалъ конецъ размышленіямъ Пиманычъ, знавшій не только о недостаткахъ быка, но и о достоинствахъ, спеціально бычьихъ.

— А чтобы поле не обгородить? — пытался рѣшить вопросъ Петька, измученный бѣготней за быкомъ.

— Обгораживай, коли охота.—И, воткнувши кочедыкъ въ лапоть, Пиманычъ поднималъ голову и рѣшалъ:—Чего ты? Жердей нѣтъ.

— У барина-то? Сколь хошь въ лѣсу...

— Мало ли что у барина! Ему къ чему городить?

— Потравы не будетъ.

— Потрава!.. А ему что потрава? Это намъ потрава, а онъ положилъ себѣ штрафъ въ карманъ, — сдѣлай милость, трави, сколь хошь, хоть каждый день... Барышъ ему...

— А этакъ-то развѣ живутъ?—задумчиво замѣчалъ Петя.

— Живутъ... По-всяко живутъ... Еще нарочно загоняютъ чужихъ коровъ на свое поле...

Мальчикъ задумался и не находилъ отвѣта у Пиманыча. Только книжка отвлекла его отъ горькихъ мыслей. Любилъ читать онъ. Носилъ ему книжки поповичъ Сережа—сказки разныя, басни... А разъ даже попалась ему большая книга съ картинками „Принцъ-Нищій". Хорошая сказка! духъ захватываетъ, такъ все въ ней дивно описано,—какъ это принцъ, самый настоящій принцъ, перерядился и все, все узналъ про бѣдныхъ, какъ они живутъ, и потомъ, когда опять сталъ принцемъ и сѣлъ на престолъ, больно все хорошо дѣлалъ... Дня три читалъ Петя урывками и чѣмъ ни дальше, все лучше, занятнѣй... И вотъ—въ воскресенье дѣло было—Вася ушелъ на село по хлѣбъ, а Петя прилегъ подъ тѣнь и сталъ дочитывать про Принца. Время шло; онъ зачитался, замечтался и не замѣтилъ, какъ стадо, живя своимъ временемъ, соскучилось ждать послѣдней странички Петиной книжки и побрело за пестрымъ быкомъ не въ свое мѣсто. И случился грѣхъ. Проснулся Пиманычъ, вышелъ изъ шалаша, подпоясывая поясъ, глянулъ по сторонамъ да какъ закричитъ не своимъ голосомъ:

— Петька! А гдѣ стадо-то?

„Принцъ" выпалъ изъ рукъ, оглянулся Петя, — стадо за рѣчкой, послѣдняя, попова, корова хвостъ выполоскала въ водѣ и идетъ спокойно въ барскіе луга.

— Батюшки!

И оба ринулись черезъ ручей и кричатъ: „Куда! Назадъ! Куда? Куда? Назадъ!.." Но развѣ ихъ остановишь? А тутъ съ господскаго двора примчались верховые и засвистали, и загайкали... крикъ, ругань, плачъ, стонъ стояли въ воздухѣ. Настоящая битва,— одни гонятъ въ рѣчку, другіе изъ рѣчки. Ошалѣла скотина, засонѣла, зафыркало стадо, подняли коровы хвосты, свиньи — морды и съ ревомъ разбѣжались по лугамъ... И что могли сдѣлать пѣшіе пастухи съ двумя кнутами, когда противъ нихъ дѣйствовали нагайками на коняхъ барскіе работники, человѣкъ пять, и погнали стадо на господскую усадьбу! Пиманычъ замоталъ на кнутникъ кнутъ свой ременный и шелъ за стадомъ, понуря голову; за нимъ плелся Васька съ хлѣбушкомъ. А Петя рвалъ на себѣ волосы, за-

бѣгалъ впередъ противъ стада, пытался вернуть коровъ, но одинъ работникъ ожегъ его нагайкой по спинѣ, и онъ отлетѣлъ въ сторону, перевернувшись по землѣ разъ пять.

Баринъ стоялъ на дворѣ и лично командовалъ, куда загонять скотъ. Передъ нимъ метался, обливаясь слезами, распростертый по землѣ Петя:

— Баринъ! отпусти Христа ради! Баринъ! Милый баринъ! Не гу-уби!

— Ишь ты! Нѣтъ, любезный, чужіе луга травить не полагается.

— Баринъ! лучше убей меня, убей, а коровушекъ отпусти!

— Отвяжись.

Къ усадьбѣ бѣжали со всего села бабы, мужики, ребята въ праздничныхъ нарядахъ, кричали, умоляли, рвались въ усадьбу, но ворота были крѣпко заперты на замокъ. Баринъ велѣлъ запереть скотъ и, указывая на Петьку, процѣдилъ сквозь зубы:

— А этого выбросить за ворота.

Дворникъ толкалъ Петьку къ выходу. Взглянулъ Петя на толпу, замеръ, зашатался, какъ осужденный на смерть. Въ сотняхъ сверкавшихъ изъ-за проволочной рѣшетки глазъ онъ прочелъ себѣ нѣмой приговоръ,—суровый, жесткій, неумолимый, но въ то же время и по сознанію самого виновнаго—справедливый, неизбѣжный.

— Шкуру съ него содрать!—слышалось изъ толпы.

— Убить его мало, пащенка, крапивника!—шипѣлъ чей-то бабій голосъ.

Что ждало Петю, онъ мало думалъ,—онъ видѣлъ, какую бѣду сдѣлалъ, какое несчастье всѣмъ принесъ и не находилъ средства поправить горе. Не боялся онъ порки: — что порка! за дѣло она! Но и она не искупитъ всей вины. Какое наказаніе не придумай, все равно оно мало будетъ. Его грызла совѣсть, онъ не могъ смотрѣть на толпу, не могъ идти туда, гдѣ наступала съ каждымъ его шагомъ зловѣщая тишина. Вдругъ онъ рванулся изъ рукъ дворника и, пробормотавши безсвязно: „Двѣ тысячи—весь вѣкъ... двѣ тысячи—весь вѣкъ...“ — бросился въ овражекъ къ господской банѣ, стоявшей подъ старой дуплястой ветлой.

— Не спрячешься! — произнесъ вслѣдъ дворникъ, но не погнался, а заговорилъ съ мужиками:—Полстада попало.

Мужики собрались на сходъ, позвали Пиманыча и Ваську на судъ, а главный виновникъ не являлся. Пиманычу и Васькѣ присудили всыпать по двадцати одной лозѣ, высшей мѣрѣ наказанія.

— А Петькѣ сколько?

— А ему, мерзавцу, надо бы штукъ сотню, чтобы напредки помнилъ, какъ стадо упускать. Шутка ли—такой штрафъ!

Также рѣшено было отрядить стариковъ просить у барина милости насчетъ штрафа.

— Нельзя же по таксѣ, а чехомъ — ну рублей пятьдесятъ,—галдѣла толпа.—А то разоръ!..

Но не успѣли старики еще подойти къ господской усадьбѣ, какъ ворота отворились, и стадо стало выходить. Только пестрый быкъ ревѣлъ среди двора, не хотѣлъ уходить и точно звалъ назадъ коровъ.

— Что за притча? Смотри-ко-ся,—радовались старики:—выпустилъ даромъ, безъ штрафу. Неужто Петька умолилъ?

— Задавился онъ... Петька-то,—глухо отозвался господскій дворникъ:—тамъ вонъ подъ ветлой виситъ на кнутѣ...

Мужики сняли шапки и перекрестились. Коровы, не слыша за собой хлопающаго кнута и звонкаго голоса пастушенка, повертывались и ревѣли.

Такъ Петя спасъ свое стадо.

Д. Жбанковъ.

О тѣлесныхъ наказаніяхъ въ начальныхъ школахъ *).

Не болѣе 40 лѣтъ отдѣляетъ насъ отъ того времени, когда „мудрено было прожить въ Московскомъ государствѣ безъ битья“, когда черезъ многихъ, по выраженію поэта, „прошли лѣса дремучіе“... Не миновали этого позора и ужаса и всевозможныя учебныя заведенія, отъ самыхъ низшихъ до высшихъ: всюду науки вкладывались ученикамъ розгами, кулаками, линейками, палками, плетью и другими не менѣе *гуманными* способами.

Вотъ что говорятъ цифры: въ кіевскомъ учебномъ округѣ въ 1857—59 гг. подвергалось розгамъ 13—27% всѣхъ учащихся въ разныхъ гимназіяхъ, при чемъ все зависѣло отъ личнаго усмотрѣнія управлявшихъ гимназіями лицъ; такъ— въ 11 гимназіяхъ въ одномъ 1858 г. изъ 4108 учениковъ было высѣчено 560, т. е. почти $^1/_7$ всѣхъ, а въ томъ же году изъ 600 учениковъ житомирской гимназіи подвергались поркѣ 220—почти половина всѣхъ! Да еще полны ли эти свѣдѣнія, такъ какъ они представлялись попечителю учебнаго округа, извѣстному Н. И. Пирогову, стремившемуся изгнать розги изъ гимназій! Въ корпусахъ розги примѣнялись не меньше; нѣкоторые любители устраивали даже поголовное избіеніе: одинъ воспитатель З—нъ, разсердившись на кадетъ, собралъ ихъ и, желая яко бы узнать, какъ они скоро раздѣнутся и одѣнутся, приказалъ имъ раздѣться до-нага, стóя въ строю,

*) Эта статья написана еще въ концѣ 1903 года, но мы думаемъ, что она и до сихъ поръ имѣетъ извѣстный интересъ, и не только историческій, такъ какъ грубость нравовъ и извѣстные *вкусы*, привитые намъ вѣками рабства и позора, не могутъ исчезнуть сразу, и съ ними долго еще придется бороться.

схватилъ подтяжки и началъ бить всѣхъ направо и налѣво. Залъ былъ запертъ, кадетамъ некуда было спастись... и только вдоволь натѣшившись избіеніемъ, З—нъ приказалъ имъ снова одѣться, пропѣть молитву и ложиться спать. И вообще при существованіи тѣлесныхъ наказаній были возможны всякія злоупотребленія, служившія иногда для удовлетворенія дурныхъ страстей, на что правильно указалъ еще Достоевскій.

Но особенно прославились битьемъ всякаго рода духовныя семинаріи (не въ этомъ ли объясненіе того печальнаго факта, что и до сихъ поръ нѣкоторыя духовныя лица *) съ особымъ усердіемъ отстаиваютъ тѣлесныя наказанія?). Били всѣмъ и всѣ, и, что особенно развращало, имѣли право наказывать старшіе ученики—туторы; часто наказывали „десятаго", нерѣдко полкласса и больше за-разъ. Иные учителя не выносили въ своемъ классѣ несѣченныхъ; ни одинъ классъ не обходился безъ сѣченія. Драли на всякіе лады: на воздусяхъ, подъ колоколомъ, солеными розгами; число ударовъ не было ограничено,—давали по 300 и больше ударовъ, такъ что наказаннаго замертво уносили въ больницу на рукахъ... Такое воспитательное направленіе сверху передавалось и низамъ: били сторожа, всячески били и мучили, включительно до „пфимфъ", товарищи,—однимъ словомъ, бурса была настоящимъ адомъ, изъ котораго многіе выходили совершенными звѣрями или окончательно изломанными людьми. Прекрасное описаніе этого ада далъ Н. Г. Помяловскій, который самъ во время бурсы былъ наказанъ 400 разъ, почему онъ и задавалъ себѣ вопросъ: „пересѣченъ я или еще не досѣченъ?" Печальная судьба этого даровитаго человѣка служитъ прекраснымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ, позорящій всю прежнюю нашу систему *воспитанія* (?!).

---

*) Вотъ что говоритъ епископъ витебскій Серафимъ: „А кто же не знаетъ, насколько такія событія, какъ тѣлесное наказаніе, расширяютъ и проявляютъ умственный кругозоръ потерпѣвшаго, разомъ снимая съ дѣйствительности ея фальшивыя прикрасы и показывая размѣръ способности пострадавшаго къ благодушному перенесенію такихъ жестокихъ испытаній". („Полоцкія Епарх. Вѣд." 1902, № 21). Московскій митрополитъ Филаретъ, въ эпоху реформъ, высказывался также горячо за сохраненіе тѣлесныхъ наказаній.

Много распространяться о всѣхъ послѣдствіяхъ такого воспитанія въ настоящее время не приходится; достаточно указать только, что учащіе и учащіеся въ „доброе старое время“ были—буквально два враждебные лагеря; злоба, презрѣніе, ненависть, вражда, месть, доходившая иногда до изуродованія и убійства учителей,—вотъ что сѣяла старая система во время ученія, а по выходѣ изъ учебнаго заведенія вырастали роскошные плоды крѣпостничества, изувѣрства и всевозможныхъ тѣлесныхъ наказаній надъ своими дѣтьми и окружающими взрослыми. Били всѣхъ и по закону, и безъ закона,—не даромъ поэтъ увѣковѣчилъ силу властнаго кулака:

„Кулакъ—моя полиція!
Ударъ искросыпительный,
Ударъ зубодробительный,
Ударъ скуловоррротъ!..“

При такихъ общихъ вожделѣніяхъ „мудрено было прожить безъ битья“.

Но вотъ наступили великіе годы реформъ, Россія оживилась, вздохнула свободнѣе; лежавшее въ основаніи системы битья—крѣпостное право рухнуло, а вмѣстѣ съ нимъ отмѣнены и всѣ наиболѣе тяжелыя тѣлесныя наказанія. Въ учебныхъ заведеніяхъ, по крайней мѣрѣ, высшихъ и среднихъ, тѣлесныя наказанія совершенно прекратились, и если сохранились еще кое-гдѣ въ 60-хъ годахъ воздѣйствія въ родѣ разныхъ щелчковъ, ударовъ, трепанья за волосы и уши, то это были исключенія и практиковались старыми учителями, у которыхъ руки не могли уже отвыкнуть отъ доброй старой системы воспитанія. Несравненно хуже дѣло съ тѣлесными наказаніями и всякимъ рукоприкладствомъ стояло и стоитъ до сихъ поръ въ начальныхъ школахъ, и главная вина этого печальнаго положенія въ томъ, что въ 1861 и 1863 гг. не было покончено совершенно съ тѣлесными наказаніями для взрослыхъ: кромѣ военныхъ, арестантовъ, они сохранены также для главной массы населенія нашего отечества—для многомилліоннаго крестьянства. Эта несчастная ошибка повела за собой неисчислимый рядъ весьма нежелательныхъ и прискорбныхъ явленій нашей жизни: она сохранила ту *почву*, на которой возможны всякія физическія насилія и злоупотребленія силой.

Отразилась она и на школѣ. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ учащему персоналу стѣсняться въ различныхъ тѣлесныхъ воздѣйствіяхъ на учениковъ, когда даже ихъ отцы, взрослые и сѣдые братья и родственники подвергаются самому позорному тѣлесному наказанію,—наказанію, производимому иногда въ присутствіи тѣхъ же дѣтей и учениковъ? Могутъ ли тѣлесныя наказанія, примѣняемыя въ школахъ, встрѣтить какой-либо отпоръ со стороны самихъ учениковъ или ихъ родителей, когда послѣдніе сами живутъ подъ постояннымъ Дамокловымъ мечомъ—быть опозоренными передъ всей деревней и своими собственными дѣтьми? А какое вредное, развращающее вліяніе оказываетъ сѣченіе взрослыхъ на дѣтей! Въ деревнѣ одной южной губерніи былъ наказанъ жестоко одинъ крестьянинъ, до котораго давно добирался старшина, и на другой день въ той же деревнѣ былъ жестоко высѣченъ одинъ мальчикъ своими товарищами, чего раньше никогда не бывало. Одна учительница также передавала намъ, что изъ ея школы, расположенной рядомъ съ волостнымъ правленіемъ, ученики бѣгали смотрѣть на порку, а потомъ устраивали игру въ волостной судъ и порку... Естественно, ученики смотрятъ на побои въ школахъ какъ на должное и неизбѣжное, и родители ихъ, кромѣ рѣдкихъ случаевъ, не только не протестуютъ, но даже иногда сами просятъ учителей быть построже съ ихъ дѣтьми и наказывать ихъ побольше. Есть много и другихъ причинъ, почему учителя прибѣгаютъ къ тѣлеснымъ наказаніямъ,—объ этомъ мы поговоримъ ниже,—но, повторяемъ, главная причина этого грустнаго явленія, въ существованіи тѣлесныхъ наказаній для крестьянъ, и съ отмѣной ихъ вся огромная область незаконныхъ побоевъ и истязаній и взрослыхъ, и учениковъ отойдетъ мало-по-малу въ область преданій: бьющая рука не будетъ имѣть законнаго оправданія въ возможности наказывать тѣлесно и надругаться надъ людьми низшихъ сословій.

Да такъ ли уже распространены тѣлесныя наказанія въ школахъ, чтобы объ этомъ стоило говорить? Къ сожалѣнію,—да: они въ той или другой формѣ составляютъ довольно обычное явленіе. Какъ извѣстно, вѣсти изъ деревни вообще трудно доходятъ до печати, и особенно о такихъ пустякахъ, какъ наказанія школьниковъ, но тѣмъ не менѣе за послѣд-

нія 5 лѣтъ (1899—1903 гг.) мы набрали довольно значительный матеріалъ не только отдѣльныхъ фактовъ, но и указаній различныхъ дирекцій. Сообщимъ наиболѣе характерные.

Въ Бѣжецкѣ, Тверской губ. (1), надзирательница сиропитательнаго дома, бывшая учительница Г. Н. К. подвергла тѣлесному наказанію 11-лѣтняго воспитанника въ присутствіи школьныхъ воспитанниковъ и воспитанницъ. Разслѣдованіе показало жестокое обращеніе К. съ дѣтьми и въ другихъ случаяхъ. Въ Юрьевѣ, Владимірской губ. (2), учитель изъ семинаристовъ рвалъ ученикамъ уши, даже до крови, билъ ихъ линейкой; одного такъ ударилъ, что онъ безъ шапки убѣжалъ домой въ село. Важно отмѣтить отношеніе крестьянъ къ этому учителю: они срамятъ его по всему базару и говорятъ, что ему слѣдуетъ быть не учителемъ, а пастухомъ. Въ олекминской (3) церковно-приходской школѣ учитель употреблялъ розги, билъ учениковъ по рукамъ, плечамъ и головѣ; онъ такъ избилъ одного ученика, что родители обратились къ судьѣ. Въ Тюмени (4) одинъ законоучитель сильно выдралъ ученицу за уши и волосы и такъ ударилъ по головѣ, что разбилъ гребенку пополамъ. Въ барнаульскомъ домѣ призрѣнія (5) изъ 26 воспитанниковъ остались несѣченными только 4 мальчика, да и то изъ малолѣтнихъ. Въ чудовскомъ пріютѣ безпріютныхъ дѣтей въ Москвѣ (6) смотритель нанесъ тяжкіе побои 14-лѣтнему мальчику, на тѣлѣ котораго найдено болѣе 30 кровавыхъ полосъ и пятенъ. Смотритель крест. И. не отрицалъ своей виновности и привлеченъ къ суду. (Навѣрно, этотъ смотритель-крестьянинъ совершенно сбитъ съ толку: въ деревнѣ сѣкутъ даже взрослыхъ, съ разрѣшенія суда и закона, такъ неужели нельзя наказать мальчика? И никакъ, и никто не объяснитъ И. и многимъ другимъ этой несообразности, этого рокового, непримиримаго противорѣчія нашей жизни, совершенно непонятнаго для здраваго смысла и простыхъ умовъ, не изощренныхъ въ сословныхъ, юридическихъ и другихъ хитростяхъ и тонкостяхъ!) Въ колонистскихъ школахъ Новоузенскаго уѣзда, Самарской губ. (7), нѣкоторые учителя прибѣгаютъ къ тѣлеснымъ наказаніямъ. „Донская рѣчь“ (8) сообщала, что въ Ростовѣ въ дѣтскомъ пріютѣ употреблялось наказаніе розгами, причемъ дѣти должны сѣчь другъ друга

(можетъ ли быть что-либо болѣе развращающее и ожесточающее?). Въ Гапсалѣ (9) кистеръ прихода М. на урокѣ приготовляющихся къ конфирмаціи мальчиковъ приказалъ остальнымъ ученикамъ растянуть одного, незнавшаго урока, и бить его костылями, причемъ костыли при битьѣ сломались. Хорошій урокъ внушенія христіанской любви! По словамъ „Харьк. Губ. Вѣд.“ (10), въ старобѣльскій училищный совѣтъ поступила жалоба крестьянина на учительницу земской школы за то, что она подвергла тѣлесному наказанію его сына, ученика школы. Жалоба отца подтверждена медицинскимъ свидѣтельствомъ земскаго врача. Въ Симбирскѣ (11) нѣсколько лѣтъ тому назадъ розги были обычны въ колоніи для малолѣтнихъ преступниковъ; затѣмъ, съ перемѣной начальства наказаніе розгами было замѣнено другими разумными мѣрами воздѣйствія на дѣтей, но недавно, какъ сообщилъ „Сѣвер. Кур.“ въ 1900 г., розги явились вновь, и „жестокая, массовая порка дѣтей создаетъ въ этомъ пріютѣ новую эру“. Въ авлабарскомъ (12) городскомъ училищѣ учитель пѣнія ударилъ смычкомъ по головѣ ученика и нанесъ ему ушибленную рану, проникавшую черезъ всю толщу мягкихъ покрововъ черепа. Мальчикъ отправленъ въ тифлисскую больницу. Въ сарабузской (13) земской школѣ учительница позволяетъ себѣ за плохіе отвѣты ученицъ выдергивать у нихъ изъ головы волосы. Въ пос. Березнеговатомъ (14), Херсонскаго уѣзда, учитель женской церковно-приходской школы придумалъ слѣдующее наказаніе: дѣвочка, незнающая урока, беретъ себя за уши и тянетъ ихъ или бьетъ себя линейкой по рукѣ. Управленіе харьюсской (15) земледѣльческой школы въ Финляндіи рѣшило выразить строжайшее порицаніе завѣдующему школой за неоднократное тѣлесное наказаніе учениковъ. Двое крестьянъ Яранскаго уѣзда (16) жаловались учебному начальству на грубое и жестокое обращеніе съ ихъ дѣтьми учительскихъ помощниковъ ахмановскаго училища. Послѣдніе привлекли крестьянъ на судъ за клевету, но на судѣ грубое и жестокое обращеніе съ учениками подтвердилось свидѣтельскими показаніями, и крестьяне были оправданы. Какъ этотъ, такъ и другіе подобные факты жалобъ крестьянъ на жестокое обращеніе съ ихъ дѣтьми указываютъ, что въ иныхъ мѣстахъ

крестьяне по взгляду на воспитаніе переросли учителей, и что учителя свои побои учениковъ уже не могутъ объяснять желаніемъ и требованіемъ самихъ родителей. Въ „Русск. Школѣ“ ([17]) напечатаны воспоминанія г. Капюса о церковно-приходской школѣ въ м. Погребищѣ, Кіевской губ. Порядки въ ней были своеобразные, и между прочимъ, почти всегда пьяный учитель награждалъ учениковъ кулаками или заставлялъ ихъ самихъ „бить другъ друга въ морду“. Ростовскій житель огласилъ въ „Приазов. Краѣ“ ([18]) слѣдующій фактъ расправы въ женскомъ училищѣ съ его племянницей, дѣвочкой 10 лѣтъ: старшая учительница, разсердившись за что-то на дѣвочку, схватила ее за косу,—и такъ сильно, что у нея „затрещала“ голова и она упала на полъ,—потащила черезъ весь классъ и корридоръ и въ комнатѣ отрѣзала ей косу. „Восточное Обозрѣніе“ ([19]) сообщаетъ, что въ Ч. церковно-приходской школѣ учитель пускаетъ въ ходъ розги и швыряетъ въ учениковъ мѣломъ. Въ городской школѣ производится битье учениковъ по рукамъ, плечамъ и головѣ; на-дняхъ ребенокъ одного казака былъ такъ избитъ, что родители обратились къ судьѣ. Въ Рыбинскомъ уѣздѣ, по словамъ „Сѣвернаго Края“ ([20]), есть учительница, которая славится жестокимъ обращеніемъ съ учениками; ни личныя просьбы крестьянъ, ни приговоры, составленные сходомъ крестьянъ, ни указанія со стороны печати, что наказанія, практикуемыя этой учительницей, граничатъ съ жестокимъ обращеніемъ, не оказали на нее никакого вліянія. „Екат. Лист.“ ([21]) разсказываетъ, какое наказаніе устроилъ учитель тремъ ученикамъ своей школы—воришкамъ, вздумавшимъ примѣнить на практикѣ сказку „Мужикъ и Лиса“: учитель выставилъ по селу въ два ряда своихъ учениковъ, между этими рядами вели воришекъ, и каждый ученикъ обязанъ былъ плюнуть имъ въ глаза съ приговариваніемъ: „воры, воры“. Крестьяне отнеслись съ негодованіемъ къ этому наказанію, напоминающему былой „сквозь строй“—и даже превосходящему его по позору для обѣихъ сторонъ! „Новости“ ([22]) сообщаютъ, что учитель ново-каростскаго волостного училища такъ избилъ одного изъ своихъ учениковъ, что тотъ, несмотря на продолжительное лѣченіе, „сошелъ съ ума“. Въ саратовскомъ ([23]) пріютѣ-дачѣ примѣня-

лось, какъ система, наказаніе дѣтей крапивой. До чего доходитъ изобрѣтательность наказующихъ! „Биржевыя Вѣд.“ (24) сообщаютъ, что въ нѣкоторыхъ церковно-приходскихъ школахъ Шенкурскаго уѣзда, Архангельской губ., учениковъ заставляютъ на улицѣ *раздѣтыми* дѣлать до 40 поклоновъ послѣ обѣдни за нѣкоторые дѣтскіе проступки. „Владим. газ.“ (25) передаетъ, что въ орѣхово-зуевскомъ фабричномъ училищѣ примѣняются слѣдующія наказанія учениковъ: на колѣнки, щипки съ вывертомъ, глаженіе по головѣ линейкой или смычкомъ и т. д.

Могутъ возразить, что все это единичные случаи. Если бы это было такъ! Къ сожалѣнію, имѣется цѣлый рядъ другихъ указаній и сообщеній о болѣе систематическомъ и распространенномъ примѣненіи тѣлесныхъ наказаній всякаго рода. Памятная всѣмъ исторія тамбовской учительницы г. Слетовой (26), привлеченной къ суду за напечатаніе якобы невѣрныхъ свѣдѣній о битьѣ въ тамбовскихъ школахъ, выяснила свидѣтельскими показаніями на судѣ, что учителя били учениковъ и въ городскихъ, и сельскихъ школахъ: кулаками, линейками, смычкомъ, скрипкою, квадратикомъ, били по лицу и головѣ, драли за уши, за волосы; одному надорвали ухо, другой оглохъ отъ ударовъ. Мало того, виновные должны были сѣчь другъ друга по очереди. Однимъ изъ уѣздныхъ санитарныхъ совѣтовъ Московской губ. (27) обсуждался вопросъ объ „антигигіеничности“ нѣкоторыхъ наказаній въ сельскихъ школахъ: на колѣни, далѣе—за ухо, за волосы, удары линейкой по рукамъ, головѣ и пр. Указаніе на примѣненіе тѣлесныхъ наказаній есть въ одномъ изъ санитарныхъ школьныхъ отчетовъ Херсонской губ., а о примѣненіи въ широкихъ размѣрахъ тѣлесныхъ наказаній въ школахъ Вятской губ. сообщалось раньше на страницахъ „Вѣстника Воспитанія“. Въ Кубанской области (29) слухи и даже жалобы на грубое обращеніе учителей съ учениками дошли до директора, и онъ издалъ строгій циркуляръ, воспрещающій, подъ страхомъ увольненія отъ службы и лишенія учительскаго званія, всякія тѣлесныя наказанія, грубое обращеніе, брань, насмѣшки. „Пермскія Губ. Вѣд.“ (30) сообщаютъ, что въ низшихъ школахъ губерніи примѣняются тѣлесныя наказанія учениковъ, что, по мнѣнію этой газеты, зависитъ отъ невысокаго уровня учащихъ. Врачъ Росля-

ковъ ([31]) на совѣщаніи земскихъ врачей указалъ, что въ нѣкоторыхъ школахъ Ананьевскаго уѣзда употребляются тѣлесныя наказанія, оказывающія вредное вліяніе на развитіе дѣтей. Курскій инспекторъ нар. уч., г. Ефимьевъ ([32]) въ циркулярѣ учащимъ указываетъ, что при своихъ объѣздахъ школъ онъ заставалъ неприглядныя картины: разсерженнаго учителя,—учениковъ, наказанныхъ столбомъ, на колѣняхъ или въ дурацкихъ колпакахъ. Признавая эти пріемы „нетерпимыми остатками старинной суровой школы", г. Ефимьевъ предлагаетъ учителямъ на будущее время совершенно оставить эти пріемы и стараться гуманными пріемами достигнуть воспитательныхъ цѣлей. Директоръ народ. учил. Херсонской губ. ([33]) циркулярно предложилъ „всѣмъ учащимъ въ городскихъ училищахъ по пол. 31 мая 1872 г. и во всѣхъ прочихъ училищахъ дирекціи къ точному и неуклонному исполненію распоряженія, изложенныя въ циркулярѣ бывшаго директора нар. уч. Херсонской губ. Между прочимъ воспрещается: 1) оставленіе учащихся въ классѣ послѣ уроковъ безъ обѣда, какъ одинъ изъ видовъ тѣлеснаго наказанія; 2) насмѣшливыя выраженія въ обращеніи съ учащимися, особенно задѣвающія національное чувство учащихся, и 3) вообще наказанія, имѣющія характеръ тѣлесный.—Вышеизложенное предлагаю къ непремѣнному исполненію во всѣхъ училищахъ". Одинъ изъ членовъ на съѣздѣ представителей учительскихъ обществъ въ Москвѣ указалъ, что въ Московской губ. ([34]) въ сельскихъ школахъ воспитательнаго дома питомцы нерѣдко подвергаются тѣлесному наказанію. Первый съѣздъ земскихъ учителей въ Одессѣ ([35]), между прочимъ, постановилъ безусловно воспретить примѣненіе не только тѣлеснаго, но и нравственнаго наказанія учениковъ, а вліять на учениковъ словомъ, примѣромъ, убѣжденіемъ. Бывшій въ маѣ 1902 г. въ Томскѣ ([36]) съѣздъ учащихъ и почетныхъ воспитателей Сибирской жел. дор. констатировалъ употребленіе тѣлесныхъ наказаній: существуютъ такія школы, гдѣ „учащій въ раздраженіи или запальчивости пользуется для установленія дисциплины линейкой, беретъ ученика за ухо, бьетъ по головѣ книгой, ставитъ на колѣни въ уголъ и пр. А. Епифанскій ([37]), на основаніи отчетовъ исправительныхъ колоній и пріютовъ для

несовершеннолѣтнихъ, говоритъ, что въ однихъ заведеніяхъ всякія тѣлесныя наказанія безусловно отвергаются, а въ другихъ даже розги примѣняются очень усердно, при чемъ въ одной колоніи сѣченіе производится только по воскресеньямъ, а въ другомъ пріютѣ держатся правила дѣйствовать „быстро и энергично", и наказаніе приводится въ исполненіе тотчасъ же, рѣже на другой день.

Всѣ эти единичные факты и заявленія даже не любящихъ гласности дирекцій ясно доказываютъ печальное явленіе—существованіе тѣлесныхъ наказаній въ школахъ по всей Россіи: югъ и сѣверъ, востокъ и западъ, окраины и центръ, чисто русскія и смѣшанныя губерніи, деревенскія и городскія, земскія и церковно-приходскія школы, пріюты и колоніи,—всѣ не изъяты отъ примѣненія тѣлесныхъ наказаній въ большей или меньшей степени. Формы тѣлесныхъ наказаній разнообразны,—отъ стереотипныхъ, наиболѣе болѣзненныхъ розогъ и побоевъ до самыхъ утонченныхъ тѣлесныхъ воздѣйствій, разсчитанныхъ больше на позоръ, чѣмъ на боль; не вывелись изъ употребленія даже наиболѣе развращающія формы: взаимное наказаніе учениками другъ друга. Прибѣгаютъ къ кулачной расправѣ всѣ безъ различія положенія и пола: учителя и ихъ помощники, законоучителя и смотрителя, и, наконецъ, даже учительницы, проявляющія иногда особую жестокость... Внѣ всякаго сомнѣнія, что *громадное большинство* учащихъ не прибѣгаетъ ни къ какимъ тѣлеснымъ наказаніямъ, но „бьющее" меньшинство все-таки значительно.

Каковы же причины этого ненормальнаго явленія,—примѣненія тѣлесныхъ наказаній въ школахъ, когда это не только не поощряется, но даже строго запрещается, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыми изъ начальствующихъ лицъ? Для разрѣшенія этого вопроса В. Петровъ обратился съ особымъ запросомъ къ учителямъ и учительницамъ одной губерніи; онъ получилъ болѣе 20 отвѣтовъ, которые и изложилъ въ довольно интересной статьѣ *„Тѣлесныя наказанія въ народныхъ школахъ"* ([38]). Очень обстоятельные отвѣты учащихъ указываютъ на самыя разнообразныя причины: неудовлетворительная, большая и мало интересная для учащихся программа народной школы, ревизіи и экзамены, вызывающіе

усиленныя занятія, и неравномѣрное распредѣленіе ихъ по времени и по отдѣленіямъ, малое общее развитіе и недостаточная педагогическая подготовка нѣкоторыхъ учащихъ, весьма неудовлетворительное положеніе учащихъ, выбивающее ихъ постоянно изъ необходимаго душевнаго равновѣсія, индивидуальныя особенности характера учащихъ и, наконецъ, низкое культурное развитіе окружающей школу среды.

Вотъ какъ итогируетъ свое изслѣдованіе В. Петровъ:

„1) Тѣ данныя, которыя послужили матеріаломъ для вышеизложеннаго, позволяютъ думать, что тѣлесныя наказанія учащихся въ современныхъ народныхъ школахъ не представляются явленіемъ исключительнымъ, при чемъ примѣненіе ихъ не опредѣляется, однако, никакою системою и никакими заранѣе составленными правилами.

2) Тѣлесныя наказанія, примѣняемыя въ настоящее время въ школахъ, являются главнѣйшимъ образомъ результатомъ ненормальной постановки школьнаго дѣла въ связи съ неудовлетворительнымъ—какъ въ правовомъ и экономическомъ, такъ и въ другихъ отношеніяхъ—положеніемъ лицъ учащихъ; въ частности же фактъ примѣненія тѣлесныхъ наказаній въ школѣ стоитъ въ зависимости отъ уровня культурнаго развитія окружающей школу среды, а также отъ степени общаго развитія, педагогической подготовки и опытности лицъ преподавательскаго персонала, при чемъ всѣ эти условія, какъ вызывающія тѣлесныя наказанія въ современной школѣ, такъ и допускающія возможность ихъ примѣненія, — находятся въ тѣсной взаимной связи.

3) Борьба съ примѣненіемъ тѣлесныхъ наказаній въ школѣ можетъ быть успѣшною лишь только въ томъ случаѣ, если она будетъ направлена на ослабленіе и уничтоженіе причинъ, вызывающихъ примѣненіе этихъ наказаній; эта борьба должна улучшить общую постановку дѣла народнаго образованія, улучшить положеніе преподавательскаго персонала и условія его педагогической подготовки, а также повысить уровень умственнаго и нравственнаго развитія народа и вообще всѣхъ тѣхъ, кто приходитъ въ какое-либо соприкосновеніе со школою“.

Конечно, тяжелое безправное положеніе народнаго учи-

теля, особенно если при этомъ у нѣкоторыхъ учащихъ не хватаетъ общаго развитія и достаточной нравственной силы, можетъ поддерживать постоянно учителя въ угнетенномъ или возбужденномъ нервномъ состояніи и, такимъ образомъ, создавать нежелательную обстановку для примѣненія насильственныхъ мѣръ противъ учениковъ. Но, по нашему мнѣнію, авторъ отводитъ слишкомъ малое мѣсто общимъ условіямъ нашей жизни и въ томъ числѣ существованію тѣлесныхъ наказаній для взрослыхъ и дѣленію нашего общества на *изъятыхъ* и *неизъятыхъ*. Вѣдь самые раздражительные учителя и учительницы, прибѣгающіе часто къ тѣлеснымъ воздѣйствіямъ на крестьянскихъ дѣтей, никогда не позволятъ себѣ побить своихъ учениковъ—дѣтей помѣщиковъ и духовныхъ. А почему? конечно, не потому, что дѣти послѣднихъ прилежнѣе и благонравнѣе, а потому, что они—дѣти *изъятыхъ*, а крестьянскія дѣти происходятъ отъ *неизъятыхъ*; побои послѣднихъ безопасны, а ударъ первыхъ можетъ повести къ печальнымъ послѣдствіямъ для учителя. Ударь крестьянскаго мальчика, онъ смолчитъ, а помѣщичій или духовный можетъ поднять большую бурю... Вотъ это общее убѣжденіе въ возможности и безнаказанности бить неизъятыхъ и составляетъ прежде всего готовый оплотъ для тѣлесныхъ наказаній и въ школахъ, и внѣ ихъ. А потому въ той борьбѣ, которую предлагаетъ В. Петровъ противъ школьныхъ тѣлесныхъ наказаній, должна занимать первое мѣсто самая энергичная борьба за отмѣну всѣхъ тѣлесныхъ наказаній въ Россіи: не будетъ *неизъятыхъ*, быстро начнутъ прекращаться всѣ незаконные побои взрослыхъ и тѣлесныя воздѣйствія въ народныхъ школахъ! Правильно взглянулъ на это дѣло съѣздъ представителей учительскихъ обществъ въ Москвѣ и постановилъ возбудить общее ходатайство объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній.

Въ заключеніе не можемъ не привести одно *сравненіе* между нами и Западомъ,—тѣмъ просвѣщеннымъ Западомъ, которымъ кстати и не кстати намъ, что называется, тычатъ въ глаза. У насъ есть, несомнѣнно, не мало лицъ, которыя признаютъ пользу и необходимость тѣлесныхъ наказаній не только для дѣтей, но и для взрослыхъ, есть лица, которыя сами назначаютъ эти наказанія и приводятъ въ исполненіе по-

добные приговоры, есть, наконецъ, лица, которыя прибѣгаютъ къ собственноручной кулачной расправѣ съ дѣтьми и взрослыми. И въ то же время у насъ не много найдется такихъ педагоговъ, которые, подобно Мещерскимъ, Грингмутамъ, Розановымъ ([39]), рѣшились бы открыто, съ поднятымъ забраломъ проповѣдывать и защищать urbi и orbi тѣлесныя наказанія,— и въ этомъ отношеніи мы *отстали* отъ Запада, гдѣ находятся истинные и откровенные до цинизма защитники этой позорной и вредной мѣры (настойчивость этихъ лицъ, впрочемъ, вполнѣ понятна: не для себя и не для своихъ отстаиваютъ они пользу розогъ!). Два—три примѣра. Извѣстный берлинскій хирургъ Бергманнъ ([40]) былъ вызванъ въ судъ въ качествѣ эксперта по слѣдующему дѣлу: 9-лѣтній мальчикъ-сирота бѣжалъ отъ побоевъ изъ католическаго монастыря; его поймали, и монахъ съ монахиней дали ему 59 ударовъ бамбуковой тростью. Вотъ что сказалъ профессоръ: „Я рѣшительно не понимаю, какая тутъ можетъ быть рѣчь объ истязаніи! Педагогическая порка,—вотъ и все, и не повѣрите же вы, судьи, что обвиняемые превысили свои права,— это было бы неслыханно!“ Послѣ должнаго внушенія профессору со стороны предсѣдателя о непозволительности его поведенія на судѣ, проф. Бергманнъ не нашелъ у мальчика слѣдовъ истязанія и высказалъ: „Можетъ быть все такъ и было, какъ засвидѣтельствовано врачемъ, но это только педагогическая порка, а основательную порку мальчикъ вполнѣ заслужилъ“ и т. д. Однако, слова этого *гуманнаго* спеціалиста на судѣ были встрѣчены ропотомъ, и германская печать объяснила взглядъ его на тѣлесное наказаніе тѣмъ, что онъ *родился и воспитывался въ Россіи*. Къ сожалѣнію, этотъ упрекъ Россіей вполнѣ заслуженъ: у насъ до сихъ поръ существуютъ узаконенныя тѣлесныя наказанія. Но Бергманнъ не единственный, и нѣмецкіе профессора и врачи въ своихъ руководствахъ о дѣтскихъ болѣзняхъ и школьной гигіенѣ вовсе не осуждаютъ примѣняемаго въ прусскихъ школахъ тѣлеснаго наказанія или даже сами совѣтуютъ его. Такъ, напр., O. Janke ([41]) въ руководствѣ по школьной гигіенѣ описываетъ, какъ и чѣмъ должно производиться тѣлесное наказаніе, и совѣтуетъ учителямъ „не прибѣгать къ тѣлесному наказанію въ состояніи гнѣва, но пользоваться

имъ съ спокойствіемъ и осторожностью". Другой врачъ H. Rohleder ([42]) въ своей книгѣ объ онанизмѣ совѣтуетъ прибѣгать въ качествѣ лѣкарства къ чувствительнымъ тѣлеснымъ наказаніямъ, а для дѣтей до 10 лѣтъ и къ порядочнымъ побоямъ (?!). Можно подумать, что авторъ вовсе не знакомъ съ разбираемымъ вопросомъ: какъ врачъ, онъ долженъ знать, что именно сѣченіе дѣтей является иногда первымъ толчкомъ для онанизма. Напомнимъ, что Ж. Ж. Руссо самъ отмѣчаетъ, что въ первый разъ половое чувство у него явилось послѣ учиненнаго надъ нимъ сѣченія его воспитательницей. Въ нашей книгѣ *„Тѣлесныя наказанія въ Россіи въ настящее время"* приведенъ цѣлый рядъ фактовъ, указывающихъ вредное вліяніе сѣченія для развитія преждевременнаго и ненормальнаго полового чувства у дѣтей.

Но не одна Германія, нѣкоторые врачи и журналы другой просвѣщенной страны—Англіи—идутъ еще дальше. Самый распространенный въ Англіи врачебный журналъ „The Lancet" ([43]) напечаталъ возмутительную статью о необходимости тѣлесныхъ наказаній вообще и въ школахъ въ частности. Вотъ нѣкоторыя выдержки изъ этой бьющей на научность статьи: „Никакое животное, пока оно молодо, не любитъ, чтобы его учили уму-разуму, и это дѣлаетъ необходимыми извѣстныя дисциплинарныя мѣры. Дисциплина включаетъ наказаніе, а одна изъ формъ наказанія есть—тѣлесное, причиняющее боль. Мы всегда настаивали, что тѣлесное наказаніе есть форма, наиболѣе пригодная для извѣстныхъ проступковъ"... И дальше: „тѣлесное наказаніе (тростью или розгами) въ школахъ и необходимо, и полезно... Наилучшее орудіе для наказанія маленькихъ дѣтей есть розга. Во 1) она чувствительна; во 2) при толковомъ примѣненіи она не вредитъ; въ 3) мѣсто приложенія розги, ягодичная область, по самой анатоміи своей приспособлено (!?) къ принятію тѣлеснаго наказанія"... И все въ этомъ родѣ,—конечно, съ оговорками, что драть надо съ толкомъ, не черезчуръ сильно и т. д. Въ другомъ № того же „The Lancet" ([44]) старшій больничный врачъ требуетъ установить виды наказаній для школьныхъ проступковъ и въ томъ числѣ тѣлесныя наказанія. Онъ требуетъ только, чтобы орудіемъ наказанія была не тонкая трость, которая можетъ разсѣчь кожу, а хорошая

толстая трость, полдюжины чувствительныхъ ударовъ которой едва ли когда-либо причинитъ вредъ“, и чтобы „наказаніе было приложено къ тѣмъ частямъ тѣла, которыя природою, повидимому, спеціально (?!) предназначены для этой цѣли“. До бо̀льшей наглости и научнаго цинизма трудно договориться! Что только не взваливается на науку, и какія самыя абсурдныя требованія не основываютъ на наукѣ? Не надо быть знакомымъ съ анатоміей и съ медициной, чтобы отвергать существованіе особыхъ *частей тѣла, назначенныхъ природой для розогъ*, и пользу для организма отъ испытыванія болевыхъ ощущеній! Не даромъ публика относится всегда недовѣрчиво ко всякимъ спеціалистамъ, которые заимствуютъ изъ науки оправданія и основанія для всякихъ выгодныхъ и пріятныхъ имъ взглядовъ.

Наконецъ, на родинѣ Песталоцци не ограничились теоріей и перешли къ дѣйствіямъ ([45]): департаментъ народнаго просвѣщенія Бернскаго кантона рѣшилъ подвергать учащихся тѣлесному наказанію, по требованію родителей и по постановленію совѣта, за тяжкіе проступки, напр., за лживость. Составлены довольно опредѣленныя правила, какъ, кого, когда, гдѣ и чѣмъ сѣчь. Остается только удивляться, какъ бернскіе педагоги могли серьезно заниматься такимъ позорнымъ дѣломъ. Въ нѣкоторыхъ частяхъ Германіи тѣлесныя наказанія въ школахъ также примѣняются, и иногда по своей жестокости и мотивамъ примѣненія вызываютъ возмущеніе со стороны родителей, какъ это было въ 1901 г. въ извѣстномъ дѣлѣ въ городѣ Врешенѣ, въ Познани ([46]).

Не ради оправданія тѣлесныхъ наказаній въ нашихъ школахъ приведены эти справки изъ заграничной жизни; эти факты доказываютъ, что далеко не все западное можетъ служить намъ образцомъ и примѣромъ. Въ головахъ нѣкоторыхъ западныхъ педагоговъ, профессоровъ и журналистовъ существуетъ не̇ мало сумбура относительно вопросовъ обученія и воспитанія; кромѣ того, въ западной культурѣ, какъ справедливо указывалъ еще Ж. Ж. Руссо, такъ много ложнаго, мишурнаго, внѣшняго, допускающаго, между прочимъ, неравенство въ наказаніяхъ для различныхъ классовъ и сословій. И пока на Западѣ, какъ и у насъ, существуютъ различныя сословія и состоянія, высшіе всегда

будутъ придумывать благодѣтельныя мѣры вразумленія для низшихъ.

Мы глубоко убѣждены, что въ этомъ вопросѣ можетъ быть только одинъ взглядъ, общій для всѣхъ, безъ различія сословій, возраста и пола; этотъ взглядъ прекрасно выраженъ слѣдующими словами Л. Н. Толстого: „Дѣла эти (тѣлесныя наказанія), когда имъ приданъ видъ законности, позорятъ всѣхъ насъ, живущихъ въ томъ государствѣ, въ которомъ дѣла эти совершаются. Вѣдь, если сѣченіе крестьянъ—законъ, то законъ этотъ сдѣланъ и для меня, для обезпеченія моего спокойствія и блага. А этого нельзя допустить. Надо, не переставая, кричать, вопить о томъ, что такое примѣненіе дикаго, переставшаго уже употребляться для дѣтей наказанія къ одному лучшему сословію русскихъ людей, есть позоръ для всѣхъ тѣхъ, кто прямо или косвенно участвуетъ въ немъ“.

Пора намъ избавиться отъ этого позора. И не учителямъ и учительницамъ—этимъ просвѣтителямъ народа, этимъ „сѣятелямъ разумнаго, добраго, вѣчнаго“—поддерживать этотъ позоръ! Учащіе никогда не должны забывать, что допускаемыя въ школахъ тѣлесныя наказанія и другія жестокія мѣры огрубляютъ и коверкаютъ навсегда, и такимъ образомъ, являются одной изъ причинъ тѣхъ массовыхъ побоищъ, которыя были въ Россіи въ послѣдніе годы.

Черезъ годъ послѣ составленія этой статьи изданъ манифестъ (11 августа 1904 г.), отмѣнившій тѣлесныя наказанія (къ сожалѣнію, не для всѣхъ). За нимъ послѣдуютъ и другіе законы, совершенно освобождающіе крестьянъ отъ опеки и сравнивающіе ихъ вполнѣ съ остальными русскими гражданами, и мы вѣримъ, что въ освобожденномъ крестьянствѣ и въ обновленной народной школѣ не будетъ мѣста тѣлеснымъ наказаніямъ!

Источники: (1) „Рус. Вѣд.“ 1900 № 306. (2) „Сѣверный Курьеръ“ 1900 № 374. (3) „Сынъ Отечества“ 1900. № 30. (4) „Петербур. Вѣдомости“ 1899. № 281. (5) „Сѣвер. Кур.“ 1900. № 190. (6) „Рус. Вѣд.“ 1900. № 62. (7) „Сынъ Отеч.“ 1899. № 318. (8) „Сынъ Отеч.“ 1899. 93. (9) „Сынъ Отеч.“ 1900. № 103. (10) „Рус. Вѣд.“ 1901. № 124. (11) „Сѣвер. Кур.“ 1900. № 327. (12) „Врачъ“ 1901. № 40. (13) „Рус. Врачъ“ 1902. № 12. (14) „Рус. Вѣд.“ 1901. № 332. (15) „Курьеръ“ 1902. № 24. (16) „Курьеръ“ 1902. № 72. (17) „Курьеръ“ 1902. № 49. (18) „Рус. Вѣд.“ 1901. № 315. (19) „Право“ 1900. № 6. (20) „Смол. Вѣст.“ 1902. № 269. (21) „Смол. Вѣст.“ 1902. № 203. (22) „Рус. Врачъ“ 1902. № 31. (23) „Рус. Врачъ“ 1902. № 36. (24) „Рус. Врачъ“ 1902. № 47. (25) „Рус. Врачъ“ 1902. № 53. (26/29) „Вѣстникъ Воспитанія“ 1899. № 6. (30) „Рус. Вѣд.“ 1900. № 53. (31) „Рус. Вѣд.“ 1900. № 81. (32) „Рус. Вѣд.“ 1901. № 147. (33) „Рус. Вѣд.“ 1901. № 97. (34) „Рус. Вѣд.“ 1903. № 7. (35) „Кур.“ 1902. № 231. (36) „Рус. Вѣд.“ 1902. № 23–24 августа. (37) „Смол. Вѣст.“ 1902. №№ 244 и 246. (38) „Вѣстникъ воспитанія“ 1899. № 6. (39) „Сынъ Отеч.“ 1899. № 92. (40) „Врачъ“ 1899. № 16. (41) „Медиц. Бесѣда“ 1901. № 19. (42) „Врачъ“ 1901. № 42. (43) „Врачъ“ 1901. № 43. (44) „Рус. Врачъ“ 1902. № 4. (45) „Сѣвер. Кур.“ 1900. № 295. (46) „Рус. Вѣд.“ 1901. № 312 —В. И. Яковенко и Д. Н. Жбанковъ. Тѣлесныя наказанія въ Россіи въ настоящее время. Москва. 1899.

А. Кизеветтеръ.

Въ ожиданіи юбилея крестьянской реформы 1861 г.

„Мы лѣнивы и не любопытны“, сказалъ Пушкинъ, объясняя этими свойствами современнаго ему общества отсутствіе въ нашей литературѣ хорошихъ біографій многихъ выдающихся дѣятелей русскаго просвѣщенія. Не мало прошло времени съ тѣхъ поръ, какъ изъ-подъ пера поэта вылетѣло это крылатое слово. Но устарѣло ли оно? Провѣркою нашего трудолюбія и нашей любознательности могутъ служить знаменательные историческіе юбилеи. Отрывной календарь вдругъ напоминаетъ намъ, что протекло уже полвѣка или цѣлый вѣкъ со времени такого-то событія, или со времени смерти такого-то историческаго лица. Начинаемъ вспоминать, что̀ у насъ сдѣлано для выясненія этого событія или для характеристики этого лица, и сплошь и рядомъ должны бываемъ признаться самимъ себѣ, что юбилей придется встрѣтить съ пустыми руками и смутными мыслями. За примѣрами ходить не далеко. Намъ приходится какъ разъ теперь переживать двухсотлѣтній юбилей дѣятельности Петра Великаго—съ сознаніемъ, что у насъ нѣтъ научно-разработанной исторіи этого замѣчательнаго царствованія. Старый трудъ Устрялова остановился, такъ сказать, въ преддверіи этого царствованія. Книга Брикнера—полезный компилятивный сводъ—въ свою очередь устарѣла, а такія превосходныя научныя монографіи, какъ, напр., книги П. Н. Милюкова *), М. М. Богословскаго **), проливая яркій свѣтъ

---

*) Государственное хозяйство Россіи въ первой четверти XVIII вѣка и реформа Петра Великаго.

**) Областная реформа Петра Великаго.

на отдѣльныя сферы петровскихъ реформъ, не могутъ все же замѣнить цѣльнаго изображенія всей эпохи. Но мы уже не будемъ говорить объ исторіи петровскаго царствованія, а спросимъ только — есть ли у насъ научная біографія самого Петра? Нѣтъ,—дѣло составленія такой біографіи еще не вышло изъ области подготовительной, черной работы, какъ въ этомъ можно убѣдиться хотя бы изъ тѣхъ критическихъ экскурсовъ, которые печатаются время отъ времени профессоромъ Шмурло въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія". Не многимъ лучше обстоитъ дѣло и съ реформами Александра I, столѣтній юбилей которыхъ также только что отпразднованъ нами. Книга Шильдера, блещущая богатствомъ интереснаго матеріала, все же—по сознанію и самого ея автора — лишь предварительный экскизъ той *настоящей* исторіи царствованія Александра I, за которую общественная молва уже заранѣе готовила для покойнаго историка премію Аракчеева и которая осталась невыполненной за преждевременной смертью этого талантливаго писателя. Основанныя при Александрѣ I центральныя государственныя учрежденія выпустили ко дню своихъ юбилеевъ оффиціальные историческіе обзоры своего вѣкового существованія. Представляя несомнѣнный интересъ по обилію фактическихъ данныхъ, эти изданія, однако, лишь рѣзче подчеркиваютъ то, какая необозримая масса документальнаго матеріала первостепенной важности тщетно ожидаетъ еще планомѣрной научной обработки.

Намъ могутъ замѣтить, пожалуй, по поводу нашихъ сѣтованій, что мы напрасно пріурочиваемъ запросы отъ исторической науки къ случайнымъ потребностямъ юбилейныхъ поминокъ. У исторіи, какъ и у всякой науки, могутъ быть свои очередныя задачи и потребности, и то обстоятельство, что историческая наука неразрывно связывается съ различными злободневными вопросами, нисколько не должно стѣснять и ограничивать свободы чисто научной дѣятельности историковъ - изслѣдователей. Справедливость такой точки зрѣнія для насъ несомнѣнна, но вѣдь мы и упоминаемъ о юбилеяхъ не какъ о внѣшнихъ побудительныхъ толчкахъ для изслѣдовательской работы, а лишь какъ о такихъ моментахъ, когда съ особенной наглядностью, съ особенной,

если такъ можно выразиться, осязательностью обнаруживаются пробѣлы и недочеты въ результатахъ предшествующей коллективной работы немногочисленныхъ тружениковъ на нивѣ русской исторической науки.

Изложенныя соображенія получаютъ, на нашъ взглядъ, особенное значеніе въ виду слѣдующаго обстоятельства. Всего какихъ-нибудь 8 лѣтъ отдѣляютъ насъ еще отъ одного знаменательнаго юбилея, усердная и планомѣрная подготовка къ которому одинаково необходима какъ съ точки зрѣнія общественной потребности, такъ и съ точки зрѣнія очередныхъ задачъ самой науки. Въ 1911 г. исполнится 50 лѣтъ со времени величайшаго событія въ исторіи новой Россіи,— со времени отмѣны крѣпостного права. Пора теперь же серьезно подумать о томъ, съ какимъ запасомъ средствъ для ознаменованія этого событія вступимъ мы въ 1911 годъ. Конечно, если празднованіе ограничится застольными рѣчами и народными гуляньями, то можно и обождать съ предварительными приготовленіями. Но если мы пожелаемъ предстать на праздникъ съ достаточными доказательствами сознательнаго отношенія къ его историческому значенію, то, думается намъ, восемь лѣтъ не особенно большой срокъ, чтобы мы имѣли право не торопиться теперь же приступать ко всему тому, что предстоитъ для этого сдѣлать. Что же именно предстоитъ сдѣлать? Желаніемъ напомнить о своевременности такого вопроса и посодѣйствовать посильному выясненію хотя бы нѣкоторыхъ сторонъ его и вызвано появленіе настоящей замѣтки.

Мы еще не имѣемъ пока ни полной исторіи крестьянской реформы 1861 года, ни научно разработанной исторіи крѣпостного жизненнаго уклада и въ частности—крѣпостного хозяйства дореформенной Россіи XIX вѣка. Нужно ли доказывать, что оба эти вопроса составляютъ двѣ неразрывныя части одной и той же научной задачи? Нужно ли доказывать, что выполненіе этой задачи въ обѣихъ указанныхъ частяхъ ея явилось бы въ одно и то же время и настоящимъ украшеніемъ знаменательнаго юбилея, и крупнымъ поступательнымъ шагомъ въ ходѣ разработки нашей науки? Насколько же мы близки къ осуществленію этой задачи?

Смѣло можно сказать, что все, сдѣланное до сихъ поръ

въ нашей литературѣ въ отмѣченномъ выше направленіи, даетъ намъ лишь первоначальный, легкій абрисъ будущей картины, лишь одинъ скелетъ, которому еще предстоитъ облечься во плоть и кровь. Правда, мы можемъ назвать замѣчательное по полнотѣ матеріала изслѣдованіе В. И. Семевскаго „Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и XIX вв.“ Но это изслѣдованіе посвящено исключительно исторіи идейной подготоки реформы, исторіи вѣковыхъ думъ передовыхъ элементовъ русскаго общества надъ проблемой освобожденія. Ни исторія самой реформы, ни картина тѣхъ реальныхъ факторовъ народной жизни, которые обусловили неизбѣжность реформы,—не включены въ рамки только что названнаго изслѣдованія. Что же мы имѣемъ затѣмъ? По исторіи реформы—книгу проф. Иванюкова „Паденіе крѣпостного права въ Россіи“, недавно вышедшую вторымъ изданіемъ, и книгу бывшаго дерптскаго профессора Энгельмана „Крѣпостное право въ Россіи“, недавно переведенную на русскій языкъ. Первая книга представляетъ живое изложеніе главнымъ образомъ тѣхъ матеріаловъ, которые собраны въ извѣстномъ трудѣ Скребицкаго „Крестьянское дѣло при Александрѣ II“ и которые касаются лишь одной стадіи въ ходѣ реформы, а именно—дѣятельности, такъ называемыхъ, редакціонныхъ комиссій. Вторая книга трактуетъ о юридическомъ развитіи института крѣпостного права на всемъ пространствѣ его существованія, при чемъ исторія реформы 1861 г. является въ ней лишь заключительнымъ эпизодомъ, изложеннымъ поэтому сжато и при томъ не всегда вполнѣ безпристрастно. Назвавъ еще замѣчательную статью П. Н. Милюкова въ Энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Эфрона подъ словомъ „Крестьяне“, мы, кажется, исчерпаемъ всѣ имѣющіеся въ нашей литературѣ сводные обзоры по исторіи реформы. Не говоря уже о томъ, что эти работы далеко не исчерпываютъ всего матеріала даже и для тѣхъ стадій реформы, которыхъ онѣ по преимуществу касаются—я разумѣю разработку вопроса въ редакціонныхъ комиссіяхъ, — во всѣхъ ихъ есть чувствительный пробѣлъ по отношенію къ не менѣе любопытному первоначальному фазису связанныхъ съ реформаю работъ: исторія губернскихъ дворянскихъ комитетовъ остается въ тѣни, лишь случайно и

скупо освѣщенная кое-какими данными изъ мемуарной литературы.

Если мы перейдемъ теперь отъ исторіи реформы къ исторіи предреформеннаго строя крѣпостной вотчины, то здѣсь предъ нами предстанетъ еще болѣе тусклая картина.

Лишь въ самое послѣднее время въ литературѣ заговорили о необходимости энергично приняться за изученіе крѣпостного хозяйства дореформенной Россіи. До сихъ поръ этотъ вопросъ представляетъ собою совершенно нетронутое, дѣвственное или, какъ сказали бы въ XVI—XVII вв., „дикое" поле въ нашей исторической литературѣ. Теперь на этомъ полѣ уже проведены первыя борозды. Назовемъ заслуживающія всякаго вниманія работы—П. Б. Струве (въ „Мірѣ Божіемъ" и въ сборникѣ „На разныя темы"), кн. Волконскаго и Повалишина (въ трудахъ рязанской архивной комиссіи), г-жи Игнатовичъ (въ „Русскомъ Богатствѣ" и отдѣльной книжкой „Крестьяне передъ освобожденіемъ"). Всѣ эти работы имѣютъ главнымъ образомъ значеніе призыва научнаго вниманія къ новой области вопросовъ, остававшихся до сихъ поръ внѣ общаго русла ученой работы. Онѣ даютъ какъ бы программу изслѣдованія, первоначальныя точки опоры для оріентированія въ необозримомъ морѣ фактовъ и, такъ сказать, пробныя проекціи для систематизаціи и обобщенія этихъ фактовъ. Нащупывается и основная тенденція хозяйственной исторіи крѣпостной вотчины: постепенное превращеніе крѣпостной вотчины въ рабовладѣльческую плантацію подъ напоромъ развивающагося въ странѣ денежнаго хозяйства. Это обобщеніе можетъ быть принято, какъ предварительная схема, нуждающаяся, однако, въ болѣе точной реализаціи путемъ обслѣдованія фактическаго матеріала. Здѣсь предстоитъ дробное изученіе исторіи отдѣльныхъ вотчинныхъ хозяйствъ, предстоитъ созданіе статистики хозяйственныхъ явленій крѣпостной эпохи, основанной на возможно бо́льшемъ количествѣ цифровыхъ данныхъ. Вся эта работа—всецѣло впереди. Если исторія реформы 1861 года не дописана, то исторія русскаго крѣпостного хозяйства, можно сказать, совсѣмъ еще никѣмъ и не была писана. По какому же адресу слѣдуетъ направить призывъ къ восполненію столь существенныхъ пробѣловъ русской истори-

ческой науки? Конечно,—скажутъ всѣ съ перваго слова,—по адресу людей, спеціально посвящающихъ себя научной разработкѣ русской исторіи. Такой отвѣтъ будетъ правиленъ, но не полонъ. Какъ бы часто ни повторяли эффектное противопоставленіе кабинетнаго ученаго суетной толпѣ, погрязающей въ мелочныхъ заботахъ дня и не имѣющей ничего общаго съ наукой и ея одинокими „жрецами",—справедливость требуетъ замѣтить, что въ любой странѣ успѣхи научнаго движенія прямо пропорціональны высотѣ общаго уровня духовныхъ интересовъ общества. Для успѣшной научной работы, для интенсивности научныхъ интересовъ требуется благопріятная окружающая атмосфера, и лишь оптическій обманъ заставляетъ предполагать, что такой атмосферой является однообразная тишина одинокаго кабинета. Нѣтъ,—повышенный пульсъ умственной жизни всего общества, чуткость этого общества ко всѣмъ духовнымъ запросамъ, оживленный, кипучій обмѣнъ идей,—вотъ необходимый стимулъ для плодотворнаго научнаго творчества, спасающаго дѣятелей науки отъ ненужнаго буквоѣдства и мертвящей, ложной учености. Если общество нуждается въ ученыхъ, то и ученые нуждаются въ симпатическомъ откликѣ общества на очередныя потребности ихъ профессіональной работы.

Все только что сказанное, какъ нельзя болѣе, примѣнимо къ спеціальному предмету настоящей замѣтки. Отмѣченные выше пробѣлы въ исторіи разработки крѣпостныхъ отношеній минувшей эпохи могутъ быть заполнены не иначе, какъ совокупными, дружными усиліями всѣхъ интеллигентныхъ круговъ общества. Вотъ—причина появленія настоящей замѣтки не на страницахъ какого-либо спеціальнаго изданія, а на страницахъ сборника, вызваннаго какъ разъ потребностями распространенія духовныхъ запросовъ въ широкихъ слояхъ народа.

Въ самомъ дѣлѣ, пробѣлы науки, о которыхъ мы говорили выше, обусловлены состояніемъ нашихъ источниковъ. Труды по исторіи реформы, какъ было замѣчено, освѣщаютъ преимущественно дѣятельность редакціонныхъ комиссій. И не мудрено. Въ этомъ отношеніи въ нашемъ распоряженіи имѣются богатые матеріалы. Прежде всего—оффиціальное

печатное изданіе трудовъ самихъ этихъ комиссій, прекрасная разработка этихъ матеріаловъ въ названномъ выше трудѣ Скребицкаго, въ высокой степени важный частный комментарій къ этимъ матеріаламъ въ изданіи Н. П. Семенова „Освобожденіе крестьянъ въ царствованіе имп. Александра II“, представляющемъ собою ничто иное, какъ частную запись всего, что говорилось въ общихъ собраніяхъ редакціонныхъ комиссій, сдѣланную Н. П. Семеновымъ во время самыхъ засѣданій и, наконецъ,—литература брошюръ, которыя издавались и въ Россіи, и еще болѣе за границей во время работъ комиссій, и мемуаровъ, которые были составлены нѣкоторыми лицами, прикосновенными къ комиссіямъ, уже заднимъ числомъ, на склонѣ своихъ дней.

По отношенію къ исторіи дворянскихъ губернскихъ комитетовъ мы обставлены совершенно иначе. Правда, тексты составленныхъ этими комитетами „положеній“ намъ извѣстны. Они вошли въ формѣ систематическаго свода въ Труды редакціонныхъ комиссій. Но процессъ выработки этихъ положеній, ходъ работъ въ нѣдрахъ самихъ комитетовъ освѣщенъ очень неравномѣрно и въ общемъ скудно. Кое-что мы знаемъ изъ литературы мемуаровъ, но это—отдѣльные отрывки. Изданіе дѣлопроизводства всѣхъ дворянскихъ комитетовъ по крестьянскому дѣлу *) было бы прекраснымъ подаркомъ русской наукѣ и русскому обществу ко дню знаменательнаго юбилея. 50 лѣтъ—достаточная историческая давность для безбоязненнаго снятія завѣсы съ этихъ любопытныхъ документовъ. Никому не предстоитъ укрываться ни отъ запоздалыхъ похвалъ, ни отъ запоздалыхъ порицаній. При томъ современная наука и не занимается похвалами и порицаніями. Она стремится не судить, а понимать.

Еще больше дѣла предстоитъ по собиранію документовъ для исторіи крѣпостного хозяйства. Зачаточному состоянію научной разработки относящихся сюда вопросовъ вполнѣ соотвѣтствуетъ полное отсутствіе планомѣрнаго собиранія необходимыхъ для того матеріаловъ. А между тѣмъ, это—такого рода матеріалъ, съ собираніемъ котораго надо спѣшить. Безъ

*) Бумаги этихъ комитетовъ хранятся въ архивахъ дворянскихъ депутатскихъ собраній.

заботливаго и компетентнаго призора онъ гибнетъ безслѣдно цѣлыми массами. Мы можемъ дожить до такого момента, когда будетъ уже *поздно* думать о возстановленіи картины крѣпостного хозяйства на основаніи подлинныхъ документовъ, когда намъ легче будетъ возсоздать земледѣльческій бытъ древнѣйшаго Египта по сохранившимся отъ сѣдой старины папирусамъ, чѣмъ земледѣльческій бытъ русской деревни средины минувшаго столѣтія. Документы, о которыхъ мы говоримъ, суть — купчія крѣпости, хозяйственныя книги, росписки всякаго рода, хозяйственныя описанія, планы и т. п., мѣстные, домашніе письменные акты крѣпостной эпохи. Они разсыпаны теперь по всему лицу русской земли; они лежатъ мертвымъ для науки капиталомъ въ частныхъ архивахъ нѣкоторыхъ вотчинъ, а то и просто сваленными въ кучи гдѣ-нибудь на чердакѣ или въ догнивающемъ амбарѣ. Владѣльцамъ они не нужны; большая часть обладателей этихъ архивныхъ сокровищъ не можетъ себѣ даже представить, чтобы эта ветошь могла понадобиться кому-нибудь, тѣмъ болѣе серьезнымъ ученымъ. У насъ еще такъ распространенъ взглядъ на исторію, какъ на собраніе повѣстей о лицахъ и событіяхъ, и многимъ такъ еще трудно дается простая истина, что иной старый хозяйственный счетъ стóитъ въ глазахъ историка тысячи самыхъ занятныхъ преданій о похожденіяхъ историческихъ героевъ. Въ этомъ кроется самая большая опасность для занимающихъ насъ матеріаловъ. Не опубликовывая ихъ во всеобщее свѣдѣніе, владѣльцы не берегутъ ихъ и для самихъ себя, какъ они берегутъ нерѣдко старинную фамильную переписку и тому подобные сувениры. И драгоцѣнные для науки матеріалы гибнутъ грудами жертвами огня или тлѣнія.

Приведеніе въ извѣстность и систематическая классификація этого матеріала превышаетъ силы не только отдѣльныхъ изслѣдователей, но даже и цѣлыхъ кружкокъ однихъ только спеціалистовъ... Здѣсь необходима дружная работа многихъ сотенъ людей, одинаково проникнутыхъ уваженіемъ къ наукѣ и готовностью принести ей, хотя бы мимоходомъ, косвенную услугу.

Итакъ, вотъ въ какомъ смыслѣ приближающійся юбилей великой реформы могъ бы, между прочимъ, объединить въ

общей работы хотя спеціалистовъ съ широкими кругами интеллигентнаго общества. Пусть дворянскія собранія возьмутъ на себя предварительный починъ въ изданіи бумагъ комитетовъ по крестьянской реформѣ. Конечно, всего лучше было бы поручить редактированіе этихъ изданій опытнымъ спеціалистамъ. Пусть владѣльцы вотчинныхъ архивовъ широко и гостеприимно откроютъ двери для изученія хранящихся тамъ документовъ. Пусть всякій, кто случайно набредетъ гдѣ-либо на матеріалъ, подобный описанному выше, извлечетъ этотъ матеріалъ изъ полнаго мрака и отдастъ его достояніемъ науки. Здѣсь могли бы найтись въ благодѣтельномъ соревнованіи ученыя и всякія иныя общественныя организаціи и отдѣльныя частныя лица. Императорское московское археологическое общество по докладу своего члена В. Е. Сторожева * уже постановило принять съ своей стороны всѣ зависящія отъ него мѣры въ этомъ направленіи. Для губернскихъ ученыхъ архивныхъ комиссій, близко стоящихъ къ мѣстнымъ архивнымъ хранилищамъ и мѣстному населенію, открывается въ этомъ случаѣ обширное, благодарное поприще для плодотворной дѣятельности... Нѣкоторыя комиссіи уже и вступили на это поприще. Рязанская и нижегородская комиссіи приступили къ поискамъ подобныхъ документовъ, а тверяки успѣли уже и обнародовать интересные результаты этихъ поисковъ. Горячій призывъ къ подобнымъ работамъ послалъ предсѣдатель пермской архивной комиссіи, В. С. Малечко. Едва ли нужно, что и другія комиссіи не замедлятъ послѣдовать этимъ примѣрамъ. Наконецъ, и отдѣльныя лица могли бы принести общественную помощь общему дѣлу собираніемъ и первоначальной разработкой такихъ матеріаловъ, т. е. главнымъ образомъ извлеченіемъ изъ таблицы содержащихся въ нихъ писцовыхъ данныхъ. Кружокъ московскихъ историковъ выработалъ примѣрную программу для такой разработки. Эта программа вскорѣ будетъ опубликована. Тотъ же кружокъ беретъ на себя и изданіе обработанныхъ такимъ образомъ матеріаловъ.

---

* Этотъ докладъ напечатанъ въ „Русской Мысли" за текущій годъ подъ заглавіемъ „Подготовка къ 50-лѣтію крестьянской реформы". Въ этомъ докладѣ моего уважаемаго товарища развиваются аналогичныя положенія, что и въ настоящей замѣткѣ.

если таковые будутъ ему доставляемы. Если ко дню знаменательнаго юбилея удастся общими силами, описаннымъ выше способомъ спасти отъ гибели и извлечь изъ-подъ спуда значительное количество соотвѣтственнаго матеріала, который ляжетъ затѣмъ въ основу планомѣрнаго научнаго анализа, если общество откликнется на призывъ спеціалистовъ, а спеціалисты почувствуютъ себя не одинокими въ своемъ желаніи посодѣйствовать научному освѣщенію важнѣйшихъ процессовъ родной исторіи,—въ такомъ случаѣ можно будетъ признать, что мы оставили позади себя горькій афоризмъ Пушкина.

А. Корневъ.

О ДВУХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ.

Хотя я не помню уже, когда и гдѣ это было, я разскажу вамъ все-таки эту забавную исторію.

Въ одной странѣ, въ одномъ и томъ же городѣ жили два писателя, и оба писали новеллы и разсказы, которые жителямъ той страны очень нравились.

Но писатели ни въ чемъ не походили другъ на друга.

Одинъ изъ нихъ писалъ о мирѣ и покоѣ жилищъ обитателей той страны, объ ихъ удобствѣ и гостепріимствѣ хозяевъ ихъ.

Онъ разсказывалъ о томъ, какъ молодая дѣвушка полюбила юношу, и какъ хорошо было имъ вмѣстѣ ночью въ тѣни деревьевъ. Онъ описывалъ кроткій свѣтъ лампады въ дѣтской комнатѣ и мать надъ спящимъ въ колыбели ребенкомъ. Онъ рисовалъ жизнь семьи, тревоги и праздники ея. Онъ разсказывалъ о томъ, какъ въ красиво убранныхъ комнатахъ собирались гости, какъ были они любезны и привѣтливы къ хозяевамъ и другъ къ другу, и какъ хорошо проводили съ ними время свое.

И всему, о чемъ писалъ онъ, онъ сочувствовалъ, любя жизнь тѣхъ людей и ихъ самихъ.

Но не только радости ихъ служили предметомъ его разсказовъ. Онъ говорилъ своимъ читателямъ, что жизнь — подвигъ, что тяжела и трудна она, и что ему жаль ихъ слабыхъ и одинокихъ среди тревогъ и ударовъ ея. Въ его, разсказахъ люди были жестоки къ героямъ этихъ разсказовъ, и они—герои его—жаловались на несправедливость жизни къ нимъ, на суровость ея и требовали у людей любви къ себѣ и сочувствія. Они говорили, что любовь къ ближ-

нему должна направлять жизнь человѣка, а они не видятъ ея въ поступкахъ окружающихъ ихъ. И недовольные, они роптали и жаловались на жизнь и называли ее долгомъ—печальнымъ и тяжкимъ.

И когда жители той страны читали обо всемъ этомъ, они чувствовали любовь къ писателю за его доброе сердце.

Читая его, они жалѣли себя, проникались уваженіемъ къ своимъ страданіямъ и еще болѣе начинали любить себя самихъ, свою жизнь и порядки ея.

Другого писателя они тоже любили и жадно читали его, а когда онъ шелъ по улицѣ города, передъ нимъ разступались и низко кланялись ему. Въ праздники его почитатели ходили иногда за нимъ толпой, и когда онъ останавливался въ раздумьи или садился за городской стѣной у крѣпостныхъ воротъ, они молча стояли на нѣкоторомъ разстояніи отъ него и слѣдили за тѣмъ, что дѣлалъ онъ.

Съ первымъ писателемъ они охотно вступали въ бесѣды и звали его на свои праздники, но второй казался имъ особеннымъ, не похожимъ на нихъ, и они даже немного боялись его: онъ укорялъ и винилъ ихъ во многомъ, и въ его сердцѣ не было жалости къ нимъ.

Онъ такъ говорилъ имъ:

— Я несу къ вамъ съ собой новую религію,—религію полноты жизни и свободы творческаго духа. Полнота жизни—вотъ смыслъ ея! Но вокругъ себя я слышу только скрипъ зубовъ, перетирающихъ пищу. И я зову на свой судъ все человѣчество, всѣхъ васъ... Я самъ призналъ за собой право на это, и въ этомъ сила моего права... Я буду судить васъ! И я спрашиваю васъ, что сдѣлали вы за длинный рядъ тысячелѣтій? Я вижу предъ собой лишь огромную гніющую язву, которая кишитъ маріадами червей... И эту язву вы называете жизнью.

Жалкіе, ничтожные люди! Не отреченію отъ жизни и благъ ея учу я васъ, но полнотѣ жизни. Вы же не хотите отъ нея ничего, кромѣ хлѣва и пойла, которое стоитъ передъ каждымъ изъ васъ, и всѣ вы съ жадностью смотрите на пойло сосѣда вашего. Отъ этого такъ мало довѣрія у васъ другъ къ другу, и когда вы сходитесь, вы подозрительно слѣдите другъ за другомъ и уже заранѣе въ каждомъ видите

врага своего. Поэтому такъ щедры вы на порицанья, и такъ рѣдко можно отъ васъ услышать похвалу другому. Вы—человѣконенавистники, ибо вы—жадные и завистливые трусы. И о любви къ ближнему вы говорите такъ много не потому, что чувствуете въ себѣ отвагу и силу; вы не любить хотите другихъ, но требуете къ себѣ любви и вниманія отъ вашихъ ближнихъ, какъ больные люди или капризныя дѣти. И когда вы говорите о томъ, что жизнь — тяжела, и люди жестоки, мнѣ стыдно не только вторить вамъ, но даже слышать васъ. Вы думаете, что страдаете, но вы страдаете потому только, что слишкомъ избалованы жизнью, и уколъ булавки принимаете за смертельную рану. Счастіе человѣческой жизни—въ свободномъ творчествѣ ея; вы же думаете лишь о томъ, чтобы сберечь свою шкуру... И я спрашиваю васъ, неужели никогда не посѣщало васъ желаніе быть безумно смѣлыми, гордыми и сильными; неужто творческій духъ навсегда умеръ въ васъ? Человѣкъ долженъ быть героемъ, чтобы быть достойнымъ имени человѣка, и, если вы такъ ничтожны, безсильны и такъ низки, что не способны быть героями, тѣмъ хуже для васъ! Вы погибнете... Но я знаю, я вѣрю, что на мѣсто васъ придутъ иные люди, съ грубыми, корявыми руками и принесутъ съ собой жизнь полную и яркую, ибо они не привыкли, подобно вамъ, бояться ея и робко стоять въ сторонѣ отъ нея, дабы уберечь свое пойло. Они слѣдуютъ велѣніямъ своего сердца, и потому въ нихъ живетъ творческій духъ... и сила и отвага, нужная для творчества, есть въ нихъ. Я вѣрю, что они придутъ, ибо, если бъ не было у меня вѣры въ это, то не стоило бы жить мнѣ...

Такъ укорялъ онъ обитателей страны, и они любили слушать его...

. . . . . .

Оба писателя жили уже много лѣтъ, когда однажды въ городъ, въ которомъ жили они, явилась смерть.

Скелетъ ея, лишенный мяса, кожи и мускуловъ, былъ одѣтъ широкимъ покровомъ. Складки его путались между реберъ, и она лѣвой рукой оправляла его, а въ правой крѣпко держала блестящій и острый кинжалъ. Изъ широкаго рта глядѣли гнилые зубы, а на ея голомъ черепѣ мѣ-

стами держались еще куски кожи, и на нихъ росли рѣдкіе и сухіе сѣдые волосы. Въ ямахъ ея глазъ двигались, шурша, могильные черви и падали оттуда внизъ на складки одежды и землю, точно гнойныя слезы...

Она пришла въ городъ и, собравъ горожанъ на площади, сказала имъ, что одному изъ писателей должно умереть; но она хочетъ быть милостивой къ нимъ и потому предоставляетъ имъ самимъ выбрать, кого изъ писателей должна поразить рука ея.

Тогда жители города стали упрашивать ее, чтобы она пощадила обоихъ; но она была непреклонна и, улыбаясь своей неподвижной улыбкой, спросила ихъ, котораго изъ двухъ писателей они больше любятъ. И челюсти ея скрипѣли...

— Мы любимъ обоихъ,—отвѣчали они.—Первый такъ сострадателенъ къ намъ.

— Но за что вы любите второго?—спросила она и затряслась отъ безшумнаго смѣха.

— Какъ же не любить его!.. Когда мы читаемъ его, каждому изъ насъ начинаетъ казаться, что это онъ—тотъ гордый, отважный духомъ, о которомъ говоритъ писатель. И тогда всѣ сосѣди представляются намъ злыми и глупыми, мы чувствуемъ себя выше всѣхъ и больше вѣримъ въ правоту свою и порядковъ своей жизни.

Когда смерть услышала это, она заскрипѣла злорадно костями, словно желѣзный клинокъ стали точить о камень.

— Но все-таки одинъ изъ нихъ долженъ умереть!—сказала она.

Тогда жители стали совѣщаться, какъ быть имъ, и, наконецъ, пришли къ рѣшенію.

— Мы—люди кроткіе и незлобные,—сказали они,—и намъ жаль писателей. Но, если ты захочешь быть доброй, ты, вѣроятно, согласишься на нашу просьбу: пускай никто изъ нихъ не умираетъ, но второй изъ нихъ сойдетъ съ ума.

— Хорошо, пусть будетъ такъ!—сказала смерть, качаясь отъ смѣха. И она ушла изъ города, прямая и высокая, путаясь въ складкахъ своей одежды и звеня костями.

А писатель, обреченный на безуміе, почувствовалъ вдругъ, какъ мозгъ его стягиваетъ подъ черепомъ какая-то сила и

давитъ на него... Потомъ точно упалъ занавѣсъ передъ нимъ, скрывъ отъ него жизнь и людей, и онъ погрузился въ черную тьму...

Жители той страны были очень довольны, что у нихъ явилась возможность ухаживать за писателемъ, который казался прежде столь могучимъ и неравнымъ имъ. Они гордились тѣмъ, что такъ берегутъ и жалѣютъ, и любятъ его. И когда онъ шелъ вдоль улицы, ему протягивали куски хлѣба и сыпали въ его руки мелкія блестящія монеты.

А тѣ, которые хвалили его ранѣе изъ страха и лицемѣрія, слушая то, что говорилъ онъ, замѣчали другимъ:

— Видите, каковъ онъ? Онъ всегда былъ сумасшедшимъ, и мы всегда считали его такимъ и указывали вамъ на это и на безуміе ученія его...

В. Г. Короленко.

„БОЖІЙ ГОРОДОКЪ“.

Изъ дорожнаго альбома.

I.

Раннимъ лѣтнимъ утромъ съ котомкой за плечами я вышелъ изъ Арзамаса...

На юго-востокъ отъ города передо мной разстилалась отлогая зеленая гора. Бѣлая церковка городского кладбища привѣтливо и кротко глядѣла изъ-за густо разросшихся надъ могилами деревьевъ, а въ сторонѣ отъ кладбища, по скату горы, кое-гдѣ изрытой ямами, бѣлѣли нѣсколько пятнушекъ... Подойдя поближе, я увидѣлъ четыре крохотныхъ домика изъ стариннаго кирпича, съ двухскатными крышами, сильно обомшѣлыми и поросшими лишаями... На верхушкахъ странныхъ, почти игрушечныхъ хижинокъ стоятъ кресты, а въ стѣны вдѣланы темныя доски иконъ, на которыхъ лики давно уже свѣяны вѣтрами и смыты дождями...

Мнѣ говорили въ Арзамасѣ, что сравнительно еще недавно отлогость горы была густо покрыта этими странными домиками, точно цѣлый городъ карликовъ раскинулся противъ настоящаго города, съ его огромнымъ соборомъ, стѣнами, колокольнями монастырей и куполами церквей... Народъ звалъ это мѣсто „Божіимъ городкомъ“, а теперь, когда городокъ постепенно исчезъ, — остатки зоветъ „божіими домами“...

Каждый годъ, въ четвергъ седьмой недѣли послѣ пасхи духовенство отправляется на эту гору, и тамъ, среди загадочныхъ домиковъ вьется въ воздухѣ синій кадильный дымъ, разносится запахъ ладона и заупокойное клирное пѣніе:

„Помяни, Господи, убіенныхъ рабовъ Твоихъ и отъ невѣдомой смерти умершихъ, ихъ же имена Ты, Господи, вѣси!..“ О комъ молятся, кому поютъ вѣчную память, чьи грѣшныя души жадно внимаютъ молебному пѣнію,—объ этомъ не знаетъ ни вздыхающій кругомъ и молящійся народъ, ни даже арзамасскій клиръ, для котораго эта молитва среди исчезающаго „городка“ есть исконный обычай, завѣщаніе сѣдой старины.

А сѣдая старина была печальна и покрыта кровью...

Черезъ Арзамасъ шелъ когда-то рубежъ, городъ несъ сторожевую службу... Любой вихрь, взметавшій пыль въ далекихъ вольныхъ степяхъ, уже вызывалъ тревогу и волненіе. Одни смотрѣли на степь со страхомъ, другіе съ смутными надеждами... И всякая искра, занесенная сюда волжскимъ вѣтромъ, находила достаточно горючаго матеріала—въ насиліи, въ неправдѣ, въ порабощеніи и въ тяжкихъ страданіяхъ... На этой почвѣ и возникъ божій городъ...

Первый, кажется, положилъ ему основаніе въ 1708 г. Кондрашка Булавинъ, разославшій съ вольнаго Дона свои „прелестныя письма“. „Атаманы-молодцы, дорожные охотнички, вольные всякихъ чиновъ люди, воры и разбойники! Кто похочетъ съ военнымъ походнымъ атаманомъ Кондратьемъ Аѳанасьевичемъ Булавинымъ, кто похочетъ съ нимъ погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поѣсть, на добрыхъ коняхъ поѣздить, то пріѣзжайте на черны вершины самарскія“... Такъ писалъ крамольный атаманъ къ донцамъ, и на Украину и въ сѣчь, къ запорожцамъ. А въ „низовые и верховые города, начальнымъ добрымъ людямъ также въ села и деревни“ летѣли съ Дону другія рѣчи. Въ длинныхъ и дѣловитыхъ, серьезно и съ большимъ политическимъ смысломъ составленныхъ письмахъ излагались всѣ притѣсненія помѣщиковъ и подьячихъ, вся волокита и неправда, отъ которыхъ издавна стонала земля. И замѣчательно, что въ этихъ письмахъ говорилось о томъ же, о чемъ говорили и многіе царскіе указы... Хуже всего, конечно, было то, что все это была горькая правда... Только не суждено было атаманамъ, стоявшимъ за старину и налетавшимъ на добрыхъ коняхъ изъ окраинныхъ степей, вывести на Руси злое сѣмя!

А истомленная земля ждала и колыхалась... Пылали пожары, лилась кровь, чинилась жестокая народная расправа,

а изъ Москвы двигались рати и слышалось грозное слово Петра: „ходить по городамъ и деревнямъ, которые пристаютъ къ воровству, и оные жечь безъ остатку, а людей рубить, а заводчиковъ на колеса и колья... Ибо сія сарынь, кромѣ жесточи, не можетъ унята быть“...

И въ жесточи, очевидно, недостатка не было, такъ что и самъ грозный Царь послѣ усмиренія пишетъ Долгорукому, чтобы онъ не мстилъ за смерть убитаго Булавинымъ брата, помня, что многіе пристали къ бунту по неразумію или отъ утѣсненій... Бунтовщиковъ свозили и къ Арзамасу. По дорогамъ стояли висѣлицы, колья и колеса, и городъ, во время одной изъ подобныхъ расправъ, по словамъ очевидца-современника, приведеннымъ у Соловьева,—походилъ на адъ: болѣе недѣли кругомъ стояли стоны нестерпимыхъ мученій, и хищныя птицы носились надъ мѣстомъ казни...

А вслѣдъ затѣмъ на горѣ забѣлѣли первые домики божьяго городка...

Потомъ къ костямъ булавинцевъ присоединились кости несчастныхъ ссыльныхъ стрѣльцовъ, что еще во времена Петра самовольно и въ противность царскому указу покинули Великія-Луки и крѣпко за свою правду стояли противъ царскаго воеводы Шеина съ большимъ полкомъ и бились огненнымъ и рукопашнымъ боемъ, чтобы грудью проложить себѣ путь на Москву, въ Стрѣлецкія слободы, ко дворамъ, къ женамъ и дѣтишкамъ. Послѣ упорнаго боя воевода одолѣлъ, и царскими ослушниками наполнились арзамасскіе тюрьмы и караулы. Зачинщиковъ тогда же показнили, но Царь, вернувшись изъ-за границы, остался недоволенъ слабостію и поноровкою Шеина. Изъ Москвы наѣхалъ въ Арзамасъ царскій стольникъ, и въ городѣ не хватило для новыхъ пытокъ и казней заплечныхъ мастеровъ, которыхъ стольникъ требовалъ нарочито изъ Москвы...

И къ божьему городу прибавились новые домы...

Такъ, залитая кровью бунтовъ и казней, замирала дѣтски наивная мечта народа о вольной жизни, связанная съ крестомъ и бородою, съ казацкими кругами, съ смутными воспоминаніями о давно отжившихъ формахъ... Замирала до новыхъ судорожныхъ вспышекъ, въ ожиданіи великихъ дней свободы... А старое безправіе и неволя смыкались еще тѣс-

нѣе, и подъ ними копилось и закипало опять вѣковое страданіе... И память народа невольно возвращалась къ тѣмъ, кто обѣщалъ свободу и кто запечатлѣлъ эти обѣщанія и своей, и чужою кровью...

И послѣ каждаго движенія, точно камни, выкидываемые на отмель бурнымъ приливомъ, выростали еще нѣсколько „божіихъ домовъ“ на скатѣ арзамасской горы. Прибавилось ихъ немало и послѣ Пугачова... И кто-то тутъ долго плакалъ, и припадалъ къ землѣ, и орошалъ позорныя могилы своими горячими, любящими слезами... Потомъ умирали и эти плакавшіе люди, но народъ все-таки поддерживалъ домы божьяго городка, и чьи-то безвѣстныя руки приносили сюда иконы... Вѣтеръ и солнце, дожди и бури стирали на иконахъ лики, оставляя однѣ темныя доски, на которыхъ ничего уже не было видно. Но надъ горой оставалось чувство народа, связанное съ давно исчезнувшими изъ памяти событіями... чувство грустнаго недоумѣнія, не смѣющаго произнести судъ и предоставляющаго этотъ судъ Богу... „Для души“ люди поновляли развалившіяся крыши, приносили иконы, и до сихъ поръ надъ горой звучитъ молитва о всѣхъ, убіенныхъ и невѣдомою смертію умершихъ, чьи имена Ты, Господи, вѣси, и чьи дѣла истомленная земля отдаетъ на судъ небу...

II.

Было тихое, ясное утро, когда я подходилъ къ остаткамъ божьяго городка. Какая-то арзамасская мѣщанка гнала корову, которую, повидимому, проискала всю ночь, и теперь машинально крестилась на крестъ одного изъ божьихъ домовъ... Прошли мимо двое рабочихъ, съ черными глазами, загорѣлыми лицами и рѣзкими движеньями... Они съ любопытствомъ посмотрѣли на мою странницкую фигуру и остановились въ раздумьи, замѣтивъ мое вниманіе къ гробницамъ... Они исконные арзамассцы, скорняки-кошатники; дѣло ихъ идетъ плохо, хоть брось, и они думаютъ, что когда-то, въ старинныя времена, было, пожалуй, лучше. О божіемъ городкѣ знаютъ только, что здѣсь хоронятъ умершихъ „не-

запною или дурною смертью". Прежде домовъ было много больше...

Теперь ихъ осталось только четыре. Три совсѣмъ крохотные, меньше человѣческаго роста, одинъ значительно больше, что-то въ родѣ часовенки, съ незапертой дверью, позволяющей войти внутрь. На порогѣ сидѣлъ старый дѣдъ, съ посошкомъ и котомкой, и перевязывалъ оборку лаптя.

— Здравствуй, дѣдушка.

— Здорово, сынокъ. Куда путь держишь?

— Въ Саровъ.

— Эвона—дорога-те! На мостъ, да на слободу.

— Знаю, дѣдушка. Я нарочно свернулъ, поглядѣть на божіи домы.

— Погляди, что-жъ. И помолиться этто гоже. Божье мѣсто, угодное...

— А кто здѣсь похороненъ, не знаешь ли?

— И-й, сынокъ... Лежитъ здѣсь народу... всякаго званія... сила. Одинъ Салтыковъ, помѣщикъ, сколько душъ загубилъ... Не приведи Господи! Бывало,—говорили старые люди,—ѣдетъ купецъ отъ Макарья, доѣхалъ до Арзамасу, служитъ молебенъ. Теперь, баетъ, слава-те Господи, почитай дома. А на зарѣ выѣдетъ изъ городу неопасно, на мосту его баринъ Салтыковъ съ челядью и прикончатъ... Кинутъ въ Тёшу, а черезъ день, черезъ два всплывутъ тѣла, людишки-те поймаютъ и похоронятъ вотъ тутъ... А то и сами салтыковскіе, дурачки, сволокутъ ночнымъ дѣломъ: лежите, молъ, до суда Господня...

Мнѣ приходилось уже слышать фамилію этого Салтыкова, а старинныя дѣла нижегородскаго архива хранятъ память о самыхъ мрачныхъ подвигахъ этого дворянскаго рода... Одинъ изъ нихъ извѣстенъ и въ исторіи пугачевскаго бунта. Когда въ народѣ пронеслась вѣсть, что Петръ Ѳедоровичъ объявился и идетъ на царство, салтыковскіе крѣпостные подумали, что теперь пришелъ уже конецъ злодѣйствамъ и разбоямъ ихъ барина. Собравшись міромъ, они захватили его, связали, положили въ телѣгу и повезли „въ царскій лагерь". Но,—говорится въ печатныхъ извѣстіяхъ объ этомъ эпизодѣ,—Господь услышалъ молитву невинной жертвы, и вмѣсто полчищъ самозванца, злодѣи наткнулись на отрядъ

Михельсона. Невинная жертва была тотчасъ же освобождена, а простодушные злодѣи понесли должное наказаніе... И кости ихъ присоединились, вѣроятно, къ костямъ булавинцевъ и стрѣльцовъ, и жертвъ того же Салтыкова. И всѣ вмѣстѣ лежатъ—до божьяго суда надъ земными дѣлами!..

— Да, вонъ она слобода-те,—сказалъ дѣдъ, подымаясь на ноги и указывая рукой на Выѣздную слободу, курившуюся въ дыму и въ утреннемъ туманѣ за Тёшей.—Что станешь дѣлать! Могутный баринъ былъ, видно, сильный...

— Такъ, по вашему, съ этихъ поръ и домы стоятъ?

— Гдѣ съ этихъ поръ! Нѣ-ѣтъ, много ранѣе, видно... Какъ Пугачовъ ходилъ, пожалуй, уже стояли.

— А кто такой Пугачовъ?

— Да вѣдь... кто знаетъ, народъ мы темный. Да и дѣло-то, слышь, давнее. Отецъ у меня сорокъ лѣтъ назадъ померъ, а жилъ девяносто годовъ. Считай теперь, много ли годовъ тому... Отецъ-то еще, почитай, мальчикомъ малымъ былъ.

— Сто двадцать лѣтъ.

— То-то—сто двадцать, поболѣе, гляди. А что строгой былъ, это вѣрно. Сейчасъ въ деревню пришелъ,—подавай господъ! И гдѣ которыхъ, ежели, мужички скроютъ, и-и! Не приведи Богъ. Лютой! И тоже почетъ любилъ. Этто родитель покойникъ сказывалъ, два села были рядомъ. Изъ одного-то, догадались міряне, икону подняли, да стрѣчу ему и пошли. Ну, пожаловалъ тѣхъ, наградилъ и указъ далъ, стало быть милостивой манифестъ. А наши, баетъ, не догадались, дурачки, не вышли, такъ онъ, слышь, все село и спалилъ. Строгой былъ, строгой, нечего сказать, строгой...

Тутъ дѣдъ посмотрѣлъ на меня, на цѣпочку отъ моихъ часовъ, на записную книжку, въ которую я захотѣлъ записать его слова—и сказалъ, снимая шапку:

— Прости Христа ради!

— Что ты это, дѣдушка?

— Темные мы, гдѣ намъ знать... Можетъ что не такъ сказалъ... А что строгой былъ, это вѣрно... И порядокъ любилъ!

Кажется, почтенный старецъ опасался, какъ бы „господинъ“ не осудилъ его за фамильярные отзывы о высокой

особѣ Пугачова, любившаго порядокъ и издававшаго манифесты...

Мнѣ удалось его успокоить, и мы опять завели бесѣду о божьихъ домахъ. Старикъ оказался очень сообщительнымъ. Его маленькіе, живые глазки свѣтились умомъ, а память хранила много любопытнаго. И онъ разсказалъ мнѣ легенду, связанную съ божіимъ городомъ и прекрасно выражающую смутное чувство, витающее надъ этимъ мѣстомъ... Чувство прощающаго и робкаго недоумѣнія, смутнаго вопроса и молитвы обо всѣхъ, кто теперь лежитъ здѣсь, подъ землей, а когда-то жилъ и можетъ быть заблуждался, и можетъ быть понесъ должную казнь, а можетъ быть сложилъ свою голову за дѣло, которое слѣдуетъ считать святымъ и хорошимъ...

III.

Было это во времена Степана Тимоѳеича Разина. Когда загремѣлъ Стенькинъ громъ надъ широкою русской землей,— пошалили, говорятъ, разинскіе работнички и въ Арзамасѣ. Выбѣгали они оттуда и дальше на сѣверъ, загнѣздились было въ Большомъ-Мурашкинѣ, ходили на Лысково и на Макарій. А потомъ по тѣмъ же слѣдамъ ходили царскіе воеводы и чинили свою расправу, послѣ расправы разинцевъ.

Коротки и кровавы были дни молодецкаго разгула и мести, коротка и жестока была также и расплата. Настроили заплечные мастера цѣлый лѣсъ столбовъ съ перекладинами, и къ вечеру народъ глядѣлъ съ горы на гору, какъ качались, рисуясь на аломъ небѣ, темныя тѣла удалыхъ молодцовъ, атамановъ, да и своей арзамасской вольницы, приставшей къ кровавому пиру... Видѣли все это арзамасскіе люди и колебались смущенною совѣстью. Вороны летали надъ угоромъ, садилось за дальними полями кровавое солнце, пугливые сумраки крыли небо, ложились на землю... Кто же это виситъ тамъ на горѣ? Злодѣи и напрасные душегубы, проливавшіе неповинную чужую кровь, или подлинные защитники народной воли, грозные мстители вѣковѣчной неправды? Правда, казацкая сабля плохо разбирала друзей и враговъ, хмѣльной разгулъ вольной-волюшки лилъ кровь, какъ вино, и объ атаманѣ Степанѣ Тимоѳеичѣ тоже вспоминали, навѣр-

ное, не въ одной деревнѣ: „Строгой былъ, строгой, нечего сказать, строгой!“ Но его громъ, какъ и настоящая гроза, все-таки чаще попадалъ въ высокіе хоромы, обходя низкія избы. И среди пролитой крови было не мало крови повинной. Съ другой стороны, въ застѣнкахъ лилась далеко не одна только виновная кровь, и тогдашняя расправа иной разъ немногимъ отличалась отъ разбоя. Мудрено ли, что совѣсть народа колебалась и смущалась, и что больше сожалѣнія вызывалъ именно тотъ, кто болѣе страдалъ въ данное время?

И вотъ,—говоритъ арзамасское преданіе,—въ эту самую ночь по большой саратовской дорогѣ молодой арзамасскій купецъ гналъ во всю мочь усталаго коня. Богатый купецъ, пожалуй, зналъ лучше другихъ, кого ему слѣдуетъ жалѣть и кого ненавидѣть, и богатый обозъ нелегко было провести безъ убытку въ это безпокойное время. Но онъ бросилъ далеко на дорогѣ обозъ, товары и пожитки, вскинулъ пищаль за плечо и мчался одинъ къ Арзамасу, узнавъ отъ встрѣчныхъ бѣглецовъ, что въ городѣ неладно, что въ немъ уже гуляютъ стенькины неласковые ребята. А у купца въ городу старые отецъ съ матерью, да молодая любимая жена съ первенцемъ-сыномъ.

Въ темную полночь, на взмыленномъ конѣ, выскочилъ молодецъ изъ лѣсу на поляну, въ виду родимаго города. Не видать уже надъ городомъ зарева пожаровъ, не слышно набата, городъ будто весь вымеръ, только въ церквахъ кое-гдѣ робко теплятся огоньки,—знать у мертвыхъ тѣлъ, поставленныхъ для отпѣванія...

И вдругъ конь у купца захрапѣлъ и насторожился.

Было это на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоятъ божіи домы. Видитъ купецъ, стоитъ на горѣ странный лѣсъ, безъ листвы, безъ вѣтвей, и точно зрѣлые плоды—висятъ добрые молодцы, и черные вороны тяжело машутъ крыльями и глядятъ молодцамъ въ мертвыя очи. Накипѣло у купца на сердцѣ отъ неизвѣстности и горя, когда онъ мчался днемъ и ночью, смѣняя устававшихъ коней, а на душѣ чернымъ камнемъ лежала кручина... Осадилъ онъ коня, привсталъ на стременахъ и изо всей силы хлестнулъ плетью ближайшее мертвое тѣло... Тѣло закачалось, лязгнула цѣпь, и вороны поднялись, тяжело взмахивая крыльями...

И говоритъ старое арзамасское преданіе, что свершилось въ ту минуту страшное чудо. Со всѣхъ висѣлицъ, и съ колесъ, и съ окровавленныхъ кольевъ черною сѣтью взвились вороны, какъ темная туча. Потомъ, лязгая цѣпями, сорвались казненные съ петель и крючьевъ. Испуганный конь помчалъ молодца съ отлогой горы, пролетѣлъ по лугамъ, перемахнулъ черезъ ручей и, напрягая послѣднія силы, принесъ въ городъ... И все время, точно осенніе листья въ непогоду, вихремъ неслись за нимъ тѣни казненныхъ, и мертвыя очи горѣли огнями, и руки, закованныя въ цѣпи, тянулись къ нему съ проклятьями, и мертвые голоса плакали, жаловались и проклинали.

Понялъ тогда купецъ, что не ему судить тѣхъ, кто стоитъ уже передъ другимъ судомъ, слагая тамъ и свои и чужія неправды, и свои и чужія обиды, и свою и чужую пролитую кровь. И далъ онъ въ ту страшную минуту крѣпкій обѣтъ: схоронить всѣхъ казненныхъ въ общей могилѣ, воздвигнуть надъ ними скудельницу и ежегодно дарить грѣшныя души молебнымъ пѣніемъ...

Съ этихъ будто поръ и повелись въ Арзамасѣ божіи домы. Съ этихъ поръ, продолжая стародавній обычай, поетъ надъ безвѣстными могилами клиръ, съ этихъ поръ не переводятся въ божіихъ домахъ невѣдомо кѣмъ приносимыя иконы.

IV.

Мы вошли въ часовню. Вдоль ея стѣнъ придѣланы полки, а у восточной стѣны цѣлый кіотъ съ распятіемъ и иконами... Мрачные, темные лики, старыя доски, усѣкновенныя главы, распятія. Какъ-будто смутное чувство простодушныхъ приносителей этихъ иконъ подсказываетъ имъ этотъ подборъ символовъ мученія, страданія и казней. Но особенно поразила меня одна, въ которой по странному вдохновенію невѣдомаго художника сосредоточенно выразилось все значеніе этого печальнаго мѣста, проникнутаго и печалью, и прощеніемъ, и надеждой. Икона, повидимому, не стара или подновлена, и изображена у подножія распятія. Волею или безсознательно, чья-то наивная кисть съ грубоватою силою собрала въ одно мѣсто орудія мученій и пытокъ. На полукругломъ

бугрѣ темнѣетъ отрубленная кисть руки съ сжатыми пальцами. Большіе гвозди лежатъ рядомъ съ нею; молотокъ и клещи висятъ просто въ воздухѣ. Затѣмъ, обрывки цѣпи, позорный столбъ съ привязанными къ нему пучками розогъ и плетью... все это рисуется на фонѣ блѣдныхъ, неясно клубящихся тучъ. Но откуда-то съ вышины уже блеститъ слабый лучъ, разорвавшій облака, скользнувшій среди тумановъ, какъ отблескъ далекой надежды. И будто для того, чтобы яснѣе подчеркнуть свою мысль, художникъ нарисовалъ пѣтуха, привѣтствующаго свѣтъ. На вершинѣ позорнаго столба вѣщая птица уже трепещетъ крыльями и съ разинутымъ клювомъ, видимо, кличетъ зарю...

. . . . . .

Тихо, въ глубокомъ молчаніи мы вышли изъ часовни. И хотя въ ней не было темно, но мнѣ, и судя по облегченному вздоху моихъ собесѣдниковъ,—не мнѣ одному показалось, что изъ-за этой низкой дверки мы шагнули изъ глубокаго мрака на свѣтъ яснаго дня. Прямо передо мной маленькіе крупчатки, точно живыя, тихо махали своими изящными крыльями; церкви и монастыри Арзамаса, точно кружево, бѣлѣли на сосѣдней горѣ. Выѣздная слобода съ напольною церковью красиво глядѣлись въ Тёшу...

— Э-эхъ, ты, Господи, батюшка!—глубоко и протяжно вздохнулъ одинъ изъ двухъ субъектовъ, работающихъ „по кошачьей части“. Что онъ хотѣлъ сказать этимъ вздохомъ,—я не знаю. То ли, что и теперь имъ приходится трудно, хоть брось... Или то, что, какъ ни трудно, а все-таки лучше жить нынѣшнимъ днемъ, чѣмъ этой старинною, мрачною ночью... Мнѣ казалось, что скорѣе—послѣднее.

Мы распрощались.

ВПЕРЕДЪ!...

Этотъ отрывистый, повелительный возгласъ былъ первымъ воспоминаніемъ m-lle Норы изъ ея темнаго, однообразно-бродячаго дѣтства. Это слово раньше всѣхъ другихъ словъ выговорилъ ея слабый, младенческій язычокъ, и всегда, даже въ сновидѣніяхъ, вслѣдъ за этимъ крикомъ вставали въ памяти Норы: холодъ нетопленной арены цирка, запахъ конюшни, тяжелый галопъ лошади, сухое щелканье длиннаго бича и жгучая боль удара, внезапно заглушающая минутное колебаніе страха...

— Впередъ!..

Въ пустомъ циркѣ темно и холодно. Кое-гдѣ, едва прорѣзавшись сквозь стеклянный куполъ, лучи зимняго солнца ложатся слабыми пятнами на малиновый бархатъ и позолоту ложъ, на щиты съ конскими головами и на флаги, украшающіе столбы; они играютъ на матовыхъ стеклахъ электрическихъ фонарей и скользятъ по стали турниковъ и трапецій тамъ, на страшной высотѣ, гдѣ перепуталась цѣлая сѣть машинъ и веревокъ. Глазъ едва различаетъ только первые ряды креселъ, между тѣмъ какъ мѣста за ложами и галлерея совсѣмъ утопаютъ во мракѣ.

Идетъ дневная работа. Пять или шесть артистовъ въ шубахъ и шапкахъ сидятъ въ креслахъ перваго ряда около входа въ конюшни и курятъ вонючія сигары. Посреди манежа стоитъ коренастый коротконогій мужчина съ цилиндромъ на затылкѣ и съ черными усами, тщательно закрученными въ ниточку. Онъ обвязываетъ длинную веревку вокругъ пояса стоящей передъ нимъ крошечной пятилѣтней дѣвочки, дрожащей отъ волненія и стужи. Громадная бѣлая лошадь, ко-

торую конюхъ водитъ вдоль барьера, громко фыркаетъ, мотая выгнутой шеей, и изъ ея ноздрей стремительно вылетаютъ струи бѣлаго пара. Каждый разъ, проходя мимо человѣка въ цилиндрѣ, лошадь косится на хлыстъ, торчащій у него изъ подъ-мышки, и тревожно храпитъ и, прядая, влечетъ за собою упирающагося конюха. Маленькая Нора слышитъ за своей спиной ея нервныя движенія и дрожитъ еще больше:

Двѣ мощныя руки обхватываютъ ее за талію и легко взбрасываютъ на спину лошади, на широкій кожаный матрацъ. Почти въ тотъ же моментъ и амфитеатръ стульевъ, и бѣлые столбы, и тиковыя занавѣски у входовъ—все сливается въ одинъ пестрый кругъ, быстро вертящійся навстрѣчу лошади. Напрасно руки замираютъ, судорожно вцѣпившись въ жесткую волну гривы, а глаза плотно сжимаются, ослѣпленные бѣшенымъ мельканіемъ мутнаго круга. Мужчина въ цилиндрѣ ходитъ внутри манежа, держа у головы лошади конецъ длиннаго бича и оглушительно щелкая имъ...

— Впередъ!...

А вотъ она въ короткой газовой юбочкѣ, съ обнаженными, худыми полудѣтскими руками стоитъ въ морѣ огня подъ самымъ куполомъ цирка на сильно качающейся трапеціи. На той же трапеціи, у ногъ дѣвочки виситъ внизъ головою, уцѣпившись колѣнами за палку, другой коренастый мужчина въ розовомъ трико съ золотыми блестками и бахромой, завитой, напомаженный и жестокій. Вотъ онъ поднялъ кверху опущенныя руки, развелъ ихъ, устремилъ въ глаза Норы острый, прицѣливающійся и гипнотизирующій взглядъ акробата и... хлопнулъ въ ладони. Нора дѣлаетъ быстрое движеніе впередъ, чтобы ринуться внизъ, прямо въ эти сильныя, безжалостныя руки (о, съ какимъ испугомъ вздохнутъ сейчасъ сотни зрителей!), но сердце вдругъ холодѣетъ и перестаетъ биться отъ ужаса, и она только крѣпче стискиваетъ тонкія веревки. Опущенныя безжалостныя руки подымаются опять, взглядъ акробата становится еще напряженнѣе... Пространство внизу, подъ ногами кажется бездной.

— Впередъ!...

Она балансируетъ, едва переводя духъ, на самомъ верху „живой пирамиды“ изъ шестерыхъ людей. Она скользитъ, извиваясь гибкимъ, какъ у змѣи, тѣломъ между переклади-

нами длинной бѣлой лѣстницы, которую внизу кто-то держитъ на головѣ. Она перевертывается въ воздухѣ, взброшенная на верхъ сильными и страшными, какъ стальныя пружины, ногами жонглера въ „икарійскихъ играхъ“. Она идетъ высоко надъ землей по тонкой, дрожащей проволокѣ, невыносимо рѣжущей ноги... И вездѣ тѣ же глупо-крашенныя лица, напомаженные проборы, взбитые коки, закрученные усы, запахъ сигаръ и потнаго человѣческаго тѣла, и вездѣ все тотъ же страхъ и тотъ же неизбѣжный, роковой крикъ, одинаковый для людей, для лошадей и для дрессированныхъ собакъ:

— Впередъ!...

Ей только что минуло шестнадцать лѣтъ, и она была очень хороша собою, когда однажды во время представленія она сорвалась съ воздушнаго турника и, пролетѣвъ мимо сѣтки, упала на песокъ манежа. Ее тотчасъ же, безчувственную, унесли за кулисы и тамъ, по традиціонному обычаю цирковъ, стали изо всѣхъ силъ трясти за плечи, чтобы привести въ себя. Она очнулась и застонала отъ боли, которую ей причинила вывихнутая рука.—„Публика волнуется и начинаетъ расходиться,—говорили вокругъ нея,—идите и покажитесь публикѣ!...“ Она послушно сложила губы въ привычную улыбку, улыбку „граціозной наѣздницы“, но, сдѣлавъ два шага, закричала и зашаталась отъ невыносимаго страданія. Тогда десятки рукъ подхватили ее и насильно вытолкнули за занавѣски входа.

— Впередъ!...

Въ этотъ сезонъ въ циркѣ „работалъ“ въ качествѣ гастролера клоунъ Менотти,—не простой и дешевый бѣднягаклоунъ, валяющійся по песку, получающій пощечины и умѣющій, ничего не ѣвши со вчерашняго дня, смѣшить публику цѣлый вечеръ неистощимымъ комизмомъ,—а клоунъ-знаменитость, первый соло-клоунъ и подражатель въ свѣтѣ, всемірно-извѣстный дрессировщикъ, получившій почетные призы и т. д., и т. д. Онъ носилъ на груди тяжелую цѣпь изъ золотыхъ медалей, бралъ по 200 рублей за выходъ, гордился тѣмъ, что вотъ уже пять лѣтъ не надѣваетъ другихъ костюмовъ, кромѣ муаровыхъ, неизбѣжно чувствовалъ себя послѣ вечеровъ „разбитымъ“ и съ приподнятой горечью

говорилъ про себя: „да! мы—шуты, мы должны смѣшить *сытую* публику!“ На аренѣ онъ фальшиво и претенціозно пѣлъ старые куплеты, или декламировалъ стихи своего сочиненія, или „продергивалъ“ думу и канализацію, что въ общемъ производило на публику, привлеченную въ циркъ безшабашной рекламой, впечатлѣніе напыщеннаго, скучнаго и неумѣстнаго кривлянья. Въ жизни же онъ имѣлъ видъ томно-покровительственный и любилъ съ таинственнымъ, небрежнымъ видомъ намекать на свои связи съ необыкновенно красивыми, страшно богатыми, но совершенно наскучившими ему графинями.

Когда, излѣчившись отъ вывиха руки, Нора впервые показалась въ циркъ, на утреннюю репетицію, Менотти задержалъ, здороваясь, ея руку въ своей, сдѣлалъ усталовлажные глаза и разслабленнымъ голосомъ спросилъ ее о здоровьи. Она смутилась, покраснѣла и отняла свою руку. Этотъ моментъ рѣшилъ ея участь.

Черезъ недѣлю, провожая Нору съ большого вечерняго представленія, Менотти попросилъ ее зайти съ нимъ поужинать въ ресторанъ той великолѣпной гостинницы, гдѣ всемірно-знаменитый, первый соло-клоунъ всегда останавливался.

Отдѣльные кабинеты помѣщались въ верхнемъ этажѣ, и, взойдя на верхъ, Нора на минуту остановилась—частью отъ усталости, частью отъ волненія и послѣдней цѣломудренной нерѣшимости. Но Менотти крѣпко сжалъ ея локоть. Въ его голосѣ прозвучала звѣриная страсть и жестокое приказаніе бывшаго акробата, когда онъ прошепталъ:

— Впередъ!...

И она пошла... Она видѣла въ немъ необычайное, верховное существо, почти бога... Она пошла бы въ огонь, если бы ему вздумалось приказать.

Въ теченіе года она ѣздила за нимъ изъ города въ городъ. Она стерегла брилліанты и медалиМенотти во время его выходовъ, надѣвала на него и снимала трико, слѣдила за его гардеробомъ, помогала ему дрессировать крысъ и свиней, растирала на его физіономіи кольдъ-кремъ и—что всего важнѣе—вѣрила, съ фанатизмомъ идолопоклонника, въ его міровое величіе. Когда они оставались одни, онъ не нахо-

дилъ о чемъ съ ней говорить и принималъ ея страстныя ласки съ преувеличенно-скучающимъ видомъ человѣка пресыщеннаго, но милостиво позволяющаго обожать себя.

Черезъ годъ она ему надоѣла. Его разслабленный взоръ обратился на одну изъ сестеръ Вильсонъ, совершавшихъ „воздушные полеты". Теперь онъ совершенно не стѣснялся съ Норой и нерѣдко въ уборной, передъ глазами артистовъ и конюховъ колотилъ ее по щекамъ за непришитую пуговицу. Она переносила это съ тѣмъ же смиреніемъ, съ какимъ принимаетъ побои отъ своего хозяина старая, умная и преданная собака.

Наконецъ, однажды ночью послѣ представленія, на которомъ первый въ свѣтѣ дрессировщикъ былъ освистанъ за то, что черезчуръ сильно ударилъ хлыстомъ собаку, Менотти прямо сказалъ Норѣ, чтобы она немедленно „убиралась отъ него ко всѣмъ чертямъ". Она послушалась, но у самой двери номера остановилась и обернулась назадъ съ умоляющимъ взглядомъ. Тогда Менотти быстро подбѣжалъ къ двери, бѣшенымъ толчкомъ ноги распахнулъ ее и закричалъ:

— Впередъ!...

Но черезъ два дня ее, какъ побитую и выгнанную собаку, опять потянуло къ хозяину. У нея потемнѣло въ глазахъ, когда лакей гостинницы съ наглой усмѣшкой, сказалъ ей: „къ нимъ нельзя-съ, они въ кабинетѣ заняты съ барышней-съ".

Нора взошла на верхъ и безошибочно остановилась передъ дверью того же самаго кабинета, гдѣ годъ тому назадъ она была съ Менотти. Да, онъ былъ тамъ: она узнала его томный голосъ „переутомившейся знаменитости", изрѣдка прерываемый счастливымъ смѣхомъ рыжей англичанки. Она быстро отворила дверь.

Малиновыя съ золотомъ обои, яркій свѣтъ двухъ канделябровъ, блескъ хрусталя, гора фруктовъ и бутылки въ серебряныхъ вазахъ,—Менотти, лежавшій безъ сюртука на диванѣ, и Вильсонъ съ разстегнутымъ корсажемъ, запахъ духовъ, вина, сигары, пудры,—все это сначала ошеломило ее; потомъ она кинулась на Вильсонъ и нѣсколько разъ ударила ее кулакомъ въ лицо. Та завизжала,—и началась безобразная свалка...

Когда Менотти удалось съ трудомъ растащить обѣихъ женщинъ, Нора стремительно бросилась передъ нимъ на колѣни и, осыпая поцѣлуями его сапоги, съ безумной страстью умоляла возвратиться къ ней. Менотти съ трудомъ оттолкнулъ ее отъ себя и, крѣпко сдавивъ ее за шею сильными пальцами, сказалъ:

— Если ты сейчасъ не уйдешь, дрянь, то я прикажу лакеямъ вытащить тебя отсюда!

Она встала, задыхаясь, и зашептала:

— А-а! Въ такомъ случаѣ... въ такомъ случаѣ...

Взглядъ ея упалъ на открытое окно. Быстро и легко, какъ привычная гимнастка, она очутилась на подоконникѣ и наклонилась впередъ, держась руками за обѣ наружныя рамы.

Глубоко внизу на мостовой грохотали экипажи, казавшіеся сверху маленькими и странными животными, тротуары блестѣли послѣ дождя, и въ лужахъ колебались отраженія уличныхъ фонарей.

Пальцы Норы похолодѣли и сердце перестало биться отъ минутнаго ужаса... Тогда, закрывъ глаза и глубоко переведя дыханіе, она подняла руки надъ головой и, поборовъ привычнымъ усиліемъ свою слабость, крикнула, точно въ циркѣ:

— Впередъ!...

Н. Мировичъ.

Новая попытка соціально-воспитательной реформы во Франціи.

Конецъ истекшаго XIX вѣка у насъ такъ же, какъ и въ Западной Европѣ, отмѣчается однимъ общимъ теченіемъ, которое можетъ быть названо „исканіемъ новыхъ путей". Цѣлый рядъ отрицательныхъ соціальныхъ явленій показалъ, что тѣ устои, на которыхъ доселѣ держалось общественное зданіе, устарѣли и обветшали. Общая неудовлетворенность, утомленіе, тоска—вотъ что характеризуетъ общественную атмосферу конца XIX и начала XX вѣка, вотъ что составляетъ фонъ, на которомъ вырисовываютъ свои картины представители современной литературы...

Но жизнь не можетъ остановиться на одномъ пессимизмѣ, ибо пессимизмъ—отрицаніе жизни. И наиболѣе сильные духомъ во всѣ критическія эпохи исторіи искали выхода, обращаясь къ преобразованію тѣхъ или иныхъ условій общественной жизни. Реформы содѣйствовали ускоренію историческаго прогресса: совершенствовались законы, учрежденія; смягчались постепенно нравы. А все-таки человѣчество не приближалось, а скорѣе удалялось отъ счастья, и пессимизмъ свивалъ себѣ среди людей все болѣе прочное гнѣздо. И вотъ, естественно явилась мысль, что корень зла—не въ однихъ общественныхъ и политическихъ условіяхъ, что послѣднія сами въ зависимости отъ индивидуальной личности, оказывающейся несостоятельной въ жизненной борьбѣ. Отсюда выводъ: личность надо такъ перевоспитать, чтобы она могла противустоять злу и увеличивать сумму общаго блага. И вотъ, мы встрѣчаемъ въ концѣ XIX вѣка цѣлый рядъ попытокъ, направленныхъ къ тому, чтобы преобразовать воспитаніе, дать ему новую основу и направленіе.

Въ числѣ многихъ другихъ нельзя не отмѣтить интересный планъ реформы воспитанія, возникшій за послѣдніе годы во Франціи: мы говоримъ о проектѣ т. наз. соціальнаго воспитанія. Задача иниціаторовъ его—новая общественная революція, но революція, безъ крови и безъ жертвъ, мирная, постепенная. Вѣрнѣе назвать ее—*эволюціей*. Идея ея впервые вышла изъ тѣснаго кружка на широкую общественную арену въ 1900 году, на Парижскомъ конгрессѣ Соціальнаго Воспитанія. Поэтому напомнимъ въ нѣсколькихъ словахъ объ этомъ конгрессѣ, соединившемъ многихъ выдающихся представителей французской интеллигенціи. Иниціаторомъ конгресса явился небольшой кружокъ лицъ, сгруппировавшихся въ 1895 году съ цѣлью распространенія „соціальнаго воспитанія". Лица эти стремились замѣнить устарѣвшее, по ихъ понятію, слово „братство"—словомъ „солидарность". „Уже неоднократно", такъ говорили они *), „были отмѣчены факты, показывающіе взаимную зависимость людей между собой; на нихъ указывали и многіе мыслители. Тѣмъ не менѣе, представленіе о нихъ долго оставалось слишкомъ неопредѣленно, чтобъ они могли войти въ жизнь, но мало-помалу, съ помощью опыта идеи эти стали входить въ сознаніе, и тогда заговорили о сближающей людей солидарности"... Только въ послѣднее время туманныя разсужденія о человѣческой взаимо-зависимости стали предметомъ серьезнаго изученія. Работа г. Жида „Идея солидарности"—ясно опредѣлила основное положеніе,—оставалось сдѣлать изъ этой истины соціологическіе выводы, на практикѣ примѣнить ихъ къ соціальной организаціи; основы ея и даны въ работѣ г. Л. Буржуа „Солидарность", напечатанной въ 1896 году **). Такимъ образомъ, методъ въ общемъ былъ указанъ. Но прежде, чѣмъ предлагать его вниманію общества, предстояло сдѣлать его доступнымъ и яснымъ для каждаго мыслящаго человѣка. Съ этой опредѣленной цѣлью и былъ основанъ въ 1895 году кружокъ изъ мыслителей и общественныхъ дѣятелей, принявшій затѣмъ названіе „группы иниціаторовъ Соціаль-

---

*) L'Ecole Nouvelle, 14 Avril 1900.

**) Въ 1895 г. работа эта первоначально появилась въ „Nouvelle Revue".

наго Воспитанія". Лица эти тотчасъ взялись за дѣло, принявъ за точку отправленія работу г. Буржуа, тѣсно связанную съ предшествовавшими научными изслѣдованіями и дающую имъ новое, опредѣленное практическое направленіе. Затѣмъ, оставалось исполнить вторую важную часть задачи: распространить въ обществѣ идеи соціальной солидарности, идеи, вносящія въ общественную организацію болѣе высокій нравственный уровень.

Для выполненія этой цѣли кружокъ и рѣшилъ организовать въ 1900 году „Конгрессъ Соціальнаго Воспитанія". Цѣль его устроители такъ опредѣляли: подвести итоги взглядовъ современнаго общества по отношенію къ соціальному воспитанію; изучить методъ и практическія средства для достиженія желаемаго результата—обращенія каждаго индивидуума въ полезный и сознательный общественный элементъ.

Такъ былъ задуманъ Конгрессъ Соціальнаго Воспитанія, состоявшійся въ Парижѣ осенью 1900 года. Конгрессъ этотъ поднялъ цѣлый рядъ вопросовъ—педагогическихъ, экономическихъ, соціальныхъ, не всегда стоявшихъ въ тѣсной связи съ главной основной идеей. Зато въ немъ преобладала одна черта, выдѣлившая его изъ ряда другихъ конгрессовъ, на которыхъ намъ пришлось присутствовать во время парижской выставки 1900 года: искренность убѣжденія и самоотверженная преданность идеѣ.

Мы не можемъ въ предѣлахъ краткой статьи касаться всѣхъ поднятыхъ здѣсь вопросовъ и вызванныхъ ими преній. Мы остановимся лишь на нѣкоторыхъ, наиболѣе выдающихся докладахъ. Прежде всего отмѣтимъ рефератъ г. Буржуа, представляющій „profession de foi" организаторовъ конгресса. При этомъ необходимо оговориться: теоріи свои г. Буржуа выражаетъ въ формѣ нѣсколько абстрактной и туманной, и выясненія нѣкоторыхъ существенныхъ вопросовъ мы должны искать въ дальнѣйшей практической дѣятельности его единомышленниковъ.

Бывшій министръ народнаго просвѣщенія ставитъ вопросъ: „возможна ли на практикѣ такая соціальная организація общества, при которой человѣческая дѣятельность регулировалась бы принципами взаимопомощи — солидарно-

сти?“ Для разрѣшенія вопроса г. Буржуа ссылается на факты, причемъ выставляетъ три положенія: 1) Человѣкъ живетъ въ состояніи естественной и необходимой солидарности со всѣми людьми. Это есть условіе жизни. 2) Человѣческое общество развивается лишь посредствомъ индивидуальной свободы. Это есть условіе прогресса. 3) Человѣку свойственно понятіе справедливости и стремленіе къ ней. Это условіе порядка. Спрашивается, какъ же согласовать понятіе солидарности, свободы и справедливости? — Факты указываютъ, что на практикѣ въ этомъ направленіи уже сдѣланы важные шаги. Такъ, въ области частнаго права, опредѣляющаго отношенія каждаго не ко всѣмъ, а къ каждому,—гражданское законодательство давно уже установило извѣстныя правила. Необходимое раздѣленіе труда—источникъ всякаго прогресса, естественно, приводитъ къ обмѣну услугъ, средству распредѣленія между отдѣльными личностями результатовъ труда всемірнаго. Но если гражданское право уже вѣками совмѣщаетъ свободу и справедливость въ частныхъ отношеніяхъ между людьми, почему бы не могли они регулировать общественныя и соціальныя отношенія каждаго человѣка къ остальнымъ, т. е.—къ обществу? Въ эпохи деспотизма, говоритъ г. Буржуа, это было, конечно, невозможно: тогда силою утвержденная власть одного человѣка, или одной касты, или одного класса являлась закономъ для всѣхъ. Но съ той минуты, какъ во Франціи была признана верховная власть гражданъ,—необходимость согласія всѣхъ относительно той соціальной организаціи, частью которой состоятъ *всѣ*, какія причины могли препятствовать введенію тѣхъ же принциповъ? Развѣ существуетъ естественное, непримиримое различіе между обязанностями частнаго права и обязанностями права общественнаго, или соціальнаго? Нѣтъ, такого различія мы не видимъ. Правда, по отношенію къ соціальнымъ обязанностямъ фактически не существуетъ предварительнаго согласія между договаривающимися сторонами. И это неопровержимое возраженіе подорвало теорію „Общественнаго Договора“ Ж. Ж. Руссо.

Тѣмъ не менѣе, такъ какъ общество, въ концѣ концовъ, поддерживается благодаря безмолвному согласію тѣхъ, которые его составляютъ, слѣдовательно, между ними суще-

ствуетъ то, что гражданское право давно опредѣлило подъ именемъ quasi-договора. Въ чемъ же его сущность? Цѣль его можно такъ опредѣлить: установить соотвѣтствіе между услугами, которыя, по естественной солидарности, каждый оказываетъ всѣмъ, и тѣми, которыя всѣ оказываютъ каждому. Дѣйствительно, каждый человѣкъ вноситъ свою долю труда, которой пользуются остальные, и каждый взамѣнъ пользуется результатами предшествующаго и настоящаго труда всѣхъ остальныхъ. Но пользованіе это вдвойнѣ неравно: неравно—благодаря различіямъ въ природѣ и судьбѣ, вытекающихъ изъ физическихъ и интеллектуальныхъ способностей, отличающихъ одного человѣка отъ другого,—отъ продолжительности жизни, состоянія здоровья и т. п.; и эти причины неравенства не подлежатъ устраненію. Но весьма часто неравенство является по винѣ людей: вслѣдствіе ихъ невѣжества, варварства, необузданности, жадности и т. д., словомъ, изъ цѣлаго ряда соціальныхъ условій, не регулированныхъ идеей справедливости. Чтобы quasi-договоръ былъ дѣйствителенъ, необходимо устранить эту вторую причину неравенства, являющуюся по винѣ людей; необходимо установить извѣстное соотношеніе между тѣмъ, что каждый вноситъ своимъ трудомъ и что получаетъ взамѣнъ отъ общества. Это соотвѣтствіе въ обмѣнѣ услугъ между каждымъ и всѣми не ведетъ, конечно, къ уравненію всѣхъ положеній. Мы не знаемъ, желательно ли такое уравненіе; достаточно знать, что оно неосуществимо. Желательно лишь устранить тѣ причины несправедливости, которыя зависятъ отъ человѣческой воли. Ибо цѣлый рядъ обмѣновъ, совершаемыхъ по принужденію, влекутъ за собой отпоръ посредствомъ насилія. Какія же причины мѣшали до сихъ поръ осуществленію этого взаимнаго согласія? Однимъ изъ главныхъ тормазовъ является невозможность для каждаго изъ насъ оцѣнивать свою долю личнаго труда по отношенію къ суммѣ соціальнаго производства. Дѣйствительно, человѣкъ рождается должникомъ общества. Идея эта, едва намѣченная въ древнемъ мірѣ, въ наше время развилась до очевидности. Каждый разъ, какъ человѣкъ берется за орудіе производства, каждый разъ, какъ онъ открываетъ книгу, выражаетъ ту или другую мысль, онъ пользуется общественнымъ достоя-

ніемъ, результатомъ труда всего человѣчества. И почти невозможно вычислить, на какую долю каждый имѣетъ право, соотвѣтственно его личному труду. Отсюда слѣдуетъ, что одни, обладая наибольшей суммой соціальныхъ преимуществъ, пользуются ими, не выплачивая своего общественнаго долга; другіе, лишенные большей части соціальныхъ преимуществъ, озлобляются, прибѣгаютъ къ насилію, или же, пренебрегая естественными законами, не подлежащими измѣненію, стремятся создать новую соціальную организацію, изъ которой была бы изгнана свобода—главное условіе всякаго прогресса. Но если помочь злу не легко, это не причина, чтобъ намъ съ нимъ примиряться.

Прежде всего, можно ли исправить его законодательнымъ путемъ? И въ какой степени?

Не имѣя возможности изучать соціальное законодательство, мы можемъ лишь указать *общіе* принципы законодательства, согласованнаго съ идеей договаривающейся солидарности. Замѣтимъ при этомъ, что вопросъ не можетъ быть разрѣшенъ государствомъ путемъ власти. Вѣдь государство есть созданіе людей, и государства, стоящаго отдѣльно отъ людей, какъ нѣчто высшее,—не существуетъ. Проблема должна быть разрѣшена не спеціальнымъ законодательствомъ, но путемъ косвеннымъ,—если каждый будетъ выплачивать свой соціальный долгъ по отношенію не къ отдѣльнымъ лицамъ, а ко всему обществу. Пусть люди сообща организуютъ между собой учрежденія взаимной пользы, поддерживаемыя и открытыя для всѣхъ,—учрежденія, широко обезпечивающія для всѣхъ общественную поддержку; пусть образованіе будетъ безплатно, доступно для всѣхъ и въ такихъ условіяхъ, чтобы всѣ могли имъ пользоваться, и пусть оно будетъ обезпечено не только въ первой, начальной его степени, но на всѣхъ ступеняхъ, доступныхъ для индивидуальныхъ способностей каждаго; пусть матеріальное существованіе будетъ обезпечено для тѣхъ, кто, какъ дитя или калѣка, не въ состояніи сами поддерживать себя; пусть всѣ члены общества взаимно обезпечатъ себя противъ всѣхъ рисковъ, которымъ подвержены всѣ, какъ-то: болѣзнь, всякаго рода несчастные случаи, старость и т. п.; и тогда долгъ каждаго относительно всѣхъ будетъ въ значительной сте-

пени возмѣщенъ, такъ какъ каждый внесетъ свою долю во всѣ общія учрежденія и заранѣе уплатитъ свой соціальный долгъ. Это конечное рѣшеніе проблемы зависитъ отъ новой эволюціи въ человѣческой совѣсти. Завоевавъ свободу, люди сочли ее достаточной для утвержденія справедливости. Но чтобъ пользоваться свободой, они должны признать и утвердить солидарность. Соціальная проблема, въ концѣ концовъ, является проблемой воспитанія. Это первая и заключительная идея конгресса. Задача соціальнаго воспитанія—создать въ каждомъ изъ насъ соціальное существо, внушить намъ привычку поступать соціально, т. е. уплачивать, по мѣрѣ возможности, нашъ долгъ въ каждомъ актѣ нашей жизни, и особенно—въ каждомъ обмѣнѣ продуктовъ нашей дѣятельности съ продуктами дѣятельности другихъ. Такимъ образомъ, для „интеллектуальныхъ" производителей образованіе должно быть складомъ: на каждомъ образованномъ человѣкѣ лежитъ обязанность передать другимъ плоды образованія, которые онъ не могъ бы пріобрѣсти, если бы столько другихъ людей не несли за него матеріальный трудъ, отъ котораго онъ, такимъ образомъ, избавленъ. По тѣмъ же причинамъ—кооперація есть законная форма организаціи труда. При этомъ тотъ, кто владѣетъ капиталомъ, признаетъ, что образованіемъ своимъ онъ, отчасти, обязанъ суммѣ накопившагося труда, и что поэтому онъ несправедливъ къ тому, кто только несетъ трудъ, если помимо вознагражденія за этотъ трудъ онъ не сдѣлаетъ его соучастникомъ въ выгодѣ, которая получится изъ общаго производства.

Итакъ, цѣль соціальнаго воспитанія—развить каждую личность до пониманія общей или соціальной совѣсти. Соціальное воспитаніе будетъ преподавать законы естественной солидарности; оно покажетъ, какъ эти законы возложили на каждаго человѣка долгъ, проистекающій изъ пользованія трудомъ остальныхъ людей—долгъ, который долженъ быть выполняемъ каждымъ, по мѣрѣ силъ и того употребленія, которое онъ извлекаетъ изъ общаго капитала. Ибо быть готовымъ въ каждомъ актѣ своей соціальной жизни уплачивать соціальный долгъ—это значитъ быть членомъ человѣческаго общества—соціальнымъ существомъ. Эта великая задача соціальнаго воспитанія облегчается многочисленными

и ежедневно пріобрѣтающими все болѣе вліянія и силы—обществами взаимопомощи, коопераціи, синдикатами и т. п.

Мы сочли необходимымъ изложить вкратцѣ рефератъ г. Буржуа, такъ какъ идеи его являются главнымъ фундаментомъ, на которомъ его единомышленники мечтаютъ воздвигнуть великое зданіе соціальнаго воспитанія. Цѣлый рядъ другихъ докладовъ, дополняя главную основную мысль, доставили интересныя свѣдѣнія о современныхъ новыхъ тенденціяхъ, такъ же какъ о развитіи цѣлаго ряда кооперативныхъ организацій и обществъ. Быть можетъ, многимъ изъ выраженныхъ при этомъ стремленій еще многіе годы суждено оставаться въ видѣ pium desiderium; тѣмъ не менѣе они являются важнымъ показателемъ настроенія лучшей части современной французской интеллигенціи. Поэтому мы вкратцѣ укажемъ на нѣкоторые изъ наиболѣе выдающихся докладовъ. Въ своемъ рефератѣ „Объ организаціи рабочихъ“ г. Кёферъ указываетъ на фатальныя послѣдствія конкурренціи на современномъ рабочемъ рынкѣ,—конкурренціи безпощадной и жестокой, послѣдствіемъ которой является эксплуатація рабочихъ—мужчинъ, женщинъ, дѣтей. Но развѣ допустимо, чтобъ отношенія между вознагражденіемъ и трудомъ опредѣлялись лишь искусственнымъ закономъ спроса и предложенія? Другія соображенія, соціальныя и человѣческія, должны вступить въ права, чтобъ предоставить рабочимъ и всему населенію соучастіе въ выгодахъ промышленнаго прогресса. „Совершившійся промышленный переворотъ,—замѣчаетъ референтъ,—экономическая борьба, вызванная конкурренціей, вполнѣ измѣнили условія труда и отношенія между предпринимателемъ и рабочимъ. Цѣлая бездна образовалась между ними, и ни одно учрежденіе—религіозное, политическое или философское не имѣетъ достаточно авторитета или вліянія, чтобъ вступиться—уничтожить злоупотребленія и посредствомъ болѣе справедливаго распредѣленія богатствъ возстановить гармонію между соціальными силами“. Г. Кёферъ указываетъ далѣе на безсиліе тѣхъ средствъ исправленія зла, которыя рекомендуютъ современные реформаторы. „Едва ли,—говоритъ онъ,—рабочимъ удастся образовать изъ скудныхъ и необезпеченныхъ вознагражденій достаточный капиталъ, чтобъ бороться противъ со-

временнаго промышленнаго феодализма". Также неосуществимы надежды, возлагаемыя на государство,—надежды, приписывающія законодателю власть исправить злоупотребленія и посредствомъ указовъ всѣмъ обезпечить благосостояніе и счастье. Этотъ методъ, повидимому, столь удобный и необременительный для индивидуума, избавляетъ отъ всякой личной жертвы и всю отвѣтственность возлагаетъ на государство. Но вѣрить въ немедленныя благія послѣдствія такихъ реформъ свыше, когда общественное мнѣніе не готово поддержать ихъ,—напрасная иллюзія.

Съ своей стороны, коммунисты-коллективисты, подраздѣляющіеся на нѣсколько группъ, считаютъ лучшимъ средствомъ соціальнаго преобразованія — уничтоженіе индивидуальной собственности, національзацію земли и средствъ производства, уничтоженіе патроната. Мы, съ своей стороны, не вѣримъ въ возможность такого преобразованія,—еще менѣе вѣримъ въ ея дѣйствительность, такъ какъ пришлось бы пожертвовать при этомъ независимостью и соревнованіемъ... Во всякомъ случаѣ, долго придется намъ жить при настоящемъ режимѣ; постараемся же улучшить его, смягчить его послѣдствія".

Наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ реформы г. Кёферъ считаетъ синдикатъ и федеральныя организаціи,—организаціи, гдѣ рабочіе „соединялись бы на почвѣ исключительно экономической, гдѣ они стремились бы къ уничтоженію злоупотребленій и введенію извѣстныхъ преобразованій. Синдикатъ представляетъ для рабочихъ надежную точку опоры въ отношеніяхъ ихъ съ предпринимателемъ и въ то же время является прекрасной школой, гдѣ рабочій привыкаетъ изучать экономическіе вопросы и сложныя проблемы производства, потребленія и т. д.; онъ возвышаетъ умственный и нравственный уровень своихъ членовъ, развивая въ нихъ чувство солидарности и сознаніе долга".

Тѣ же гуманныя идеи мы встрѣчаемъ въ докладѣ г. Жида „Объ относительномъ значеніи различныхъ формъ кооперативныхъ ассоціацій съ точки зрѣнія солидарности". Г. Жидъ разсматриваетъ три различныя формы кооперацій, все болѣе развивающіяся въ Западной Европѣ,—коопераціи: 1) кредита, 2) производства, 3) потребленія. Всѣ онѣ, уничтожая глав-

ныя причины конфликта между людьми,—уничтожая узкосословные интересы и распространяя на все общество принципы солидарности,—всѣ онѣ, по мнѣнію г. Жида, являются средствами мирной революціи. „Каждый для всѣхъ и всѣ для каждаго“,—вотъ девизъ кооперативныхъ обществъ.

Весьма важной вѣтвью рабочихъ синдикатовъ являются такъ называемыя рабочія биржи, изъ которыхъ первая основана въ Парижѣ въ 1886 году. Описанію ихъ посвященъ интересный докладъ г. Бріа. Первоначальная цѣль этого учрежденія — оказать содѣйствіе рабочимъ въ пріисканіи мѣста. Но, помимо этого, биржа явилась постояннымъ центромъ единенія рабочихъ, гдѣ они могутъ сообща обсуждать многоразличные вопросы, вліяющіе на плату. Тутъ же для руководства ихъ имѣются всѣ средства освѣдомленія и сообщенія: статистическіе матеріалы, библіотека по соціальной экономіи, промышленности и торговлѣ; свѣдѣнія о движеніи каждой отрасли промышленности не только во Франціи, но во всемъ мірѣ; библіотеки, профессіональные курсы, лекціи по политической экономіи, научныя и техническія и т. д.

Для показанія прогрессивнаго роста этого учрежденія г. Бріа приводитъ статистическія цифры, относящіяся къ основанной въ 1889 году тулузской Биржѣ Труда.

Годы.	Спросъ.	Предложенія предпринимателей.	Доставленныя мѣста.
1891	34	5	5
1892	128	58	48
1893	231	103	99
1894	397	446	407
1895	2291	1170	1385
1896 (1-й семестръ) . . .	1531	671	791
	4612	2453	2735

Въ 1896 г. количество организованныхъ профессіональныхъ курсовъ удвоилось. Кромѣ того, тулузская биржа учредила рядъ другихъ организацій: безплатную медицинскую помощь, безплатныя юридическія консультаціи; вспомогательную кассу для рабочихъ, неимѣющихъ постояннаго мѣстожительства. Касса эта пополняется ежемѣсячными взно-

сами членовъ. Каждый рабочій, членъ синдиката, являясь въ Биржу Труда, получаетъ билетъ на право ночлега и на два обѣда. Впродолженіе трехъ лѣтъ Биржа доставила ночлегъ и два обѣда 522 членамъ, нуждавшимся въ помощи. Всѣ эти и другія учрежденія организовались благодаря духу солидарности, развившемуся между членами синдикатовъ съ тѣхъ поръ, какъ они сгруппировались въ Биржѣ Труда.

Вѣнцомъ этой организаціи является федерація всѣхъ французскихъ Биржъ Труда, учрежденная въ 1892 году. Къ федераціи принадлежатъ 53 Биржи Труда.

Центральный ея органъ—комитетъ, засѣдающій въ Парижѣ и состоящій изъ всѣхъ Биржъ Труда, по одному отъ каждой. Федеральный комитетъ не имѣетъ ни бюро, ни даже предсѣдателя собраній; дѣлопроизводство лежитъ на секретарѣ. Каждое засѣданіе начинается съ чтенія протокола предшествующаго засѣданія и корреспонденціи; затѣмъ, слѣдуетъ обсужденіе поднятыхъ корреспонденціей вопросовъ. Собранія происходятъ два раза въ мѣсяцъ. Такимъ образомъ, Биржи между собой и федеральный комитетъ по отношенію къ нимъ играютъ роль посредниковъ, взаимно доставляя другъ другу теоретическія и практическія средства развитія. Биржа Труда, внезапно лишенная вспомоществованія, всегда можетъ разсчитывать на поддержку другихъ Биржъ. Въ 1900 году федеральный комитетъ основалъ „Рынокъ Труда“. Цѣль этого учрежденія—доставлять Биржамъ Труда полный отчетъ о всѣхъ отправляемыхъ во Франціи профессіяхъ, такъ же какъ еженедѣльную 2-ю афишку, гдѣ рядомъ со вписанными профессіями имѣются столбцы для вписанія числа забастовщиковъ по профессіямъ, для обозначенія платы, количества рабочихъ часовъ и пр.; цифры эти должны быть обозначены Биржей и въ 24 часа отосланы въ федерацію Биржъ. Послѣдняя собираетъ воедино всѣ доставленныя свѣдѣнія и черезъ 24 часа по полученіи, въ свою очередь, разсылаетъ ихъ всѣмъ Биржамъ Труда во Франціи и въ колоніяхъ. Рынокъ Труда представляетъ двойную выгоду: онъ доставляетъ федеральному комитету полную и точную статистику забастовокъ и даетъ свѣдѣнія о спросѣ на трудъ въ той или другой мѣстности, избавляя

такимъ образомъ забастовщиковъ отъ поѣздокъ въ тѣ мѣстности, гдѣ нѣтъ спроса.

Отмѣченные доклады представляютъ лишь небольшую часть всѣхъ матеріаловъ, доставленныхъ на Конгрессѣ Соціальнаго Воспитанія. Цѣлый рядъ другихъ рефератовъ далъ наглядную картину значенія идеи солидарности въ исторіи философіи и этикѣ. Мы видимъ изъ нихъ, что идея соціальной солидарности проявляется съ древнѣйшихъ временъ,— но лишь случайно. По мнѣнію профессора Папильо *), только въ XVIII вѣкѣ, съ проповѣдью Ж. Ж. Руссо, идея эта выходитъ изъ ученыхъ трактатовъ и дѣлается достояніемъ общества. Но развитіе ея шло медленно и неровно. Французская революція 1789—1793 гг., выдвинувъ идею свободы, не поняла тѣсную связь ея съ идеей соціальной солидарности; она провозгласила права человѣка, но не обязанности его—отвлеченное равенство, но не справедливость... Болѣе того, законодатели 1791 года съ опасеніемъ относились къ идеѣ солидарности, къ развитію коллективныхъ учрежденій въ учрежденіи національномъ: централизовать власть, воспрепятствовать федерализму, появленію государства въ государствѣ,—вотъ что составляло главную заботу революціи и послѣдующихъ правительствъ. Чтобъ сплотиться противъ угрожавшихъ Франціи враговъ, реформаторы 1791 года основали республику, единую и нераздѣльную, на развалинахъ всего зданія, связывавшаго нѣкогда главу и члены всей націи. И въ этомъ же 1791 году, по предложенію Шапелье, былъ вотированъ въ законодательномъ собраніи законъ противъ всѣхъ „ремесленныхъ и цеховыхъ собраній, гдѣ могутъ быть избираемы предсѣдатели, секретари и синдики“.

Замѣтимъ кстати, что отголоски этого устарѣвшаго предразсудка до сихъ поръ еще звучатъ въ законахъ Франціи. Такъ, до сихъ поръ еще не отмѣненъ законъ, недостойный культурной страны **),—законъ, воспрещающій ассоціаціи при наличности болѣе 20 лицъ. Разумѣется, на практикѣ законъ

---

*) L'idée de Solidarité Sociale dans la Philosophie.

**) Статья 291 уголовнаго уложенія и законъ 10 апрѣля 1834 года.

этотъ никогда не примѣняется, и даже немногіе знаютъ о его существованіи: общественное мнѣніе никогда бы не допустило такого стѣсненія индивидуальной свободы; съ другой стороны, и правительство врядъ ли пожелало бы взять на себя лишнюю обузу и внести въ администрацію отрасль дѣятельности, усложняющую и безъ того сложный государственный механизмъ.

Тѣмъ не менѣе, несмотря на отсутствіе стѣсненія личной свободы, идея соціальной солидарности лишь въ послѣднее время выступила на первый планъ, а именно съ—развитіемъ многоразличныхъ ассоціацій: школьныхъ, внѣ-школьныхъ, рабочихъ, промышленныхъ и другихъ, ежедневно нарождающихся во Франціи. Она проявляется также въ литературѣ, въ наукѣ и педагогикѣ, постепенно проникая такимъ образомъ въ общественное сознаніе.

Конгрессъ Соціальнаго Воспитанія отмѣчаетъ собой важный шагъ въ эволюціи идеи солидарности; онъ выразилъ ея сущность, соединилъ ея приверженцевъ, привлекъ новыхъ адептовъ. Вмѣсто старыхъ, отживающихъ идей милитаризма, борьбы за существованіе, права сильнаго, пропагандисты новой этической морали провозглашаютъ идею общей солидарности братства. „Прославленію импульсивнаго мужества, актовъ насилія,—говорилъ на конгрессѣ г. Пэйо,—мы противопоставимъ преклоненіе передъ гражданскимъ мужествомъ, скромностью и безкорыстіемъ. Идею борьбы за жизнь, неправильно перенесенную изъ физической въ нравственную область, мы замѣнимъ идеей общаго единенія и согласія“.

Характерной чертой новаго направленія является также отношеніе его къ женщинѣ,—стремленіе дать ей справедливое мѣсто въ жизни политической и общественной. Расширеніе сферы вліянія женщины, по мнѣнію представителей новаго направленія, одно изъ условій sine qua non прогресса цивилизаціи. Развитію этой идеи посвящены, между прочимъ, краснорѣчивыя строки г. Брюно *) въ его рефератѣ „Антисолидарные отщепенцы общества“.—„Когда женщины Лакедемона,—говоритъ онъ,—вручали спартанцамъ ихъ щитъ со

*) Генеральный инспекторъ въ административномъ отдѣлѣ министерства внутреннихъ дѣлъ.

словами: „съ нимъ или на немъ“, когда въ средніе вѣка благородныя дамы предсѣдательствовали на любовныхъ судахъ, онѣ являлись подтвержденіемъ той вѣчной истины, что женщина есть нравственная воспитательница народа. Не она ли жрица идеала, весталка, поддерживающая вѣчный огонь? Если идеалъ какъ бы угасъ среди насъ, это потому, что уменьшилась воспитательная роль женщины. И здѣсь еще разъ подтверждается законъ солидарности: народъ великъ лишь при нравственномъ единеніи обоихъ половъ,—мужчина творитъ лишь, если женщина вдохновляетъ“.

Строки эти—не случайно вырвавшаяся эффектная тирада: та же мысль проглядываетъ въ общемъ духѣ сторонниковъ новаго направленія, въ стремленіи на практикѣ расширить роль женщины въ современномъ обществѣ *). И тутъ мы опять встрѣчаемъ одну изъ основныхъ идей, отличающихъ новую эру,—признаніе того громаднаго вліянія, которое женщина призвана оказать на просвѣтительное движеніе демократіи.

Итакъ, идея солидарности должна связать и соединить всѣ общественные элементы, во имя общаго блага и справедливости. Но какъ же провести въ массу эти идеи? Какъ подготовить тотъ матеріалъ, изъ котораго должно создаться новое обновленное общество?

Центръ тяжести въ общественной реформѣ, какъ уже было замѣчено, лежитъ въ воспитаніи, въ ознакомленіи подрастающихъ поколѣній съ основными принципами солидарности. Поэтому одно изъ единогласно выраженныхъ конгрессомъ пожеланій относилось къ введенію соціальнаго образованія во всѣ программы учебныхъ заведеній—начальныхъ, среднихъ и высшихъ. Но этимъ не ограничивается воспитательная миссія реформаторовъ: рука объ руку съ воспитаніемъ дѣтей и подростковъ должно идти образованіе взрослыхъ—тѣхъ темныхъ массъ, которыя до сихъ поръ наиболѣе

*) Такъ, между прочимъ, г. Витюра, говоря о развитіи рабочихъ синдикатовъ, указываетъ, какъ важно участіе въ немъ женщинъ. Ссылаясь на факты изъ современной соціальной жизни, онъ замѣчаетъ, что „когда женщина пойметъ благотворную роль синдикатовъ, организаціи эти пріобрѣтутъ съ ея поддержкой неоцѣненную силу“ (Les syndicats dans L'éducation sociale).

страдали отъ отсутствія общественной солидарности. Поэтому вопросы соціальной этики должны войти въ предметы, изучаемые взрослыми рабочими. Рядомъ съ этимъ необходимо способствовать общему интеллектуальному развитію рабочаго; въ виду этого, конгрессомъ было выражено пожеланіе, чтобъ правительство обезпечило сокращеніе рабочихъ часовъ, дабы доставить рабочему классу досугъ, „необходимый для нравственнаго, интеллектуальнаго и соціальнаго его усовершенствованія". На пути соціальнаго единенія всѣхъ классовъ, помимо различія въ образованіи, лежитъ еще важная преграда: недостаточное знакомство интеллигенціи съ различными сторонами жизни рабочихъ массъ. По этому поводу одинъ изъ референтовъ, г. Бріа сообщилъ объ интересномъ починѣ: въ настоящемъ году студентамъ въ Сорбоннѣ будутъ читаться рабочими курсы о рабочей организаціи.

Мы заглянули лишь въ небольшой уголокъ дѣятельности иниціаторовъ соціальнаго воспитанія. Выработкой основныхъ принциповъ и организаціей конгресса не резюмируются ихъ заслуги. По ихъ предложенію, на Конгрессѣ Соціальнаго Воспитанія было постановлено образовать „Общество Соціальнаго Воспитанія", имѣющее цѣлью: 1) Дальнѣйшее изысканіе принциповъ, долженствующихъ служить основой соціальнаго воспитанія и средствъ примѣненія ихъ. 2) Дѣятельное распространеніе идеи солидарности посредствомъ иниціативы гражданъ. Средствомъ достиженія намѣченныхъ цѣлей служатъ: печатаніе отчетовъ и докладовъ, лекціи, выставки, конгрессы, курсы, школы, музеи и т. п. Общество Соціальнаго Воспитанія приглашаетъ примкнуть къ нему всѣхъ, кто интересуется поставленными имъ задачами. Членамъ разсылаются ежемѣсячные отчеты и другіе печатные матеріалы общества. Я имѣю свѣдѣнія, что въ настоящее время Общество Соціальнаго Воспитанія уже организовалось и вступило въ дѣятельность. Оно подраздѣляется на три секціи: 1) секція по рабочему вопросу и благотворительности, 2) секція образовательная и 3) литературная, въ которую также входятъ искусства и журналистика. Задача секціи по рабочему вопросу и благотворительности—дать отчетъ въ томъ, что сдѣлано въ этой области, и распространять всѣ полезныя предпріятія. Особое вниманіе обращается при этомъ

на всѣ тѣ формы, которыя можетъ принять организованная самодѣятельность гражданъ. Секція образовательная имѣетъ въ виду указать приверженцамъ идеи солидарности, какъ практически примѣнить эту идею въ сферѣ образованія, сообразно тѣмъ или другимъ мѣстнымъ условіямъ. Подготовительной къ этому работой должно служить разсмотрѣніе того, что уже сдѣлано въ этой области. Общество Соціальнаго Воспитанія обращается къ своимъ корреспондентамъ съ просьбой доставлять свѣдѣнія о всѣхъ попыткахъ, гдѣ-либо предпринятыхъ въ духѣ солидарности лицами какъ педагогическаго персонала, такъ и другими. Между прочими интересными вопросами, обществомъ былъ поставленъ вопросъ о томъ: „Какъ борется школьная дисциплина съ эгоистическими стремленіями, и подготовляетъ ли она къ практическому примѣненію идеи солидарности?“ (Наблюденіе, испытанныя средства, предлагаемыя улучшенія).

Наконецъ, третья секція имѣетъ въ виду распространять и дѣлать для всѣхъ доступными произведенія искусствъ и литературы. Съ этой цѣлью предполагается организовать бесѣды, экскурсіи въ музеи, прогулки, музыкальныя и хоровыя собранія и т. д. Въ области литературы считается желательнымъ распространеніе подбора художественныхъ произведеній, доступныхъ для неподготовленной аудиторіи. При этомъ секціей было обращено особое вниманіе на сдѣланный вь Россіи опытъ г-жи Алчевской, какъ на примѣръ, достойный подражанія.

Таковы въ краткихъ чертахъ задачи Общества Соціальнаго Воспитанія. Главная, общая его цѣль выражается въ словахъ, произнесенныхъ на общемъ собраніи прошлаго 12 декабря президентомъ Общества Соціальнаго Воспитанія, бывшимъ министромъ Л. Буржуа: „Совершимъ революцію,— такъ заключилъ онъ свою рѣчь,—но не на улицахъ,—ибо насиліе ничего не созидаетъ,—а въ умахъ. Повліяемъ на умы такъ, чтобы всѣ желали справедливости и стремились къ ней, и задача наша будетъ выполнена“.

На этомъ мы и закончимъ нашу замѣтку о новой попыткѣ соціальной реформы во Франціи. Какая дальнѣйшая будущность ожидаетъ ее? Обратятъ ли на нее серьезное вниманіе правительство и общество? Будутъ ли сдѣланы

попытки внести реформу въ различныя сферы соціальной жизни? На вопросъ этотъ отвѣтитъ будущее. Разрѣшеніе его покажетъ—вошли ли эти идеи въ плоть и кровь французскаго общества, или же онѣ составляютъ достояніе немногихъ избранныхъ? Ибо во Франціи вопросъ реформы связанъ не съ капризомъ того или другого государственнаго дѣятеля, а съ интеллектуальнымъ состояніемъ самого общества.

Насколько созрѣло общественное сознаніе въ той или другой сферѣ,—вотъ въ чемъ главный вопросъ.

Во всякомъ случаѣ, нельзя не отнестись сочувственно къ этой новой попыткѣ общественно-воспитательной реформы.

Быть можетъ, сторонники такъ называемой трезвой дѣйствительности назовутъ ее утопіей, непримѣнимой къ жизни мечтой. Но развѣ не мечтатели-утописты во всѣ времена прокладывали путь къ прогрессу? Не они ли составляютъ соль земли? Мы, съ своей стороны, привѣтствуемъ этихъ мечтателей и шлемъ имъ горячія пожеланія успѣха. Кто знаетъ? Быть можетъ, эти новыя идеи, свѣжей струей вливаясь въ нашу общественную атмосферу, обновятъ и оживятъ современное соціальное зданіе *).

---

*) Желающіе записаться въ члены „Общества Соціальнаго Воспитанія" приглашаются обращаться въ бюро общества: Paris, Rue Vaneau, 37. Ежегодный членскій взносъ—5 франковъ. При заявленіи о поступленіи въ члены общества требуются точный адресъ, обозначеніе профессіи, занятій и пр.

А. Петрищевъ.

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕНЪ.

Идиллія въ одномъ дѣйствіи.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

МАТЬ—моложавая, стройная женщина, лѣтъ 33.

ЖОРЖИКЪ—сынъ, мальчикъ лѣтъ 12.

ВѢРОЧКА—дочь, лѣтъ 13.

АГРАФЕНА—прислуга, пожилая женщина.

Дѣйствіе происходитъ въ большомъ губернскомъ городѣ, въ наши дни.

Комната Жоржика. Въ задней стѣнѣ 2 окна. Одно открыто. Окна выходятъ во дворъ. Сквозь нихъ видна высокая стѣна, ярко освѣщенная солнцемъ. Въ простѣнкѣ между окнами небольшой столъ, покрытый клеенкой. На немъ графинъ съ водой и стаканъ. У правой стѣны кровать, въ лѣвой—зеркало кафельной печи и дверь. Въ углу между дверью и раскрытымъ окномъ небольшая этажерка съ книгами. Жоржикъ сидитъ на стулѣ у закрытаго окна, спиной къ столу; около него на подоконникѣ разогнутая книга. Мать сидитъ на креслѣ у кровати и шьетъ.—На ней легкое домашнее платье, у пояса небольшой кошелекъ. Аграфена тихо входитъ вскорѣ послѣ поднятія занавѣса.

ЯВЛЕНІЕ I.

АГРАФЕНА. (Нѣкоторое время молча и, видимо, безъ всякой нужды перебираетъ книги на этажеркѣ) Ужъ два часа скоро...

МАТЬ. (Вздрагиваетъ) А?.. Что тебѣ, Аграфена?..

АГРАФЕНА. (Продолжаетъ перебирать на этажеркѣ) Два часа, говорю, скоро...

МАТЬ. Два?.. Я не пойду сегодня въ контору. (Шьетъ).

АГРАФЕНА. Баринъ-то, чай, голодный... Завтракъ бы ему послать—либо что...

МАТЬ. Онъ въ конторѣ позавтракаетъ... Изъ гостиницы ему принесутъ...

АГРАФЕНА. Вося!.. Изъ гостиницы!.. Нешто изъ дому нечего послать?.. Аль не съ кѣмъ?..

МАТЬ. Нѣтъ, онъ тамъ...

АГРАФЕНА. (Ворчитъ) Тамъ... тамъ... (Подходитъ къ аккуратно-застланной постели и оправляетъ подушки) Чего убиваться-то? Ну, не поступилъ... Эка важность!.. И самой поѣсть надо... И ребенка накормить бы... Не ѣвши—лучше что ль?..

МАТЬ. Видишь, Жоржикъ,—и Аграфена то жъ говоритъ. Ты бы скушалъ чего-нибудь. Давай вмѣстѣ... Хочешь?

ЖОРЖИКЪ. Не хочу, мамочка,—совсѣмъ не хочу... Пожалуйста, не надо...

АГРАФЕНА. Мало ли что не хочешь!.. А ты приневолься... (Подходитъ къ Жоржику и трогаетъ его за плечо) Насильно съѣшь... Оно и крѣпче станетъ...

ЖОРЖИКЪ. (Раздраженно) Отстань!.. Отстань!..

МАТЬ. (Очень громко) Что Вѣрочка дѣлаетъ?

АГРАФЕНА. (Отходя къ этажеркѣ) Что ей дѣлать!.. Въ гостиной сидитъ... Съ книжкой тожъ...

МАТЬ. Ты бы пошла съ ней... Погуляйте...

АГРАФЕНА. (Идетъ къ двери) Ладно ужъ... Погуляемъ... (Оборачивается) Съ обѣдомъ-то какъ?..

МАТЬ. Успѣемъ... Часамъ къ семи...

АГРАФЕНА. Отчего не успѣть!.. (Качаетъ головой и уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ II.

МАТЬ. Можетъ, и ты пойдешь, Жоржикъ?.. И я бы съ тобой...

ЖОРЖИКЪ. Почему ты не хочешь папу въ конторѣ смѣнить?.. Каждый день смѣняешь его, а нынче...

МАТЬ. Каждый день смѣняю, а нынче не пойду... Мы такъ съ папой условились...

ЖОРЖИКЪ. Вотъ и неправда, мамочка!.. Это ты потому не хочешь, что я давеча плакалъ?.. Что со мной нехорошо было? да?

МАТЬ. А хотя бы и потому...

ЖОРЖИКЪ. Тебѣ докторъ велѣлъ возлѣ меня сидѣть?..

МАТЬ. При чемъ тутъ докторъ!.. Не могу же я тебя такого... взволнованнаго оставить!..

ЖОРЖИКЪ. Но, вѣдь, я же успокоился... Совсѣмъ успокоился... Пожалуйста, мамочка, иди!.. Надо же папѣ поѣсть... Зачѣмъ онъ голодный будетъ... Ну, ступай же... (Мать молчитъ) Это ты нарочно шьешь. Совсѣмъ не надо тебѣ теперь шить... Ты думаешь—я маленькій. А я ужъ все понимаю и не хочу, чтобъ изъ-за меня...

МАТЬ. Читай лучше, Жоржикъ, и не говори глупостей... Пока не успокоишься, я не уйду. Такъ и знай...

ЖОРЖИКЪ. А пока ты не уйдешь, я не буду читать. Вотъ и все. (Отворачивается отъ окна и глядитъ на мать, которая шьетъ, не подымая глазъ) Мамочка?

МАТЬ. А?

ЖОРЖИКЪ. Ты не уйдешь?

МАТЬ. Нѣтъ.

ЖОРЖИКЪ. Такъ и будешь сидѣть?

МАТЬ. Такъ и буду сидѣть... (Дверь чуть открывается. Выглядываетъ Вѣрочка).

ЯВЛЕНІЕ III.

ВѢРОЧКА. (На ней свѣтлое платье. На головѣ соломенная шляпка) Можно, мама?

МАТЬ. Конечно... (Вѣрочка входитъ) Гулять?

ВѢРОЧКА. Аграфена говоритъ, что ландыши уже продаютъ...

МАТЬ. Ландыши?.. это хорошо... (Достаетъ изъ кошелька деньги и даетъ Вѣрочкѣ) На, купи ландышей...

ВѢРОЧКА. (Нѣжно) А тебѣ, Жоржикъ, купить? (Жоржикъ молчитъ).

МАТЬ. Ну, ступай... День хорошій... (Цѣлуетъ Вѣрочку. Тихо) Не трогай его...

ВѢРОЧКА. (Говоритъ такъ же тихо, кивая на Жоржика) Докторъ опасное про него сказалъ? (Мать быстро кладетъ ей на губы палецъ. Вѣрочка цѣлуетъ его и шаловливо убѣгаетъ. Мать грустно улыбается).

ЯВЛЕНІЕ IV.

ЖОРЖИКЪ. Мамочка?

МАТЬ. Что?

ЖОРЖИКЪ. А можно тебя спросить?

МАТЬ. Спрашивай.

ЖОРЖИКЪ. Скажи... Когда меня въ гимназію готовили, ты знала?..

МАТЬ. О чемъ?

ЖОРЖИКЪ. Про іудейское вѣроисповѣданіе?

МАТЬ. Знала.

ЖОРЖИКЪ. И папа зналъ?

МАТЬ. И папа зналъ.

ЖОРЖИКЪ. Отчего жъ?... Ты не волнуйся, мамочка!..

Я спокоенъ. Совсѣмъ спокоенъ... Только—отчего ни ты, ни папа мнѣ ничего не сказали? Отчего, мамочка? а? Тебѣ стыдно было?

МАТЬ. (Взволнованно) Жоржикъ!..

ЖОРЖИКЪ. Мамочка, милая! прости!.. Я очень глупо сказалъ? да?

МАТЬ. Очень глупо, Жоржикъ!.. Нужно, чтобъ ты былъ хорошимъ человѣкомъ. А іудейскаго, или не іудейскаго—это все равно.

ЖОРЖИКЪ. Конечно, мамочка! конечно... Если хорошій,—такъ и іудейское—пустяки. А плохому и то не поможетъ, что онъ не іудейскаго. (Мать вздрагиваетъ) Чего ты, мамочка?

МАТЬ. Жоржикъ, милый! Постарайся не думать объ этомъ... Прошу тебя!..

ЖОРЖИКЪ. (Смущенно) Ну, не буду, мамочка!.. Ну, не буду... Только ты скажи мнѣ... Вѣдь, я Жоржикъ?..

МАТЬ. Что съ тобою?

ЖОРЖИКЪ. Да нѣтъ, мамочка,—ты не волнуйся. Видишь ли... Папа говоритъ—Жоржикъ, Вѣрочка говоритъ—Жоржикъ. И всѣ также—Жоржикъ... Или Георгъ. Иногда даже называютъ: „Георгій Львовичъ"... Скажи—это правильно?

МАТЬ. Разумѣется.

ЖОРЖИКЪ. А зачѣмъ же они тамъ, въ гимназіи, говорятъ—Гершка?..

МАТЬ. Такъ въ бумагахъ написано. Они по бумагамъ читаютъ.

ЖОРЖИКЪ. А въ бумагахъ такъ написано, потому что іудейское вѣроисповѣданіе?

МАТЬ. Да.

ЖОРЖИКЪ. Я еще у тебя спрошу... Только—ты, мамочка, пожалуйста, не волнуйся... Вѣдь, мнѣ же нужно знать. Скажи... Папа по настоящему зовется Левъ. А по іудейскому вѣроисповѣданію это какъ будетъ?

МАТЬ. (Тихо). По бумагамъ папа пишется Лейба.

ЖОРЖИКЪ. Ну, да, по бумагамъ. Я тоже хотѣлъ сказать—по бумагамъ... А Вѣрочка по іудейскому... То есть—прости, мамочка!.. По бумагамъ... Какъ она? а?

мать. Твоя сестра записана Рифкой...

жоржикъ. Значитъ, она Рифка... Рифка!.. Ага!.. Ее такъ и зовутъ въ училищѣ?..

мать. Она въ частномъ учится...

жоржикъ. А въ частномъ не по бумагамъ читаютъ?..

мать. Нѣтъ.

жоржикъ. Вотъ что... А Миша?

мать. Какой?

жоржикъ. Какой!.. Развѣ это не все равно?

мать. Да, не все равно...

жоржикъ. (Нѣкоторое время молчитъ, какъ бы соображая что-то) Миша—дяди Виктора...

мать. По бумагамъ, онъ Хаимъ.

жоржикъ. Ну, а... Только ты не волнуйся, мамочка... А Софья?..

мать. Я называюсь Шейна...

жоржикъ. Шейна!.. Это еще ничего, что Шейна... Вѣдь, ничего, мамочка, не правда ли?

мать. Ты опять, Жоржикъ, говоришь глупости!.. Видишь—на бумагахъ пишутъ по старому, какъ было тысячу лѣтъ назадъ. Но мы теперь такъ ужъ не говоримъ... Прежнія слова произносимъ по иному...

жоржикъ. Значитъ, тысячу лѣтъ назадъ былъ Гершка, а черезъ тысячу лѣтъ сталъ Жоржикъ?..

мать. (Неувѣренно) Да... Пожалуй...

жоржикъ. Понимаю. Очень просто. Это все равно, какъ папа про сказку недавно говорилъ. По-прежнему Никита кожемяка, а по-нынѣшнему—Никита кожевникъ...

мать. Вотъ-вотъ...

мужской голосъ. (Гулко несется со двора) Старыя вещи продавать... Старыя вещи...

женскій голосъ. Рубль шестьдесятъ... Бери.

мужской голосъ. Полтора... Ей-Богу, никто больше не дастъ...

женскій голосъ. Ну, какъ хочешь...

мужской голосъ. Старыя вещи продавать... Старыя вещи... (Старьевщикъ, видимо, уходитъ со двора. Голосъ замираетъ).

жоржикъ. А какъ тысячу лѣтъ назадъ Сергѣй былъ?

мать. Какой Сергѣй?

жоржикъ. Сережа... Алексѣенко Сережа... Ивана Ѳомича сынъ...

мать. Онъ не... Онъ другого вѣроисповѣданія... Потому онъ такъ и пишется—Сергѣй... Тебѣ непріятно было, что Гершкой назвали?

жоржикъ. Но, вѣдь, ты же говоришь, мамочка, что это все равно...

мать. Да, Жоржикъ,—это все равно. Нужно, чтобъ ты былъ хорошимъ мальчикомъ. А то пустяки, если одинъ скажетъ: „Жоржикъ", а другой—„Гершка". Назови глину золотомъ, она все-таки останется глиной. А золото, какъ его ни называй, всегда будетъ золото...

жоржикъ. Конечно, всегда будетъ... О чемъ тутъ говорить! (Перелистываетъ книгу) А скажи, мамочка,—зачѣмъ насъ, которые іудейскаго... Ты замѣтила?.. На экзаменѣ какъ было... Насъ послѣ вызвали. И диктовку намъ отдѣльную дали. Тѣмъ, съ которыми Сережа, коротенькія предложенія были—почти безъ запятыхъ. А намъ длинныя,—все съ запятыми, и на букву ять много... Трудная диктовка... Имъ легче, мамочка!.. Право, легче...

мать. Полно, Жоржикъ!.. Лучше читай...

жоржикъ. Да, да... Я буду читать. Ты не волнуйся, мамочка!.. Видишь—я читаю... (Склоняется надъ книгой).

голосъ за сценой. Уголья... Уголья... Кому уголья... Дешевые... Дубовые... Уголья... Уголья... (Голосъ, вначалѣ гулкій, постепенно замираетъ).

жоржикъ. Мамочка?

мать. Что тебѣ?

жоржикъ. Ты сейчасъ говорила о глинѣ и золотѣ... Значитъ, Гершка—это глина? А Жоржикъ—золото?

мать. Да нѣтъ же, милый! Вѣдь я же сказала, что это все равно... Ты обѣщалъ мнѣ читать, а самъ опять думаешь...

жоржикъ. Не буду, мамочка!.. Ты не сердись. Вѣдь, я же понялъ, что Гершка и Жоржикъ—все равно. Одинъ говоритъ: Жоржикъ, другой—Георгъ. Значитъ, можно и Гершка. Который мальчикъ умный, тотъ сразу пойметъ... Ну, а глупый, конечно, будетъ думать, что это разное. Потому—глупый...

МАТЬ. Зачѣмъ на глупыхъ обращать вниманіе?

ЖОРЖИКЪ. Разумѣется, не надо обращать... Развѣ глупый мальчикъ пойметъ, что тысячу лѣтъ назадъ Жоржиковъ не было, а были Гершки. Онъ подумаетъ, что Гершка—это такое... (Теребитъ книгу) Знаешь, мамочка,—у насъ на дворѣ много глупыхъ мальчиковъ гуляетъ. Они, когда дразнятся, такъ языки высовываютъ...

МАТЬ. Жоржикъ!..

ЖОРЖИКЪ. Да, мамочка, высовываютъ... А то и кричать станутъ: Гершка... Гершка... Гершка... (Дрожитъ и рветъ книгу) Сережа—первый...

МАТЬ. Жоржикъ!.. Жоржикъ!.. (Подбѣгаетъ къ нему, подхватываетъ на руки и даетъ воды; потомъ ведетъ къ кровати).

ЖОРЖИКЪ. (Всхлипываетъ) Мамочка, это ничего... Право, ничего... Видишь — вотъ и прошло... Ты не волнуйся, мамочка... Это я такъ... Нечаянно... Понимаешь — нечаянно...

МАТЬ. Ты лягъ лучше, милый... Я дамъ тебѣ лѣкарства успокоительнаго... Засни... Успокойся...

ЖОРЖИКЪ. Не надо, мамочка!.. Пожалуйста, не надо... Пожалуйста... Ты сядь... Вотъ такъ... Ну, сиди, сиди... Чего тамъ!.. А я тутъ около тебя буду. Можно, мамочка? Да? (Садится на скамью у ногъ матери и кладетъ ей на колѣни голову. Мать разглаживаетъ ему волосы).

МАТЬ. Легъ бы ты...

ЖОРЖИКЪ. Не хочу... Теперь мнѣ хорошо. Видишь ли, мамочка... Ты говоришь—не думай. А я не могу не думать. Мнѣ нужно... Помнишь—разъ Давидъ Моисеичъ у насъ чай пилъ?

МАТЬ. Ну?

ЖОРЖИКЪ. Онъ тогда говорилъ обо мнѣ и о Сережѣ...

МАТЬ. Такъ что жъ?

ЖОРЖИКЪ. Онъ говорилъ, что Сережа не могъ рѣшить задачу на бассейны, а я сразу рѣшилъ. А еще Сережа не зналъ, что время—пятаго склоненія, а я зналъ. А потомъ Давидъ Моисеичъ говорилъ, что съ Сережей ему тяжелѣе заниматься, потому что онъ лѣнится, и что я внимательнѣе и прилежнѣе... Помнишь?..

МАТЬ. Ну, помню...

ЖОРЖИКЪ. Стало быть, я умнѣе Сережи? да?

МАТЬ. Совсѣмъ—не стало быть... Сережа только плохо учителя слушаетъ.

ЖОРЖИКЪ. Нѣтъ, мамочка,—ты не говори этого. Мы разъ диктовку вмѣстѣ писали. Онъ сдѣлалъ двѣнадцать ошибокъ, а у меня всего четыре было... Потомъ—листочки наши, которые мы на экзаменѣ писали, я видѣлъ. На Сережиномъ много краснымъ карандашомъ подчеркнуто, — это какъ учитель поправлялъ. А на моемъ меньше. Сережѣ три съ минусомъ поставили. А мнѣ—четыре, хоть диктовка для іудейскаго вѣроисповѣданія труднѣе была... Задачу по ариѳметикѣ я самъ рѣшилъ. А Сережа списалъ. Это я вѣрно знаю... Да... Вотъ, видишь, мамочка!.. А все-таки Сережа поступилъ... А я... А мнѣ...

МАТЬ. Жоржикъ!.. Опять!..

ЖОРЖИКЪ. Нѣтъ, мамочка,—я не буду плакать. Совсѣмъ не буду... И ты не сердись... Только... Мамочка, ты... ты не обидишься?..

МАТЬ. Да что съ тобою?

ЖОРЖИКЪ. Ничего, мамочка... Право же, ничего... Какъ ты думаешь... Ну, вотъ если бы я по всѣмъ предметамъ пятерки получилъ... Приняли бы меня, или нѣтъ?

МАТЬ. Думаю, что приняли бы...

ЖОРЖИКЪ. Это взаправду, мамочка?.. Не сердись... Ну, конечно, взаправду. Вотъ и выходитъ, что больше всего ты виновата... Да папа еще...

МАТЬ. Я?.. Папа?..

ЖОРЖИКЪ. Ты меня прости, мамочка. Но видишь—я бы непремѣнно пятерки получилъ. И по ариѳметикѣ пятерку. И по русскому пятерку. Ужъ лучше бы не спалъ и не гулялъ—все бы учился, учился, учился... Но, вѣдь, ты же мнѣ не сказала...

МАТЬ. Чего не сказала?

ЖОРЖИКЪ. Насчетъ іудейскаго вѣроисповѣданія... (Мать хочетъ оттолкнуть его) Нѣтъ, нѣтъ... Не пущу!.. Я съ тобой буду... Это ничего, что ты не сказала. Вѣдь, я же узналъ... Теперь буду много-много учиться. Непремѣнно поступлю... Непремѣнно, мамочка... Время еще не ушло...

МАТЬ. (Задумчиво). Время еще не ушло...

ЖОРЖИКЪ. Разумѣется, не ушло... А что это такое, мамочка,—гражданинъ міра?

МАТЬ. (Вздрогнувъ) Откуда ты взялъ эти слова?

ЖОРЖИКЪ. Это я ненарочно, мамочка... Право же, ненарочно... Помнишь—у тебя гость какой-то былъ: черный такой, и борода большая... Помнишь?..

МАТЬ. Ну?

ЖОРЖИКЪ. Онъ въ гостиной съ тобою сидѣлъ и о чемъ-то громко такъ разговаривалъ... Помнишь?

МАТЬ. Помню...

ЖОРЖИКЪ. А я хотѣлъ сказать, что къ дядѣ Виктору пойду... Право, мамочка, хотѣлъ сказать... Вѣдь, не сталъ бы я подслушивать!..

МАТЬ. Ну, ну?

ЖОРЖИКЪ. Вотъ я и вошелъ въ гостиную... чтобъ о дядѣ Викторѣ сказать... Какъ разъ въ это время ты говорила... Постой—дай припомнить... Да... „Зато мои дѣти"... Это про насъ, стало быть, съ Вѣрочкой... „Зато мои дѣти скажутъ: мы граждане міра"... Вѣдь, такъ, мамочка? да?.. Потомъ ты еще что-то хорошее говорила, но я ушелъ и не разобралъ. А про гражданъ міра хорошо разобралъ. (Мать, закрывъ лицо руками, молчитъ) Только вотъ не понимаю, что это значитъ? (Мать молчитъ) Можно и послѣ объяснить... Еще успѣемъ...

МАТЬ. (Медленно) Тотъ гость упрекалъ меня, Жоржикъ, что я плохая еврейка... И папу упрекалъ...

ЖОРЖИКЪ Ага...

МАТЬ. Да... Говорилъ еще, что неправильно мы тебя и Вѣрочку воспитываемъ. Ваши, говоритъ, дѣти не знаютъ, что они евреи. И тоже будутъ плохими евреями...

ЖОРЖИКЪ. А ты?..

МАТЬ. (Поднимаетъ голову) А я ему отвѣтила, что надо быть не евреемъ хорошимъ, а человѣкомъ хорошимъ! А это не все равно, Жоржикъ. Гостю тогда я и примѣръ привела... И тебѣ его скажу. Давно тому жилъ въ Амстердамѣ мудрецъ—Спинозой его звали. Обрядовъ еврейскихъ онъ не исполнялъ, и былъ такимъ же плохимъ евреемъ, какъ папа и я. За это амстердамскіе евреи прокляли его. Они дѣлали ему очень больно и заставили уйти въ другой городъ. Спиноза

до самой смерти былъ хорошимъ человѣкомъ, и его до сихъ поръ почитаютъ всѣ—евреи и не евреи. И долго еще почитать будутъ. А тѣ, которые изгоняли и проклинали его, были только хорошими евреями, и о нихъ сами евреи говорятъ: это темные и дикіе люди, и необходимо, чтобъ такихъ было, какъ можно, меньше... Вотъ видишь, Жоржикъ... Хорошій еврей и для еврея бываетъ плохъ. А хорошій человѣкъ вездѣ хорошъ. И въ Америкѣ, и въ Африкѣ... Во всемъ мірѣ...

жоржикъ. Поэтому ты и сказала „граждане міра"?..

мать. Да, поэтому... А еще я говорила, что Жоржикъ и Вѣра, когда выростутъ, гордиться будутъ этимъ званіемъ. И спасибо за него скажутъ папѣ... (Улыбается) Ну, и мнѣ немножко...

жоржикъ. Мамочка—милая!.. (Тѣснѣе прижимается къ матери. Мать гладитъ его по головкѣ).

мужской голосъ. (За сценой) Точить ножи, ножницы... Точить ножи, ножницы...

мать. Вотъ бы и ты свой ножикъ отдалъ... Иступился, вѣдь...

женскій голосъ. Точильщикъ!.. Постой...

мужской голосъ. Алтынъ штука—давай больше...

жоржикъ. А ты замѣтила, когда мы изъ гимназіи выходили?.. Послѣ экзамена... Какъ сказали, кто принятъ...

мать. Да...

жоржикъ. Сережа Алексѣенко въ это время внизу возлѣ лѣстницы стоялъ съ другимъ мальчикомъ... Толстымъ такимъ, рыжимъ—и бровей у него не видно... Ты не знаешь, чей это мальчикъ?

мать. Не знаю.

жоржикъ. А когда мы проходили мимо нихъ, Сережа отвернулся отъ насъ... Вѣдь, онъ это нарочно, мамочка?

мать. Почему же нарочно? Можетъ быть, случайно...

жоржикъ. Нѣтъ, не случайно, мамочка!.. Право же, не случайно... Какъ мы съ лѣстницы спускались, онъ на насъ смотрѣлъ. Это я хорошо замѣтилъ. А когда мимо него проходили, онъ отвернулся—будто не видитъ... И покраснѣлъ... Это оттого, что ему стыдно... Все-таки онъ у насъ бывалъ. Хоть рѣдко, а бывалъ... Не спорь, мамочка,—право, онъ

покраснѣлъ. Я самъ видѣлъ... И потомъ еще—громко такъ сказалъ (Волнуется): „Жидковъ, говоритъ, сколько порѣзалось—страсть!..“ Ну, развѣ ты не слышала?

МАТЬ. (Тихо) Не обращай вниманія на это слово... Слышишь!..

ГОЛОСЪ ЗА СЦЕНОЙ. Кому еще точить?.. Точить... Ножи—ножницы...

ЖОРЖИКЪ. (Подымается и начинаетъ ходить по комнатѣ. Останавливается противъ матери, какъ бы желая что-то сказать, потомъ опять ходитъ)

ГОЛОСЪ ЗА СЦЕНОЙ. Ножи—ножницы!.. Точить...

МАТЬ. (Тревожно слѣдитъ за Жоржикомъ) Это слово не обидное. Но его нарочно говорятъ—съ цѣлью, чтобъ человѣкъ обидѣлся... Стало быть, глупъ тотъ, кто обижается...

ЖОРЖИКЪ. (Опять останавливается противъ матери) И что всего удивительнѣй...

МАТЬ. Что тебѣ удивительно?

ЖОРЖИКЪ. (Садится на прежнее мѣсто, у окна) Скажи, мамочка,—вѣдь, разныхъ вѣроисповѣданій много?

МАТЬ. Много...

ЖОРЖИКЪ. И непремѣнно надо какого-нибудь быть?

МАТЬ. Непремѣнно...

ЖОРЖИКЪ. А если я никакого вѣроисповѣданія? Можетъ такъ случиться, мамочка,—что никакого? Понимаешь? Мнѣ вотъ скажутъ, напримѣръ: ты, Жоржикъ, іудейскаго вѣроисповѣданія. А я отвѣчаю: нѣтъ! Я не іудейскаго, и другихъ не хочу... Скажи,—вѣдь, такъ можетъ быть?

МАТЬ. Бываетъ...

ЖОРЖИКЪ. И меня такъ и запишутъ, что никакого вѣроисповѣданія?..

МАТЬ. Нѣтъ, не запишутъ...

ЖОРЖИКЪ. Почему?

МАТЬ. Не знаю.

ЖОРЖИКЪ. А если я, и взаправду, мамочка, никакого?

МАТЬ. Это не резонъ...

ЖОРЖИКЪ. Какъ не резонъ!.. Я не хочу быть іудейскаго вѣроисповѣданія...

МАТЬ. Тогда выбери себѣ какое-нибудь другое...

ЖОРЖИКЪ. Ахъ, какая ты, мамочка, странная!.. Не хочу

я другихъ. Они мнѣ совсѣмъ не нужны. Я хочу, чтобъ ни того, ни другого...

МАТЬ. Нельзя такъ, Жоржикъ!..

ЖОРЖИКЪ. Почему, мамочка? а?

МАТЬ. Не позволяютъ...

ЖОРЖИКЪ. Въ гимназіи не позволяютъ?..

МАТЬ. Вообще не позволяютъ... Тѣ, которые людей въ бумаги записываютъ... (Жоржикъ встаетъ и быстро ходитъ взадъ и впередъ; потомъ останавливается у окна. На дворѣ начинаетъ играть шарманка)

ЖЕНСКІЙ ГОЛОСЪ. (Визгливо подпѣваетъ).

Мѣсяцъ плыветъ
По ночнымъ небесамъ.
Другъ мой проводитъ
Рукой по струнамъ.
Струны роко...

МУЖСКОЙ ГОЛОСЪ. Эй, ты!.. Чего ротъ раззявила!.. Проваливай! (Шарманка смолкаетъ) Откуда васъ, чертей, сюда носитъ!..

ЖОРЖИКЪ. Если такъ, то и я не согласенъ...

МАТЬ. Съ чѣмъ не согласенъ?..

ЖОРЖИКЪ. Не согласенъ, чтобъ не было іудейскаго вѣроисповѣданія... Теперь я все понимаю... Ты, значитъ, тоже никакого вѣроисповѣданія, а новаго выбирать не хочешь... Потому что оно... Вѣдь, я правду говорю, мамочка?.. И папа такъ думаетъ? да?.. Теперь и я такъ думаю. И ты, пожалуйста, мамочка, не передумывай. И Вѣрочкѣ надо сказать, чтобъ она не смѣла. Ей нужно запретить... А не захочетъ по нашему думать, пусть уходитъ и ищетъ себѣ другого папу и другую маму... Знаешь, мамочка,—тебѣ, быть можетъ, неловко съ нею объ этомъ говорить? а?.. Такъ я самъ ей скажу... Непремѣнно скажу. (Дѣловымъ шагомъ, заложивъ руки за спину, ходитъ по комнатѣ. Мать, пораженная, смотритъ на него, широко раскрывъ глаза) Сегодня же и скажу... Надо ее предупредить... И вотъ еще что. Это мнѣ не нравится, что мы... Ну, понимаешь,—было бы лучше, ужъ если Лейба, такъ и пусть Лейба, Гершка—такъ Гершка, Рифка—такъ Рифка...

МАТЬ. Жоржикъ!.. (Быстро закрываетъ лицо платкомъ. Силится сдержать рыданія)

ЖОРЖИКЪ. (Подбѣгаетъ къ Матери) Мама, ты не плачь. Если тебѣ нравится, я буду попрежнему говорить Вѣрочка, а не Рифка... И ты меня называй Жоржикомъ... Это ничего... Только надо, чтобъ къ намъ Сережа больше не приходилъ. Никогда!.. Я его совсѣмъ не хочу... Это непремѣнно... А остальное—пусть, какъ прежде, будетъ... (Мать рыдаетъ) Ну, не плачь же, мама!.. Не плачь!.. Чего ты плачешь?.. Мама!..

ЯВЛЕНІЕ V.

ВѢРОЧКА. (Вбѣгаетъ. У нея въ рукахъ ландыши. Сзади нея Аграфена) А вотъ и мы!.. Какіе, мама, цвѣты!.. (Въ недоумѣніи останавливается. Мать рыдаетъ сильнѣе)

Занавѣсъ быстро падаетъ.

С. Платоновъ.

САВВА ЕФИМЬЕВЪ,
протопопъ Спасскій Преображенскаго собора въ Нижнемъ-Новгородѣ.

(Изъ рѣчи въ общемъ годичномъ собраніи Императорскаго Русскаго Историческаго Общества 10 марта 1904 г.).

Имя Саввы Ефимьева не пользуется никакою извѣстностью въ нашемъ обществѣ. Врядъ ли кто изъ широкой публики знаетъ, что Савва игралъ такую же видную роль въ нижегородской исторіи, какъ знаменитые его современники К. Мининъ и князь Д. М. Пожарскій. Послѣдующія строки имѣютъ цѣлью опредѣлить эту роль и объяснить значеніе Саввы въ нижегородскомъ ополченіи 1611—1612 годовъ.

О личной жизни протопопа Саввы намъ извѣстно очень мало. Въ главный нижегородскій соборъ перешелъ онъ, кажется, изъ нижегородской церкви свв. Козьмы и Дамьяна, стоявшей въ Старомъ острогѣ, на берегу Оки-рѣки. Въ 1604 г. къ нему отошелъ по государевѣ грамотѣ дворъ прежняго спасскаго протопопа Василія „съ огородомъ и садомъ“, по мірской оцѣнкѣ посадскихъ людей „за двадцать за пять рублей“ *). Изъ этого извѣстія можно заключить, что Савва сталъ настоятелемъ Спасо-Преображенскаго собора около 1604 г. и во всякомъ случаѣ не позже этого года. Въ

*) Русская Историческая Библіотека, т. XVII. Писцовая книга по Н.-Новгороду, стр. 38, 116 и 82.

1606 году, въ августѣ Савва съ причтомъ Спасскаго собора получилъ отъ царя Василія Ивановича (Шуйскаго), тогда только что вступившаго на престолъ, жалованную грамоту, въ которой опредѣлялись жалованье, владѣнія и права соборнаго духовенства *). По этой грамотѣ нижегородскимъ игуменамъ и „попамъ всего города“ вмѣнялось въ обязанность „спасскаго протопопа Саввы слушати, на соборъ по воскресеньямъ къ молебнамъ и по праздникамъ къ церквамъ приходити“; за ослушаніе Савва могъ налагать на игуменовъ и священниковъ денежные штрафы и даже могъ за упорное непослушаніе „сажати въ тюрьму на недѣлю“, требуя для этого приставовъ у нижегородскихъ воеводъ. Такимъ образомъ, прот. Саввѣ принадлежало первенство въ духовенствѣ всего Нижняго-Новгорода, и рядомъ съ нимъ могъ стать одинъ лишь неподчиненный ему архимандритъ главнѣйшаго нижегородскаго Печерскаго монастыря. Понятно, что, занимая виднѣйшее мѣсто среди священнослужителей Нижняго, Савва въ 1611 году, при началѣ патріотическаго движенія въ Нижнемъ былъ очень замѣтенъ въ этомъ движеніи и стоялъ среди его руководителей. Когда же движеніе нижегородцевъ привело къ очищенію Москвы и дало возможность избрать новаго государя, Савва участвовалъ въ избраніи Михаила Ѳеодоровича въ числѣ прочихъ выборныхъ отъ Нижняго, а затѣмъ изъ Москвы поѣхалъ навстрѣчу государю—„его царскія очи видѣти“ **). При Михаилѣ Ѳеодоровичѣ Савва получилъ подтвержденіе жалованной грамоты 1606 года для причта своего собора. Ему же лично за его заслуги въ дѣлѣ нижегородскаго ополченія было дано въ собственность въ нижегородскомъ кремлѣ, у самаго Спасскаго собора „государево дворовое мѣсто“, рядомъ съ такимъ же государевымъ дворовымъ мѣстомъ, пожалованнымъ знаменитому Минину. Такимъ отличіемъ не былъ почтенъ въ Нижнемъ-Новгородѣ никто, кромѣ Минина и Саввы. Въ 1624 году Савва былъ еще живъ ***). Если ко всему сказанному прибавимъ, что у Саввы было два

*) Акты Ист., т. II, № 69.
**) Дворцовые Разряды, т. I, ст. 1086.
***) Акты Ист., т. II, № 69.

сына, Игнатъ да Василій*), то исчерпаемъ все то, что намъ извѣстно о частной жизни нижегородскаго протопопа.

Скудость біографическаго матеріала есть типичная черта старо-московской жизни, не дававшей простора для индивидуальной свободы. Личность мало высказывалась и мало обнаруживалась въ томъ общественномъ строѣ, коимъ управляли „старина и пошлина", „мѣра" и „чинъ", иначе говоря, вѣками установленный порядокъ, который для жившихъ въ немъ былъ въ одно время и дѣйствительностью, и идеаломъ. Именно поэтому историку надобно не только много труда, но и много проницательности, чтобы за безстрастными показаніями послужныхъ списковъ и благочестивыхъ житій увидать живое лицо, угадать характеръ и воскресить дѣйствительную личность. Въ отношеніи занимающаго насъ теперь протопопа Саввы не поможетъ, однако, никакая проницательность и никакое трудолюбіе. Пока не нашлись (а надо думать, они и не найдутся) какія-либо новыя данныя о немъ самомъ, протопопъ Савва не встанетъ передъ нами, какъ характеръ, какъ опредѣленная личность. Для серьезнаго историка будетъ всего достойнѣе и не пытаться дать характеристику этого лица, черты котораго уже безслѣдно стерты временемъ. Есть иная вполнѣ научная—и намъ доступная—задача, состоящая въ томъ, чтобы опредѣлить не самое лицо, а общественную роль протопопа Саввы въ исключительныхъ обстоятельствахъ его эпохи. Какъ дѣятель нижегородскаго движенія, Савва доступенъ нашему опредѣленію.

Въ послѣднія десятилѣтія исторія нижегородскаго подвига сдѣлала большіе успѣхи. И. Е. Забѣлинъ первый внесъ въ изученіе обстоятельствъ 1611—1612 гг. трезвый научный пріемъ, одинаково далекій какъ отъ реторическаго восхищенія на Карамзинскій ладъ, такъ и отъ обличеній Костомарова. Живое чувство народности, глубокое знаніе и пониманіе стараго Великорусья позволили г. Забѣлину избѣжать академической сухости изложенія и облечь въ плоть и кровь смутныя преданія и легенды о нижегородскихъ герояхъ. У него Мининъ и Пожарскій стали историческими и перестали

*) Русск. Историч. Библ., т. XII, стр. 82, 116.

быть легендарными, а нижегородскій „міръ“ изъ несмысленной толпы, шедшей слѣпо за вожаками, обратился въ одухотворенную патріотическимъ чувствомъ разумную среду. Изложеніе г. Забѣлина было построено на старомъ, давно извѣстномъ, но заново освѣщенномъ матеріалѣ. Послѣ книги г. Забѣлина о Мининѣ и Пожарскомъ былъ обнародованъ новый матеріалъ—текстъ писцовыхъ книгъ и десятенъ по Нижнему-Новгороду и его уѣзду и тексты литературныхъ произведеній о Смутномъ времени. Съ ихъ помощью можно продолжить работу г. Забѣлина и дать уже правильную исторію нижегородскаго движенія.

Самый общій очеркъ этой исторіи опредѣлитъ намъ значеніе нашего протопопа Саввы въ общемъ ходѣ нижегородскихъ и общерусскихъ событій великой эпохи освобожденія Москвы.

Во второй половинѣ 1611 года, послѣ смерти Пр. Ляпунова подъ Москвою, земское устройство, созданное имъ, пало, дворянское ополченіе разъѣхалось по домамъ и органы центральной власти—„приказы“, учрежденные въ подмосковной ратѣ для управленія страною, попали въ распоряженіе казачьихъ вождей, одинаково враждебныхъ и полякамъ, сидѣвшимъ въ Москвѣ, и старому московскому порядку. Правительственныя учрежденія стали служить врагамъ земщины: они „изъ городовъ и съ волостей на казаковъ кормы сбирали“, а казаки „ѣздили по дорогамъ станицами и побивали“. Надъ измученною страною господствовали двѣ власти, желавшія стать правительствомъ: польская и казачья. Первая дѣйствовала именемъ короля Сигизмунда и „царя“ Владислава и держалась окупаціей столицы. Вторая дѣйствовала именемъ „Всея Земли“ и держалась „казачьими таборами“, т. е. подмосковнымъ лагеремъ, въ которомъ казаки устроили правительственный центръ. Обѣ власти были ни для кого нежелательны, кромѣ тѣхъ, кто измѣнилъ родинѣ ради милостей Сигизмунда, и тѣхъ, кто связался съ казаками и отсталъ отъ стараго общественнаго порядка. Но никто не могъ указать, гдѣ искать третьей, болѣе законной власти. Ее еще надобно было создать. А кто же могъ ее создать въ обществѣ, которое разсыпалось на свои составныя части, отдѣльные города и волости?

Съ паденіемъ государственнаго порядка на Руси еще жилъ церковный. За недостаткомъ боевыхъ вождей народнымъ движеніемъ начинали руководить духовные отцы. Изъ церковныхъ круговъ шла проповѣдь, призывавшая къ единенію и народному подвигу. Если пастыри не могли стать сами во главѣ обновленнаго политическаго порядка, то они могли дать совѣтъ, какъ его обновить. И на этотъ разъ въ 1611 году они давали странѣ не одинъ, а два взаимно-противоположные совѣта. Троицкая лавра думала и писала, что земщинѣ необходимо было соединить свои силы съ подмосковнымъ казачествомъ для совмѣстной борьбы съ поляками. На этой мысли были построены всѣ знаменитыя троицкія грамоты 1611—1612 гг. Патріархъ же Гермогенъ думалъ, что казаки—еще горшій врагъ Русской земли, чѣмъ поляки, и что землѣ слѣдуетъ соединить свои силы для борьбы не только съ поляками, но прежде всего и съ казаками. Именно это писалъ Гермогенъ нижегородцамъ въ августѣ 1611 года. Оба авторитета—и братія монастыря св. Сергія, и „вторый Златоустъ“ патріархъ Гермогенъ—одинаково указывали, что починъ движенія долженъ былъ идти изъ мѣстныхъ обществъ; но направленіе движенія опредѣлялось ими разно.

Вотъ та обстановка, въ которой возникъ нижегородскій подвигъ.

Въ исторіи этого подвига мы теперь различаемъ слѣдующіе моменты. Первый,—когда Минину удалось подвигнуть нижегородскую посадскую общину на собираніе „казны многой“ для очищенія Московскаго государства. Второй моментъ,—когда приговоръ посадскихъ людей о собираніи казны и наймѣ ратныхъ людей былъ сообщенъ оффиціальнымъ лицамъ и высшему слою населенія Нижняго-Новгорода, былъ ими принятъ и повелъ къ образованію въ Нижнемъ особаго „приказа“ для организаціи рати и ея хозяйства. Третій моментъ,—когда этотъ особый приказъ, съ кн. Пожарскимъ и Мининымъ во главѣ, распространилъ свое вліяніе и власть на всю Низовскую область и собралъ около себя „для справки“ общій „земскій совѣтъ“ низовскихъ городовъ. И, наконецъ, четвертый моментъ,—когда, перемѣстившись въ Ярославль, нижегородская военно-административная власть обратилась

въ правительство всей Русской земли и повела эту землю къ Москвѣ для „очищенія государства“ и для „царскаго обиранья“.

Въ первый моментъ движенія главная роль принадлежитъ, безспорно, Минину. Онъ, и никто иной, нашелъ въ себѣ силу „возбудить спящихъ“ въ то время, когда прочіе застыли въ уныніи и уже отчаялись въ томъ, что Господь сохранитъ „останокъ рода христіанскаго“ и оградитъ миромъ „останокъ Россійскихъ царствъ и градовъ и весей“. Въ земской избѣ Нижняго-Новгорода (которую теперь назвали бы „городскою думою“) Мининъ началъ многія рѣчи о необходимости „чинить промыслъ“ надъ врагами. Какъ земскій староста, онъ имѣлъ въ своей общинѣ вѣсъ и вліяніе и добился того, что былъ написанъ „приговоръ всего града за руками“, т. е. оффиціальное постановленіе посадскихъ людей съ рукоприкладствомъ о томъ, чтобы поручить Минину произвести особый сборъ „на строеніе ратныхъ людей“. Этотъ сборъ Мининъ „собою начатъ“, т. е. первый внесъ свою жертву на народное дѣло, а затѣмъ понесли свои вклады и прочіе нижегородцы. Такъ какъ приговоръ имѣлъ въ виду общее принудительное обложеніе тяглыхъ людей по достаткамъ и доходамъ, то Минину приходилось прибѣгать и ко взысканіямъ съ тѣхъ, кто не хотѣлъ добровольно подчиниться мірскому приговору и подоходной раскладкѣ. По словамъ одного современника, Мининъ дѣйствовалъ среди своихъ согражданъ, „уже волю вземъ надъ ними по ихъ приговору, съ Божіей помощью и страхъ на лѣнивыхъ налагая“. Такъ, въ начальномъ моментѣ движенія первое мѣсто принадлежитъ Минину.

Когда затѣянное Мининымъ большое дѣло получило ходъ въ податной общинѣ Нижняго, оно не могло остаться безъ огласки. По самой своей сущности оно требовало широкаго оглашенія, такъ какъ нуждалось въ общемъ сочувствіи и поддержкѣ. Оно было объявлено и другимъ, не податнымъ чинамъ нижегородскаго населенія. По преданію, носящему признаки достовѣрности, произошло это такимъ образомъ. Въ Нижнемъ послѣ полученія одной изъ троицкихъ патріотическихъ грамотъ „нижегородскія власти на воеводскомъ дворѣ совѣтъ учиниша“; на совѣтѣ же томъ были печерскій

архимандритъ Ѳеодосій, протопопъ Савва и прочее духовенство, „дворяне и дѣти боярскіе, и головы и старосты, отъ нихъ же и Кузьма Мининъ“. Совѣтъ рѣшилъ собрать нижегородцевъ на другой день въ Спасо - Преображенскій соборъ, прочесть тамъ троицкую грамоту и звать народъ на помощь Москвѣ. Такъ и сдѣлали. На другое утро собрали горожанъ колокольнымъ звономъ въ соборную церковь и уже ко всему населенію Нижняго, а не къ однимъ тяглымъ людямъ, обратились съ воззваніемъ о патріотическомъ подвигѣ Первое мѣсто въ этомъ собраніи принадлежало Саввѣ. Послѣ обѣдни „предъ святыми вратами“ говорилъ онъ рѣчь народу и самъ читалъ троицкую грамоту. Мининъ говорилъ послѣ Саввы. Оба они явились вождями движенія. Въ Мининѣ нашла своего вожака тяглая масса; Савва же Ефимьевъ оказался первымъ выразителемъ высшихъ слоевъ нижегородскаго населенія,—тѣхъ, которые на воеводскомъ дворѣ наканунѣ впервые пристали къ движенію, начатому Мининымъ въ своей податной средѣ. Вступленіе въ дѣло высшихъ круговъ нижегородскаго населенія было вторымъ моментомъ движенія, и въ этомъ второмъ моментѣ виднѣйшая роль принадлежитъ Саввѣ. *Онъ* стоитъ въ челѣ всей массы нижегородцевъ, *его* рѣчью начинается оффиціальная исторія нижегородской рати, *его* благословеніе и молитвы осѣняютъ самое возникновеніе подвига и встрѣчаютъ князя Д. М. Пожарскаго въ нижегородскомъ соборѣ.

И въ слѣдующихъ моментахъ движенія протопопу Саввѣ принадлежитъ дѣятельная роль. Подъ руководство Нижняго скоро стала вся Низовская земля, и только въ Казани произошло нѣкоторое осложненіе отношеній съ Нижнимъ. Чтобы выяснить недоразумѣніе, нижегородцы послали въ Казань посольство изъ духовныхъ и дворянъ, а во главѣ посольства товарища Пожарскаго Биркина и Савву протопопа. Когда же благое дѣло московскаго очищенія совершилось, и Пожарскій изъ Москвы звалъ выборныхъ изъ городовъ для государева обиранья, то Нижній опять выбралъ своимъ представителемъ Савву, который и подписался подъ избирательною грамотою такъ: „Изъ Нижняго Новагорода *выборный* спасскій протопопъ Савва“.

Итакъ, Савва замѣтенъ для насъ съ начала до конца ниже-

городскаго подвига и можетъ быть опредѣленъ нами, какъ одинъ изъ его иниціаторовъ или; говоря старымъ русскимъ языкомъ, какъ одинъ изъ его „заводчиковъ“. Въ этомъ его и значеніе. Какъ одинъ изъ тѣхъ, кому принадлежалъ починъ великаго дѣла, Савва, конечно, принималъ участіе въ обсужденіи его руководящаго плана, и въ этомъ отношеніи онъ для насъ особенно любопытенъ. Несмотря на то, что онъ читаетъ народу въ Спасскомъ соборѣ троицкую грамоту, онъ не раздѣляетъ троицкой программы, предполагавшей единеніе земскихъ силъ съ казачьимъ подмосковнымъ станомъ. Въ Нижнемъ рѣшено было держаться лозунга Гермогена: „и на поляковъ, и на казаковъ“. Объ этомъ явственно говорили нижегородскія грамоты, пошедшія во всѣ окрестные города съ извѣстіемъ о началѣ движенія въ Нижнемъ. Объ этомъ же говорить изъ Нижняго послали въ Казань цѣлое посольство, въ которомъ былъ и Савва. Троицкая грамота, очевидно, служила для Саввы и другихъ руководителей Нижняго только поводомъ для бесѣды, но не приказомъ или обязательнымъ руководствомъ. Пошедшая отъ троицкой грамоты бесѣда привела къ отрицанію ея совѣтовъ,—и въ этомъ надо видѣть залогъ успѣха нижегородскихъ начинаній.

Вѣрный завѣтамъ Гермогена, Нижній началъ войну съ казаками раньше, чѣмъ съ поляками, и побѣдилъ ихъ. Казаки вошли въ составъ земскаго ополченія лишь тогда, когда покорились земщинѣ и погасили зажженное ими пламя общественной розни. Тѣ же изъ нихъ, кто все еще мечталъ сжечь этимъ пламенемъ старый общественный порядокъ, были вынуждены бѣжать изъ государства навсегда. И лишь тогда, когда были побѣждены казаки, русскіе люди успѣли одолѣть и поляковъ въ Москвѣ.

Пристальное изученіе нижегородскаго подвига, замѣняющее легенду исторіей, не только не стираетъ красокъ съ этой величавой исторической картины, но, напротивъ, освѣжаетъ ихъ до изумительно яркаго блеска. Поразительная минута глубокаго душевнаго возбужденія, пережитая народной массой съ Мининымъ и Саввою во главѣ, не пропадаетъ безслѣдно. Собраны деньги и люди, найденъ даровитый вождь Пожарскій, даны ему помощники и средства, выра-

ботанъ планъ дѣйствій,—и въ одну зиму созрѣла организація, широкая и мощная, осмотрительная и смѣлая, неторопливая и энергичная. Блескъ великаго народнаго генія освѣщаетъ эту картину, и въ его безсмертныхъ лучахъ всего виднѣе для насъ три нижегородскихъ имени: „сирота государевъ"—посадскій человѣкъ Мининъ, „слуга государевъ"—стольникъ князь Пожарскій и „государевъ богомолецъ"—протопопъ Савва.

С. Протопоповъ.

ЗАМѢТКИ О В. Г. КОРОЛЕНКО.

У насъ въ Россіи не особенно приняты характеристики современниковъ. Интересному человѣку обыкновенно даютъ состариться, сойти со сцены и даже умереть, и только послѣ этого выступаютъ съ воспоминаніями, впечатлѣніями и очерками, обрисовывающими личность. Но всѣ эти описанія и оцѣнки имѣютъ лишь историческое значеніе: на аренѣ жизни уже другіе интересные люди, и общественное вниманіе къ прошлому уже успѣло значительно остыть. Такой порядокъ укоренился, какъ говорятъ, „по причинамъ независящимъ“ отъ литературы, и мы до извѣстной степени привыкли довольствоваться толкованіями минувшаго безъ толкованія современнаго. Не такъ поступаютъ на Западѣ и въ Америкѣ: тамъ не откладываютъ, по щедринскому выраженію, для „Русской Старины“ то, что читатели желаютъ знать въ настоящее время. Думается мнѣ, и намъ пора широко усвоить этотъ путь. Правда, кое-что въ такомъ направленіи уже дѣлается, но только—кое-что. Юбилей В. Г. Короленко 15-го іюля 1904 г. сопровождался опубликованіемъ нѣсколькихъ біографическихъ свѣдѣній, однако, ихъ было такъ мало, что на ихъ появленіе можно смотрѣть, какъ на исключеніе, подтверждающее общее правило.

„Замѣтки о В. Г. Короленко“ состоятъ изъ штриховъ и фактовъ, извлеченныхъ мною изъ моихъ памятныхъ книжекъ и хранящихся у меня писемъ. Надѣюсь, что они прочтутся съ нѣкоторымъ интересомъ и окажутся небезполезными, какъ матеріалъ для характеристики.

Я познакомился съ В. Г. Короленко въ Н.-Новгородѣ зимой 1891 г. Онъ зашелъ ко мнѣ, какъ къ „Лукояновцу“, разузнать о „голодныхъ дѣлахъ“. Я обѣщалъ собрать свѣдѣнія и чрезъ нѣсколько дней отправился къ моему новому знакомому, жившему тогда въ концѣ окраинной Канатной улицы. Зима „голоднаго года“ была суровая и снѣжная. Канатная была занесена сугробами и даже узкая дорога посреди улицы была изрыта ухабами.

— Владиміръ Галактіоновичъ дома?

— Снѣгъ расчищаетъ въ саду,—отвѣтила женщина, отворившая дверь.

Чрезъ нѣсколько минутъ вошелъ самъ расчищатель снѣга. Его усы и окладистая борода были покрыты инеемъ. Онъ бодро потопалъ ногами, отряхивая съ сапогъ примерзшій снѣгъ.

— Здравствуйте.

— И холодно же сегодня, а вы въ одномъ пиджакѣ и безъ шапки...—укоризненно сказалъ я.

— Ничего: въ движеніи тепло.

Разговоръ быстро перешелъ на „злобу дня“—на голодъ. Мой собесѣдникъ энергично и бодро изложилъ цѣлый „планъ кампаніи“: необходимо поднять шумъ въ печати, немедленно слѣдуетъ ѣхать туда—на мѣсто, нужно организовать сборъ пожертвованій, столовыя и т. д., и т. д.

Бодрость, даже жизнерадостная бодрость В. Г. Короленко удивляла не меня одного. Многіе нижегородцы до знакомства съ нимъ ожидали увидѣть въ человѣкѣ, долго сидѣвшемъ въ тюрьмахъ и испытавшемъ якутскую ссылку, признаки надломленности, озлобленія и усталости. Но эти естественныя ожиданія не оправдывались. Какъ „тяжкій млатъ, дробя стекло, куетъ булатъ“, такъ и всѣ испытанія не раздробили силъ здороваго и крѣпкаго организма В. Г. Короленко, не убили въ немъ ни добродушія, ни юмора, ни бодрости, ни веселости, ни энергіи. Одинъ только слѣдъ перенесеннаго скоро бросался въ глаза: В. Г. Короленко съ особенной чуткостью „реагировалъ“ на отрицательные факты жизни. Однако, эта черта никогда не переходила въ что-либо напоминающее тяжелые типы „униженныхъ и оскорбленныхъ“.

— Заходите вечеркомъ: будутъ Анненскіе и еще кое-кто.

Часто по вечерамъ маленькая квартира въ концѣ Канатной у „Трехъ - Святителей“ наполнялась гостями. Здѣсь встрѣчались люди изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ нижегородскаго общества: земцы, врачи, пароходные капитаны, чиновники, учителя, учительницы, судьи, адвокаты, „братья писатели“, люди, ищущіе работы, и пр., и пр. Всѣ себя чувствовали хорошо и просто: хозяинъ всѣхъ объединялъ. И замѣчательно: эта маленькая квартира имѣла необыкновенное свойство—вызывать наружу лучшія черты людей.

Здѣсь была какая-то особенная атмосфера, въ которой оживлялось и крѣпло все хорошее въ человѣкѣ. Скупой здѣсь рѣшался быть добрымъ, трусливый—смѣлымъ, хитрый—прямодушнымъ. Одинъ мой знакомый, К., не разъ говаривалъ мнѣ:

— Когда я вижу Короленко, меня охватываетъ стыдъ моего собственнаго существованія....

Появлялся самоваръ. Вынимался изъ шкафа въ иныхъ случаяхъ и графинчикъ съ водкой, но онъ плохимъ почетомъ пользовался у „Трехъ-Святителей“: хозяинъ не обращалъ на него никакого вниманія; заражались равнодушіемъ къ нему и гости.

Очень скоро квартира Короленокъ получила значеніе „культурнаго центра“ въ нижегородской жизни. На ряду съ самыми разнообразными общими вопросами здѣсь обсуждались всѣ выдающіеся факты мѣстной жизни, и съ увѣренностью можно сказать, что многіе дѣятели здѣсь рѣшали, чего имъ слѣдуетъ держаться въ земствѣ, въ думѣ, въ собраніяхъ разныхъ обществъ и даже на поприщахъ чиновничьей службы. Здѣсь же заложено было основаніе мѣстному кружку „трезвыхъ философовъ“, которые періодически собирались, читали рефераты и обсуждали „очередные вопросы“. Съ пріѣздомъ В. Г. Короленко Н.-Новгородъ замѣтно разбогатѣлъ людьми. Пріѣхали сюда Анненскіе, С. Я. Елпатьевскій, стали наѣзжать столичные гости—Г. И. Успенскій, Н. К. Михайловскій и многіе другіе. Но, что можетъ быть важнѣе этого, завелся въ мѣстной жизни новый ферментъ, успѣшно вступившій въ борьбу съ весьма старозавѣтнымъ укладомъ города.

Читающая Россія знаетъ, какъ пишетъ В. Г. Короленко, а знакомымъ его, кромѣ того, еще извѣстно, что онъ также хорошо и разсказываетъ. Нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ я привожу здѣсь, но, къ сожалѣнію, могу гарантировать лишь точность содержанія: форма не поддается воспроизведенію.

Въ началѣ 80-хъ годовъ В. Г. Короленко по волѣ судьбы пришлось жить въ Починкѣ—маленькомъ захолустномъ селеніи, на самомъ сѣверѣ Глазовскаго уѣзда Вятской губерніи. Съ цѣлью „наполнить время“ и ради заработка Владиміръ Галактіоновичъ превратился здѣсь въ сапожника.

— Дѣло это весьма интересное, и я имъ увлекался. Это увлеченіе, между прочимъ, поддерживалось и честолюбіемъ: въ Починкѣ я справедливо считался первымъ сапожникомъ. Мой единственный конкурентъ погубилъ свою репутацію пристрастіемъ къ вину, я же, вопреки традиціямъ профессіи, отличался трезвостью и шилъ очень крѣпкіе сапоги, прославившіеся въ селеніи. Впослѣдствіи я былъ наказанъ за излишнее самомнѣніе. Это случилось послѣ моего переѣзда въ Пермь. Здѣсь я тоже хотѣлъ продолжать шитье обуви и безъ всякихъ колебаній взялся изготовить пару ботинокъ изъ какой-то матеріи, данной мнѣ заказчикомъ. Первая половина работы прошла благополучно, но когда я снялъ ботинки съ колодокъ, онѣ вдругъ съежились.... Произошло это потому, что я разрѣзалъ матерію безъ вниманія къ направленію нитокъ основы и утка.

Въ другомъ захолустьѣ, гдѣ жилъ Владиміръ Галактіоновичъ, тоже въ началѣ 80-хъ годовъ, идею начальства воплощалъ въ себѣ нѣкто Лука Сидоровичъ, старикъ довольно бодрый, съ понятіями вполнѣ соотвѣтствующими его положенію. Вся корреспонденція ссыльныхъ—письма и книги проходили черезъ руки Луки Сидоровича, который обыкновенно не торопился передачей почты. Однажды на имя Владиміра Галактіоновича присланы были томикъ стиховъ Пушкина и томикъ Лермонтова. Лука Сидоровичъ задержалъ книжки болѣе недѣли, и когда Владиміръ Галактіоновичъ обратился къ нему съ упрекомъ по этому поводу, старикъ, вспыливши, отвѣтилъ:

— У меня есть дѣла поважнѣе передачи дрянныхъ книженокъ!..

Эта фраза дала поводъ В. Г. Короленко написать жалобу на Луку Сидоровича. Въ жалобѣ было упомянуто, что Лука Сидоровичъ называетъ сочиненія Пушкина и Лермонтова „дрянными книженками“....

— По правдѣ сказать,—разсказываетъ В. Г. Короленко,— я довольно неблагородно подловилъ старика.

Жалоба была направлена куда слѣдуетъ и въ конечномъ результатѣ имѣла не исправленіе литературныхъ вкусовъ Луки Сидоровича, а обостроеніе его отношеній къ жалобщику. Лука Сидоровичъ началъ проявлять свою власть. Онъ частенько приходилъ въ домъ, гдѣ жилъ В. Г. Короленко, и посматривалъ, что онъ дѣлаетъ.

Однажды визитъ Луки Сидоровича совпалъ съ обѣденнымъ временемъ „сапожника“, и между ними произошелъ слѣдующій разговоръ:

— Здравствуйте, Лука Сидоровичъ.

— Здравствуйте, г. Короленко... Кушать изволите!?.

— Да-съ, обѣдаю. А почему это васъ удивляетъ? Вѣдь и вы сами ежедневно обѣдаете.

Луку Сидоровича эти слова почему-то задѣли; онъ вспылилъ, покраснѣлъ и съ удареніемъ произнесъ:

— Обѣдаю-съ!?.. Нѣтъ-съ!.. Нѣтъ-съ!... я подкрѣпляю свои силы для пользы службы... а вы... вы еще Богъ знаетъ зачѣмъ кушаете!..

Въ Починкѣ Владиміръ Галактіоновичъ разочаровался въ нѣкоторыхъ наивныхъ взглядахъ народничества, вынесенныхъ имъ изъ столицъ.

— Переселившись въ это глухое захолустье, я скоро замѣтилъ, что здѣсь вообще замки не въ употребленіи. Избъ и амбаровъ не запираютъ и кражъ не боятся. Я приписалъ все это дѣвственной простотѣ и неиспорченности жителей. Но весьма скоро я увидалъ, что кражъ въ Починкѣ нѣтъ только потому, что нѣтъ возможности сбывать краденое: здѣсь всякій житель знаетъ все имущество сосѣдей, какъ свое собственное. Пожилъ еще и увидалъ, что „дѣвственная простота и неиспорченность“ вовсе не мѣшаютъ хитрому плутовству, грубости и даже жестокости нравовъ.

Въ якутской области Владиміру Галактіоновичу нравилось земледѣліе и даже скотоводство. Но способностями хо-

зяина нашъ писатель не отличался. Общимъ планомъ работъ завѣдывалъ одинъ изъ сожителей В. Г. Короленко, П., самъ же онъ съ охотой и прилежаніемъ трудился надъ землей, какъ простой работникъ, а не какъ распорядитель. Особенно любилъ Владиміръ Галактіоновичъ время сѣнокоса. Его радовали лѣса, поля, луга, сочная трава и вся природа, оживающая послѣ безконечно долгой сибирской зимы. Онъ наслаждался и чистымъ воздухомъ зеленѣющихъ пространствъ, и чистою водою величавыхъ рѣкъ, и свѣжестью растительности. Лишь время отъ времени это настроеніе смѣнялось другимъ, навѣяннымъ сознаніемъ, что годы короткой жизни бѣгутъ и что шить сапоги на починковскихъ крестьянъ и косить якутскую траву все-же не самое лучшее дѣло...

Въ одиночной камерѣ петербургской „предварилки“ В. Г. Короленко написалъ свой извѣстный разсказъ—„Въ дурномъ обществѣ“.

— Кажется, мнѣ никогда не писалось такъ легко,—говорилъ онъ.

Эта камера зарисована Владиміромъ Галактіоновичемъ въ его памятной книжкѣ. Узенькая комнатка съ однимъ окномъ; у стѣны низкая кровать; подъ окномъ столъ и табуретка. Въ этой же книжкѣ зарисована якутская юрта, гдѣ долго жилъ В. Г. Короленко. Зимой оконныя стекла замѣнялись толстымъ слоемъ льда. Послѣ каждой топки очага кто-нибудь изъ обитателей по очереди долженъ былъ одѣваться и лѣзть на крышу, чтобы закрывать трубу. Замѣна льдомъ стеколъ при якутскихъ морозахъ являлась необходимостью: стекла слишкомъ холодили, потѣли и покрывались инеемъ. Ледъ служилъ лучше и только весной протаивалъ и оказывался негоднымъ.

— Володя пишетъ.

Эти слова знакомые В. Г. Короленко часто слышали отъ его жены при входѣ въ квартиру у „Трехъ-Святителей“.

— Пишетъ... такъ значитъ нельзя его видѣть?

— Да... Вѣдь вы и сами знаете, что пока онъ не кончитъ,

онъ все равно неспособенъ понимать постороннихъ предметовъ.

Это свойство всѣмъ хорошо было извѣстно, и ему безропотно покорялись. Конечно, въ комнату Владиміра Галактіоновича войти было возможно, но ничего хорошаго изъ этого не выходило: прерванная работа продолжала владѣть всѣмъ его вниманіемъ, онъ отвѣчалъ невпопадъ и все время поглядывалъ на свои листы съ единственнымъ желаніемъ—опять приняться за писаніе.

Пишетъ В. Г. Короленко легко, скоро и съ удовольствіемъ. По его словамъ, ему трудно только начать, но когда первая фраза „въ нужномъ тонѣ" написана, продолженіе уже льется само собой. Беллетристику онъ всегда самъ переписываетъ и при этомъ со значительными измѣненіями. Другія статьи онъ пишетъ прямо начисто, но въ печать онѣ попадаютъ съ многими поправками на поляхъ и между строкъ.

— Когда я что-либо описываю, я ясно вижу всю картину. Однажды, работая надъ очерками Сибири, я вдругъ замѣтилъ, что пересталъ писать и рисую перомъ тотъ пейзажъ, о которомъ шла рѣчь.

Однажды лѣтомъ В. Г. Короленко съ добродушнымъ юморомъ разсказалъ своимъ знакомымъ слѣдующій эпизодъ.

— Былъ у меня сегодня нѣкій юный человѣкъ и преоригинальный. Позвонилъ, вошелъ, отрекомендовался и сказалъ, что утромъ пріѣхалъ сюда въ Нижній съ поѣздомъ и сегодня же отправляется далѣе по Волгѣ, а между желѣзной дорогой и пароходомъ пожелалъ со мною увидаться. Я былъ занятъ и потому былъ неразговорчивъ. Сидимъ мы другъ противъ друга и молчимъ. Наконецъ, онъ спрашиваетъ: „А что вы теперь пописываете?" Я нѣсколько смутился вопросомъ и отвѣтилъ неопредѣленно. „А вы прямо начисто пишете свои разсказы?—спросилъ онъ,—я вотъ прямо пишу начисто".—Значитъ, вы тоже писатель? Гдѣ же вы печатаете свои произведенія?—„Я ихъ еще не печатаю... я это сказалъ про гимназическія сочиненія"...

Конечно, счастливъ былъ безцеремонный гость, что не нарвался на рѣзкаго собесѣдника. Аналогичный случай имѣлъ мѣсто въ моемъ присутствіи въ Нью-Іоркѣ, гдѣ я былъ съ Владиміромъ Галактіоновичемъ проѣздомъ на чикагскую вы-

ставку. Американскія газеты всегда печатаютъ списки прибывающихъ изъ Европы. Имя автора „Слѣпого Музыканта“ привлекло въ нашъ отель нѣсколькихъ интервьюэровъ. Въ ихъ числѣ заявился одинъ, Рабиновичъ—молодой, но ранній. Онъ преважно разсѣлся въ нашей комнатѣ и началъ допрашивать Владиміра Галактіоновича. Скоро обнаружилось, что Рабиновичъ—полный невѣжда въ русской исторіи и въ русской дѣйствительности. Подробные и старательные отвѣты его утомляли, и онъ безцеремонно прерывалъ Владиміра Галактіоновича и вновь спрашивалъ какую-нибудь нелѣпость. Я долго смотрѣлъ на эту сцену и, наконецъ, вмѣшался. Рабиновичъ ушелъ.

— Зачѣмъ вы такъ рѣзко...—упрекнулъ меня В. Г. Короленко.

— Да вѣдь это—нахалъ: онъ даже понять не можетъ, что говоритъ съ выдающимся писателемъ... Ему просто нужна построчная плата...

— Онъ, дѣйствительно, несимпатичный, но мнѣ показалось, что онъ нуждается въ заработкѣ... Вотъ я и хотѣлъ дать ему матеріалъ. Пусть бы на мнѣ что-нибудь нажилъ.

Взглядъ В. Г. Короленко на нищенство изложенъ въ главѣ „Христовымъ именемъ“ его книги—„Въ голодный годъ“. Вѣрный этимъ взглядамъ, онъ неизмѣнно шарилъ по своимъ карманамъ, когда встрѣчался съ протянутыми руками, и на рацеи знакомыхъ о поощреніи лѣности, тунеядства и попрошайничества обыкновенно отвѣчалъ шутками:

— Вы говорите—„пропьетъ“... На то, что я ему далъ, не много выпьетъ.

— Несимпатичный?.. Да и монета, которую онъ получилъ, не богъ вѣсть какая симпатичная.

Часто происходили и такіе разговоры:

— Что это, Владиміръ Галактіоновичъ, на какомъ отвратительномъ извозчикѣ вы пріѣхали?

— Плохой, совсѣмъ плохой, но вѣдь ему и не поправиться, если его не будутъ брать.

Мы прозвали В. Г. Короленко „банкиромъ“. Это названіе онъ заслужилъ своей страстью „выручать изъ бѣды“. Очень часто касса „банкира“ оказывалась пустой, ссуды пріостанавливались и онъ отправлялся отыскивать кредиты.

Ходатайства „банкира“ обыкновенно увѣнчивались успѣхомъ; онъ слишкомъ хорошо доказывалъ необходимость помощи рядомъ соображеній: положеніемъ нуждающагося, его желаніемъ „встать на ноги“ и т. д., и т. д.

Кліентовъ „банкира“ брали на мѣста, давали имъ и денегъ, и платья. Если кліентъ довѣрія не оправдывалъ, „банкиръ“ убѣжденно говорилъ, что слѣдуетъ его „еще разъ испытать“.

У меня сохранилась слѣдующая записка—типичный представитель циркуляровъ „банкира“:

„Л. вопіетъ о 35 рубляхъ,—а я собралъ уже свои поскребушки у В. А. Горинова и теперь не имамъ. Не пошлете ли?

В. Короленко“.

Весьма понятно, что такой отзывчивый человѣкъ, какъ В. Г. Короленко, не можетъ быть только жрецомъ „чистаго“ искусства. И дѣйствительно, мы видимъ, что онъ постоянно вмѣшивается въ жизнь съ ея борьбою и ея противорѣчіями. Въ 70-хъ годахъ В. Г. Короленко увлекаетъ волна „хожденія въ народъ“ и другія теченія тогдашняго времени. Въ 90-хъ годахъ онъ—дѣятель „голоднаго года“, защитникъ мултанскихъ вотяковъ и т. д.,—это, такъ сказать, крупные этапы, но интересны и болѣе мелкіе.

Нижегородскіе земцы, дворяне, судьи и городскіе гласные часто видѣли „корресподента-Короленку“, внимательно слушающимъ пренія собраній, дебаты думы и судоговоренія.

— Когда у меня перо въ рукахъ,—говорилъ не разъ Владиміръ Галактіоновичъ,—я не знаю жалости.

И это подтверждалось фактами. Вскорѣ послѣ „визитовъ“ появлялись корреспонденціи, которыя сыграли большую роль въ развитіи нижегородскаго самосознанія. До В. Г. Короленко о нижегородскихъ дѣлахъ писалъ лишь А. С. Гацисскій, но по многимъ причинамъ ему не удалось создать „нижегородской публицистики“. Эту задачу выполнилъ Владиміръ Галактіоновичъ, и нужно было имѣть его талантъ, его мѣткость и его чувство мѣры, чтобы превозмочь всѣ трудности піонерства. Онъ далъ тонъ, онъ показалъ, въ какой формѣ воз-

можно обсужденіе многихъ нетронутыхъ печатью общественныхъ вопросовъ. Съ его легкой руки „корреспонденты расплодились“ на родинѣ Минина, и теперь, кромѣ двухъ большихъ мѣстныхъ газетъ, нижегородскую жизнь освѣщаютъ многочисленныя сообщенія въ столичную печать. Это, конечно, нисколько не порадовало любителей „доброй старины“, когда все было шито-крыто, и не даромъ одинъ изъ такихъ господъ пустилъ крылатое слово:

— Короленко, какъ раскольничій епископъ: появился здѣсь и основалъ цѣлую секту корреспондентовъ.

— Когда вы пишете обличенія, господа, — говаривалъ „епископъ“ своему „причту“,—воображайте себѣ, что все это вы говорите покойно и открыто въ лицо обличаемому. Если вы почувствуете, что все вами написанное вы и сказать можете въ глаза,—значитъ, и тонъ, и мѣра соблюдены.

— Будьте чрезвычайно точны съ фактической стороны,— продолжалъ онъ,—потому что люди забудутъ сотни вашихъ истинъ и заслугъ и придерутся къ самой маленькой ошибкѣ.

И самъ Владиміръ Галактіоновичъ строго придерживался этихъ правилъ. Его корреспонденціи въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, въ „Волжскомъ Вѣстникѣ“, въ „Самарской Газетѣ“, въ „Русской Жизни“ и въ другихъ газетахъ вызывали шумъ „задѣтаго муравейника“, но возраженія оставались обыкновенно лишь въ проектахъ. А между тѣмъ обличаемыми бывали и зубастые люди, и сильныя учрежденія, какъ, напримѣръ, компанія „Дружина“, директора Александровскаго банка, губернскій предводитель Зыбинъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Андреевъ, „знаменитый“ губернаторъ Н. М. Барановъ и мн. др.

Въ 1894 г. Владиміръ Галактіоновичъ въ компаніи съ тремя лицами задумалъ издавать въ Н.-Новгородѣ газету. Рѣшено было купить у г. Милова „Нижегородскій Листокъ объявленій и справокъ“. Начались переговоры и хлопоты. Г. Миловъ согласился продать свою газету за очень скромную сумму, такъ какъ роль издателя-редактора приносила ему лишь убытки и непріятности. Новая „Компанія“ была преисполнена энергіи, плановъ, надеждъ и проектовъ. Владиміръ Галактіоновичъ чрезвычайно увлекся идеей создать хорошій областной органъ. Но скептики предрекали фіаско.

— Если даже разрѣшатъ вамъ газету, то это все же принесетъ ущербъ русской литературѣ, отвлекая Короленко отъ беллетристики,—прибавляли и скептики, и друзья.

— Этого нечего бояться,—настаивалъ Владиміръ Галактіоновичъ,—я успѣю и газетой заниматься, и беллетристикой.

Всѣ препятствія казались не существенными. Въ этомъ увлеченіи сказывалась вся склонность и любовъ В. Г. Короленко къ провинціи и къ публицистикѣ.

— Мы изучимъ всѣ мѣстныя учрежденія, какъ свои пять пальцевъ,—говорилъ онъ.

И „Компанія“ заражалась его энергіей и его оптимизмомъ.

Въ маѣ меня откомандировали въ Петербургъ съ довѣренностями, заявленіями, прошеніями и договорами въ карманѣ.

Вотъ нѣкоторыя выдержки изъ писемъ, полученныхъ мною въ Петербургѣ.

„5 мая 1894 года. Н.-Новгородъ. Дѣлайте, Сергѣй Дмитріевичъ, все, что нужно, что возможно и даже болѣе, чтобы исхлопотать утвержденіе редакторовъ. Полагаю, всего лучше третьимъ—Владиміра Адріановича *). Если захотятъ—утвердятъ, и отлично. Мы преисполнены довѣріемъ къ нашему дѣлу и будемъ крайне огорчены неудачей. Итакъ, бодрѣе и настойчивѣе. Помните, что вы, какъ нѣкій Атлантъ, держите на своихъ плечахъ цѣлый міръ нашихъ упованій. Полагаемся на васъ, какъ на каменную стѣну. Не огорчайтесь свѣдѣніями о неудачахъ нѣкоторыхъ провинціальныхъ газетъ. Мы опять продѣлали всѣ разсчеты. Труда много,—но вѣдь мы это и знали. Стой же крѣпко! Хорошо настоять на типографіи, но въ крайнемъ случаѣ и безъ оной можно. Итакъ, ждемъ васъ со щитомъ и побѣдой.

Вашъ В. Короленко“.

„7 іюня 1894 года. Н.-Новгородъ. Сейчасъ мы отъ губернатора **): общее впечатлѣніе отъ разговора неопредѣленное. Съ одной стороны, онъ сообщилъ довольно категорично, что

*) Владиміръ Адріановичъ Гориновъ— одинъ изъ нашей „Компаніи“. Его мы рѣшили представить редакторомъ, если не будутъ утверждены ни В. Г. Короленко, ни я.

**) Н. М. Барановъ.

оба учрежденія, отъ коихъ зависитъ дѣло, ничего не имѣютъ противъ нашего редакторства и мы будемъ утверждены. Съ другой—что ему предложено предъявить намъ нѣкоторыя условія.

— Вы, вѣроятно, знаете?

— Относительно типографіи, ваше превосходительство?

— Да, относительно типографіи.

Онъ, по его словамъ, отказался предъявлять намъ эти условія, такъ какъ не любитъ палліативовъ. Тогда ему сказали, что сами предъявятъ условія, и что по сему онъ ждетъ еще новаго запроса и тогда пригласитъ меня. Все это удивительно странно. Почему запросъ сюда,—когда можно спросить прямо васъ, какъ лицо уполномоченное, какой еще запросъ, какія еще условія?—Темна вода во облацѣхъ. Мое впечатлѣніе, что газету намъ, очевидно, разрѣшаютъ, но насчетъ типографіи кто-то изъ трехъ инстанцій препятствуетъ. Губернаторъ сказалъ, что въ департаментѣ полиціи ему говорили,—если они согласятся не просить о типографіи, то мы дадимъ отзывъ благопріятный, а если не согласятся — и отзывъ будетъ другой. Но вѣдь отзывъ, вѣроятно, уже данъ или будетъ данъ въ самомъ скоромъ времени на запросъ главнаго управленія. Неужели въ самомъ дѣлѣ это еще затянется? Затѣмъ губернаторъ еще сказалъ мнѣ, что главныя препоны онъ встрѣтилъ не съ той стороны, съ которой ждалъ, то-есть, не отъ полиціи, которая согласилась довольно быстро признать насъ редакторами, а именно со стороны цензуры. Однимъ словомъ,—мы толкомъ не поняли, и Владиміръ Адріановичъ выноситъ изъ разговора не то впечатлѣніе, которое вынесъ я. Какъ бы то ни было, разъ мы за это дѣло взялись, нужно идти до конца. Насчетъ типографіи въ крайнемъ случаѣ — не бѣда, и вообще — чужая типографія—куда ни шло. Лишь бы „условія“ этимъ ограничились. Мнѣ пришла въ голову дикая идея, возникшая изъ неопредѣленныхъ и смутныхъ словъ объ „условіяхъ“ (а не условіи): ужъ не хотятъ ли перенести изъ уваженія къ нашимъ талантамъ цензуру газеты въ Москву? Можетъ быть, это и нелѣпость, но... нужно имѣть это въ виду и всѣми мѣрами сему воспрепятствовать. Лучше во сто кратъ прямое неутвержденіе, и вы понимаете, почему и къ какимъ послѣд-

ствіямъ по отношенію къ договору вела бы такая постановка дѣла: редакторы утверждены, а газету вести нельзя!.. Вообще будьте мудры, яко змій, и хотя сей подводный камень мало вѣроятенъ,—предусматривайте. Сами не говорите впередъ, дабы не подать идеи, можетъ быть, и несуществующей; но если вынырнетъ нѣчто подобное, употребите всѣ мѣры, чтобы сію Харибду отстранить. Впрочемъ, всего, мнѣ кажется, вѣроятнѣе, что ничего этого не будетъ, и насъ просто утвердятъ... Итакъ,— впередъ, —„чтобъ рокъ вдали намъ ни сулилъ!“

Вашъ В. Короленко“.

О категорическомъ отказѣ безъ объясненія причинъ я увѣдомилъ „Компанію“ по телеграфу. Когда я вернулся въ Н.-Новгородъ, меня встрѣтилъ одинъ изъ нашихъ компаніоновъ, В. А. Гориновъ.

— Я былъ пораженъ тѣмъ впечатлѣніемъ, — сказалъ онъ,—которое произвела телеграмма на Владиміра Галактіоновича: онъ былъ обиженъ до глубины души... „Почему?— повторялъ онъ.—Почему“?..

В. Г. Короленко—„пѣвецъ провинціи“; большіе города, непрерывныя, каменныя стѣны громадныхъ домовъ, земля, скрытая подъ мостовой, зелень, видимая лишь на окнахъ цвѣточныхъ магазиновъ, солнце, задернутое вуалью фабричнаго дыма, „умные“ разговоры, сложные характеры столицъ, кружки, гдѣ царствуетъ словопреніе—все это не его сфера,— не то, къ чему лежитъ его сердце. Онъ любитъ наблюдать, какъ играетъ рѣка, какъ шумитъ лѣсъ, какъ по пыльному проселку идетъ за иконой народная толпа, какъ мчатся сани по бѣлому покрову льда и снѣга. Онъ любитъ людей, не оторванныхъ отъ природы, простыхъ и непосредственныхъ. Много разъ друзья уговаривали его написать романъ съ типами нашей новой интеллигенціи, со сложной психологіей героевъ и героинь нашего времени. Но совѣты эти пропадали даромъ: „пѣвца провинціи“ привлекали бытовыя картины простого народа, къ нимъ онъ всегда возвращался съ особеннымъ удовольствіемъ. Однажды, рѣшившись описать теченія студенческой среды, Владиміръ Галактіоновичъ

все же не могъ не поставить на первомъ планѣ сторожа Прохора... Остроумный пріятель В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненскій по этому поводу говорилъ:

— Вамъ, Владиміръ Галактіоновичъ, мѣшаетъ нравственность: романистъ долженъ испытывать разную разность — и вино, и любовь, и вообще пороки... а вы думаете лишь о добродѣтели. Это никуда не годится.

Въ 1894 году Владиміръ Галактіоновичъ провелъ лѣто въ Лукояновскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи. Вотъ что онъ писалъ съ своей случайной дачи.

„... У насъ все тихо, идутъ дожди... всѣ мы кланяемся вамъ соборне со священникомъ, который въ данную минуту рѣжется въ шахматы съ Константиномъ Евгеньевичемъ... Сегодня пріѣхала NN, прибытіе коей сопровождалось знаменіями природы: ночью я проснулся отъ нѣкоего катаклизма и нѣсколько мгновеній не могъ понять, въ чемъ дѣло. Оказалось, что внезапнымъ порывомъ вѣтра, ударившимъ въ западную стѣну вашего „дворца“, раскрыло около моей кровати окно. Шумъ, свистъ, брызги дождя, летящія съ окна газеты, раскрытая дверь и вѣтеръ, бушующій по корридору... Закрывъ окно и защитившись отъ ярости стихій, я легъ опять, помышляя о бѣдной путницѣ, которая какъ разъ въ это время ѣхала съ вокзала. Сегодня, однако, увидѣвъ ея могущественную особу, я понялъ, что ей не особенно страшны ни ярость стихій, ниже другія невзгоды... Перо мое, на коемъ въ эту минуту сидитъ муха,—„несть мухамъ числа даже въ моей комнатѣ“,—итакъ, перо мое замедляетъ свою походку, какъ бы въ нерѣшительности. Ибо предстоитъ мнѣ описать приключеніе, героемъ коего является нашъ „Единственный“.....

..... Въ вашихъ владѣніяхъ наступила прохлада. Вечера темны и сумрачны, перепадаютъ дожди и „уже мелькаетъ желтый листъ на зелени деревъ“. Константинъ Евгеньевичъ убилъ дрофу. Если прибавить, что теперь, когда я пишу,— темный, безлунный вечеръ, что въ саду горятъ огни, ибо съемщики трепещутъ за цѣлость яблокъ, а нянюшка внизу боится, чтобы ее не зарѣзали изъ-за билета выигрышнаго займа, который она любитъ показывать днемъ всѣмъ и каждому; наконецъ, что кругомъ замка въ темнотѣ лаютъ ваши

церберы и пересвистываются сторожа,—то, кажется, этимъ и исчерпывается картина здѣшней жизни.

..... Съемщики сада уѣхали, учинивъ предварительно огромную драку. Почтеннаго, толстаго родителя сынокъ погладилъ коломъ"...

Хуторяне быстро полюбили Владиміра Галактіоновича и до сихъ поръ вспоминаютъ о его пребываніи.

— А Владиміръ Галактіоновичъ не очень-то одобряетъ охоту, — часто повторяетъ одинъ хуторской Немвродъ; — однажды онъ взялъ мое ружье и выстрѣлилъ въ птицу, которая летѣла чуть не за версту отъ него. Конечно, дробь не задѣла ни одного перышка.

— Вотъ это хорошо, — сказалъ Владиміръ Галактіоновичъ: „и ей не вредно, и намъ удовольствіе".

— Владиміръ Галактіоновичъ моего сына всегда звалъ играть со своими дѣтьми,—съ гордостью разсказываетъ одна крестьянка,—и играли они, какъ равные.

— Эхъ, нѣтъ здѣсь Короленкова: онъ бы пропечаталъ объ этомъ въ газетахъ, и обратили бы вниманіе.

Во второй половинѣ 1895 года В. Г. Короленко переѣхалъ изъ Н.-Новгорода въ Петербургъ.

— Года идутъ, и мнѣ пора въ большой центръ,—говорилъ онъ по этому поводу.

Главная причина переѣзда лежала въ журналѣ „Русское Богатство". Повліяли, вѣроятно, и совѣты Н. К. Михайловскаго, очень старавшагося подобрать яркую редакцію. Однако, „измѣна" провинціи продолжалась не очень долго: въ 1900 г. Владиміръ Галактіоновичъ перебрался на жительство въ тихую Полтаву. Къ столичной жизни онъ оказался не совсѣмъ приспособленнымъ: Петербургъ заѣдалъ его время. Съ утра и до ночи являлись разнаго рода люди со всевозможными дѣлами и дѣлишками. Приходили депутаціи съ просьбами „читать", приходили авторы съ рукописями и за совѣтами, приходили „сложные характеры" съ безконечными „умными" разговорами и т. д., и т. д. Владиміръ Галактіоновичъ оказался вовлеченнымъ въ многочисленные комиссіи, комитеты, собранія и засѣданія, и въ итогѣ онъ увидѣлъ,

что у него вовсе нѣтъ своего собственнаго свободнаго времени. Онъ пробовалъ бороться и, между прочимъ, ко входной двери своей квартиры прибилъ бумагу съ указаніемъ дней и часовъ „пріема". Но это объявленіе оказалось лишь тщетной попыткой: на росписаніе не обращали вниманія, раздавались звонки и люди, хотя и съ оговоркой—„на одну только минутку"—но входили, а „минутки" удлинялись...

— Не умѣю я,—говорилъ В. Г. Короленко, — распоряжаться своимъ временемъ, какъ другіе.

А для беллетристики Владиміру Галактіоновичу именно и было необходимо то, чего у него не было—„свободнаго" времени. Ему нужно было свободное время, чтобы „настроиться", а потомъ,—чтобы писать. Между тѣмъ перерывы и всякія отвлеченія,—а они являлись въ Петербургѣ ежечасно,—не только мѣшали работать, но мѣшали даже и начинать.

Думается мнѣ также, насколько я понимаю характеръ В. Г. Короленко, что столица не давала ему тѣхъ впечатлѣній и тѣхъ матеріаловъ, къ которымъ лежитъ его писательское сердце. Столичная жизнь и ея типы—не жанръ нашего художника: онъ любитъ цѣльные, простые характеры на естественномъ для нихъ провинціальномъ фонѣ, а столица давала совсѣмъ иное.

Вотъ нѣсколько отрывковъ изъ „столичныхъ" писемъ В. Г. Короленко.

29-го января 1896 г. онъ писалъ: „Что сказать вамъ о себѣ: трудно въѣхать въ колею. Все мечталъ объ устройствѣ своей жизни на студенческій ладъ. Вы, вѣроятно, уже знаете первые результаты: холодъ, угаръ, сырость, хозяйка-гарпагонъ,—ложился, обливая себя кругомъ нашатырнымъ спиртомъ и поручая животъ свой волѣ Божіей, вставалъ съ головной болью отъ угара и немедля вступалъ въ бой съ хозяйкой изъ-за топки и закрыванія печи. Вчера вышелъ изъ терпѣнія и пошелъ искать новую квартиру. Ходилъ, ходилъ, наконецъ, подъ вечеръ набрелъ, а сегодня переѣхалъ. Ну, что у васъ въ Нижнемъ? Легкую перестрѣлку съ вами на страницахъ „Листка" читалъ. Нужно отдать справедливость Николаю Петровичу (Ашешову), весь этотъ фельетонъ написанъ въ тонѣ хорошемъ. Надѣюсь, что отношенія ваши не пострадали, и „Нижегородецъ" съ „Волжинымъ", перестрѣ-

ливаясь на далекомъ разстояніи, другъ съ другомъ на близкой дистанціи живутъ по-сосѣдски въ мирѣ"...

Изъ письма отъ 15-го іюля 1896 года: „У насъ тутъ порядочная паника. Вы замѣчаете, какъ спустили тонъ „Недѣля" и „Биржевыя Вѣдомости". „Новости" получили репримандъ.... Третьяго дня я былъ въ цензурномъ комитетѣ съ жалобой на цензора, почти цѣликомъ уничтожившаго у насъ статью „Изъ Германіи". Статью отвоевали назадъ, но все-таки въ этой книжкѣ пропало много. Я взялъ для хроники вопросъ о нападкахъ на прессу по поводу земскихъ начальниковъ. Боюсь, что много уничтожатъ, но я отчасти нарочно выбралъ эту тему и притомъ въ формѣ полемики съ однимъ земскимъ начальникомъ, пишущимъ въ „Гражданинѣ". Будетъ интересно, если окажется, что даже... писанія гг. земскихъ начальниковъ состоятъ подъ цензурнымъ „табу". Вы, вѣроятно, уже замѣтили, что въ „Бирж. Вѣд." исчезло имя Далина, а въ „Недѣлѣ"—Меньшикова. Это по прямому требованію новаго нач. гл. упр. по дѣламъ печати Соловьева. Что послѣдній предъявляетъ такія требованія, это еще не удивительно"...

Для характеристики отношенія В. Г. Короленко къ начинающимъ писателямъ и съ цѣлью показать, какъ много труда онъ вкладываетъ въ указанія и совѣты, я приведу нѣкоторыя выдержки изъ его письма отъ 20 августа 1896 г. Это длинное письмо на почтовомъ листѣ большого формата, кругомъ исписанномъ, является отвѣтомъ одному автору, имя котораго упоминать нѣтъ надобности.

...„Скажу вамъ откровенно: мнѣ эта ваша работа совсѣмъ не нравится. Вообще вамъ предстоитъ еще очень много поработать надъ описательнымъ стилемъ и еще болѣе надъ разговорнымъ, которымъ пока вы еще совсѣмъ не овладѣли. И въ предыдущей статьѣ замѣтно сильное однообразіе разговорныхъ пріемовъ: „А что—бѣденъ вѣдь этотъ народъ?... А что—городъ этотъ бѣденъ?.." И за этимъ неизмѣнно: „Но отчего же это происходитъ?.. Но почему же это?.." Это постоянное повтореніе вопросовъ придаетъ изложенію какую-то деревянность, обращаетъ повѣствовательный очеркъ въ какой-то интервью или даже протоколъ вопросовъ, на которые отвѣты уже разумѣются сами собой. Просмотрите

очеркъ и устраните эту діалогическую форму,—что останется? Останется только слѣдующее: въ разоренныхъ скитахъ доживаютъ свой вѣкъ такія-то старухи и всѣ онѣ жалуются на П. Ив. Мельникова, разорившаго скиты. Но все это извѣстно, и самое большее, что можно сдѣлать изъ этого матеріала,—это небольшую замѣтку, имѣющую мѣстный, этнографическій интересъ. Что же касается вашихъ заключеній, то противъ нихъ имѣю возразить особенно много. Уже въ вашихъ вопросахъ и разговорахъ видно совершенное незнакомство съ основами раскола. Въ одномъ мѣстѣ у васъ старообрядецъ говоритъ: у насъ такъ-то, а у *православныхъ*—иначе. Никогда вы этого отъ старообрядца не услышите, потому что они себя-то и считаютъ истинно и издревле православными, а другихъ называютъ въ лучшемъ случаѣ—„церковниками", „никоніанцами", а то „щепотниками и еретиками". Это, конечно, исправить не трудно, но незнакомство съ духомъ описываемаго явленія сквозитъ изъ каждой строчки. Два раза повторяется вопросъ—служатъ ли женщины за священниковъ? Это опять незнакомство съ основами раскола. Ни бѣгло-поповцы, ни бѣло-криничане и т. д. никогда не переносили священство на „простецовъ" и женщинъ. Видѣть въ безпоповствѣ ступень къ „раціонализму нашего вѣка", а въ немолякахъ и странникахъ даже раціоналистовъ—грубая ошибка. Съ раціоналистомъ скорѣе столкуется „церковникъ", чѣмъ буквоѣдъ поморецъ или спасовецъ. Въ этомъ отношеніи существуетъ прекрасная работа Харламова („Русск. Бог." начало 80-хъ годовъ), разсмотрѣвшаго расколъ въ движеніи, въ его, такъ сказать, трансформаціи. У него и у другихъ изслѣдователей данъ твердый признакъ для отличенія раціоналистовъ: для раціоналиста основа—Евангеліе" и т. д.

Отъ 3 декабря 1896 г. В. Г. Короленко писалъ: „Мы здѣсь живемъ такъ себѣ,—болѣе плохо, чѣмъ хорошо, какъ иногда говоритъ Влад. Адріановичъ. Авдотья Семеновна не можетъ все еще, какъ слѣдуетъ, оправиться отъ нашей потери; меня это тоже ушибло очень сильно. Затѣмъ, чувствую, что и мултанское дѣло стоило мнѣ большой усталости, а отдыха у меня совсѣмъ нѣтъ. Наоборотъ — усиленная работа... Вы не представляете себѣ, какъ мы здѣсь всѣ вспоми-

наемъ о Нижнемъ. Для дѣтей—это какой-то потерянный рай, да и я теперь вижу, что никогда уже, вѣроятно, не буду окруженъ такой дружеской атмосферой. Жизнь не повторяется, и то, что осталось назади—исчезаетъ безвозвратно"...

Изъ петербургскаго письма отъ 30 января 1898 года: ...„Здоровье мое идетъ на поправку. Очень меня удручаютъ разныя общества, засѣданія, пренія и пр., и пр. Когда кончится мой срокъ, хочу рѣшительно снять съ себя всю эту толчею разныхъ добровольныхъ обязанностей, въ которую попалъ какъ-то незамѣтно"...

Изъ петербургскаго письма отъ 16 апрѣля 1899 г.: ... „Простите меня, но вѣдь я всегда вамъ говорилъ правду: на меня эти замѣтки произвели не совсѣмъ хорошее впечатлѣніе: дѣло уже перешло на почву личной травли, далеко непропорціональной дѣйствительному положенію. Я еще понималъ бы, если бы, не имѣя возможности говорить о чемъ нибудь въ дѣятельности Z., газета воспользовалась первымъ предлогомъ, чтобы преслѣдовать особенно вреднаго человѣка. Но о Z. сказано было все и даже нѣсколько больше... Къ чему вообще съ почвы объективныхъ фактовъ сводить дѣло на почву „побужденій", которыя требуютъ „чтенія въ сердцѣ"?..

Эта выдержка характерна для автора, который ревнивымъ окомъ слѣдитъ за тѣмъ, чтобы въ „близкихъ" ему изданіяхъ знамя литературной этики всегда держалось высоко. Въ этомъ же родѣ написана и слѣдующая записка отъ 24 іюля 1899 года:

... „Слышалъ, что Р. васъ „поливаетъ" благовоніями. Ну, для журналиста, дѣлать нечего. Прочитавъ вашу замѣтку, я пожалѣлъ только, что вы ее немного перегрузили. Легкая, мимолетная замѣтка въ шутливомъ тонѣ была бы сильнѣе. А впрочемъ,—вообще вѣрно".

„Петербургъ, 4 апрѣля 1900 г. ... Вотъ какое дѣло. Есть на Сормовскомъ заводѣ рабочій И., которому на работѣ оторвало пальцы правой руки. Онъ лежалъ въ больницѣ, теперь выписался и, разумѣется, „интересы промышленности", по крайней мѣрѣ—Сормовской, состоятъ въ томъ, чтобы онъ убрался со своей изуродованной рукой просить милостыню. Нечего и говорить, что интересы И. идутъ въ направленіи какъ разъ противоположномъ..." Далѣе излагается просьба—

повидать И. и оказать ему помощь совѣтомъ, какъ вести дѣло. Въ томъ же письмѣ находимъ и еще порученіе, тоже очень характерное для автора. „Есть въ Нижнемъ нѣкто Ю.—человѣкъ, „отягченный въ семействѣ своемъ количествомъ членовъ“, но лишенный работы. Видно, съ горя онъ сталъ посылать мнѣ свои стихи, въ которыхъ звучитъ вопль души. На мой отзывъ объ этихъ стихахъ (посовѣтовалъ бросить), онъ признался мнѣ, что его посягательства вызваны тяжкой нуждой отъ безработицы. На этотъ разъ ужъ именно—„нужда пѣсенки поетъ“. Такъ вотъ: нельзя ли узнать объ этомъ Ю., навѣстивъ его, что ли, и, буде его оправданіе въ писаніи стиховъ правильно,—дать ему гдѣ-нибудь, какъ-нибудь, какую-нибудь работу. Было бы это—доброе дѣло, и доказало бы еще разъ, что и поэзія можетъ иногда пригодиться“.

Изъ полтавскаго письма отъ 21 сентября 1900 г.: ... „Теперь мы здѣсь—уже почти дома. Я чувствую себя изрядно; Авдотья Семеновна скучаетъ. Мармеладовъ у Достоевскаго говоритъ, что „всякому человѣку надо имѣть мѣсто, куда можно придти“. Здѣсь вотъ у насъ—пойти-то почти и не къ кому. Есть два-три чоловѣка, навѣрно, будутъ и еще, но пока все-таки еще не „сжились“ и все вспоминаемъ Нижній и отчасти даже Петербургъ, который, чѣмъ другимъ, а этимъ-то былъ хорошъ: „придти“ было куда. Я спасаюсь работой; чувствую, что въ этомъ отношеніи здѣсь хорошо: тихо, даже городской шумъ скрадывается пылью и многочисленными деревьями. Мѣстная интеллигенція дуется на меня: не иду ни на какія просвѣтительныя торжества, куда меня зовутъ, ни на чтенія, которыя затѣвались. Но я рѣшилъ остаться скалой. Будетъ всего этого. Возвращаюсь въ положеніе наблюдателя съ перомъ въ рукахъ, и одна ужъ эта мысль приводитъ меня въ восхищеніе“.

Одинъ знакомый упрекнулъ Владиміра Галактіоновича въ „дворянскомъ неумѣніи устраивать свои дѣла“. Это обвиненіе вызвало слѣдующій отвѣтъ въ письмѣ отъ 23 апрѣля 1903 г.:

„По поводу „дворянства“. Собственно я себя скорѣе причисляю къ разночинцамъ: дѣдъ и отецъ—чиновники, прадѣдъ—какой-то казачій писарь. Крѣпостныхъ у насъ никогда не было, земельныхъ владѣній—тоже. Что касается до „не-

умѣнія устраивать свои дѣла", то это, можетъ быть, и правда, хотя тоже съ ограниченіями. Я никогда не былъ особенно въ модѣ и никогда по возможности не допускалъ въ свою душу мыслей о соперничествѣ въ популярности. Мнѣ хотѣлось и хочется сказать кое-что, что было бы моимъ собственнымъ и что я считаю нужнымъ. Есть еще много этого, невыполненнаго, и предо мною еще вереница плановъ. Вопросы денежные всегда стояли для меня на второмъ и даже на третьемъ планѣ. Впрочемъ, книги мои идутъ не хуже, чѣмъ въ первые годы, и это, конечно, мнѣ пріятно".

Незадолго до 15-го іюля В. Г. Короленко написалъ слѣдующее письмо по поводу своего юбилея:

„Не такъ давно я прочиталъ въ „Нижегор. Листкѣ", что соединенный клубъ собирается отмѣтить день моего рожденія и притомъ почему-то 15 іюня. Хотя 50-я годовщина совсѣмъ не такое событіе, которое принято праздновать и отмѣчать особеннымъ образомъ, но, ужъ если это неизбѣжно и если кто-нибудь изъ моихъ бывшихъ сочленовъ по клубу захотѣлъ бы меня поздравить съ этимъ малозамѣчательнымъ фактомъ, то я долженъ сказать, что родился я не въ іюнѣ, а 15-го іюля, на св. Владиміра, когда въ Нижнемъ поднимаются ярмарочные флаги. Въ нашей семьѣ былъ обычай— не обижать святыхъ и давать имена по святцамъ: какой святой приходился въ день рожденія, того и приглашали въ покровители. Такимъ образомъ, отецъ мой получилъ названіе Галактіона; его братъ попалъ на созвучнаго святого и всю жизнь щеголялъ рѣдкимъ именемъ Никтополіона. Мои братья получили Юліана и Иларіона, и, родись я въ день святого Псоя, то быть бы мнѣ Псоемъ Короленко. Къ счастью, я родился на Владиміра,—одного изъ благозвучнѣйшихъ святыхъ,—и такимъ образомъ избѣгъ остальныхъ".

Замѣтки мои вышли отрывочными. Да послужитъ мнѣ извиненіемъ то, что цѣлью моей были только штрихи и факты а не характеристика или біографія.

А. Пругавинъ.

ПѢСНЯ О ЧАСОВОМЪ И БАРИНѢ.

Изъ записной книжки.

I.

Мы возвращались съ пикника... Это было въ Петровскѣ—маленькомъ уѣздномъ городкѣ Саратовской губерніи. Стоялъ теплый, прекрасный августовскій вечеръ, безъ малѣйшихъ признаковъ духоты или сырости. Гремя бубенчиками, тройка „киргизятъ",—такъ обыкновенно называютъ здѣсь лошадей степной киргизской породы,—мчала насъ въ городъ.

Пригороды уѣзднаго города, населенные почти всегда крестьянами, обыкновенно ничѣмъ почти не отличаются отъ села: тѣ же мазанки, тѣ же соломенныя крыши, тѣ же плетни.

По срединѣ улицы дѣвушки и молодые парни „играли пѣсни", какъ говорятъ здѣсь.

Одинъ изъ моихъ спутниковъ, молодой человѣкъ, кандидатъ на судебныя должности, г. Н—овъ, прислушавшись къ пѣнію, многозначительно сказалъ мнѣ:

— Пожалуйста, обратите вниманіе на эту пѣсню.

— А что?—спросилъ я.

— По моему, это совсѣмъ особенная... загадочная пѣсня... Право, что-то необыкновенное,—проговорилъ кандидатъ на судебныя должности.

Въ самомъ дѣлѣ, слова пѣсни были довольно необычныя: упоминалось о тюрьмѣ, о корридорѣ, о часовомъ, о баринѣ.

Мы остановили лошадей и подошли къ толпѣ молодежи, которая при нашемъ приближеніи вдругъ стихла. Пѣсня

оборвалась на полсловѣ. Пѣвцы и пѣвицы съ недоумѣніемъ переглядывались между собою. Въ этомъ недоумѣніи можно было подмѣтить извѣстную долю смущенія и даже страха.

Дѣло въ томъ, что со времени введенія земскихъ начальниковъ въ Саратовской губерніи пѣніе на улицахъ начали третировать, какъ безпорядокъ, какъ нарушеніе общественной тишины, влекущее за собой извѣстное взысканіе. „Пѣвцовъ", которые никакъ не могли отказаться отъ удовольствія пропѣть на улицѣ новые куплеты „Матани" или другую какую-нибудь „модную" пѣсню, то и дѣло начали таскать въ холодную, подъ арестъ.

— Что же вы замолчали?—обратились мы къ пѣвцамъ, и попросили ихъ спѣть для насъ пѣсню, которую они только что предъ тѣмъ пѣли.

„Пѣвцы" продолжали молча переглядываться между собой, недовѣрчиво усмѣхаясь.

— Какъ забитъ и запуганъ народъ,—сказалъ мнѣ на ухо молодой художникъ, бывшій въ нашей компаніи.—И потомъ замѣтьте,—продолжалъ онъ,—послѣдніе слѣды поэзіи выколачиваются изъ народа господами урядниками и земскими начальниками.

— Что же вамъ антересно?—спросила бойкая, остроглазая дѣвушка, одѣтая въ кофту и платье городского покроя.

— Намъ интересно послушать пѣсню, которую вы только что пѣли.

— Ну, что же... Петро, зачинай!.. Споемъ господамъ „Два часа, одна минута",—говорила бойкая дѣвушка.

Петро, безусый и безбородый малый, лѣтъ 22, въ пиджакѣ и въ сапогахъ бутылками, нѣсколько нерѣшительно проговорилъ:

— Ну, что жъ... Ладно... Вотъ только фараоны-то какъ бы не тово...

„Фараонами" въ поволжскихъ губерніяхъ называютъ почему-то полицейскихъ и городовыхъ.

Озираясь по сторонамъ, онъ началъ подбирать мотивъ на гармоникѣ, бывшей у него въ рукахъ.

— Полно бояться-то... Пой!—обращаясь къ нему, задорно говорила шустрая дѣвушка.

Ее поддержали остальные участники хора.

— Не бойся! До самой смерти ничего не будетъ!—говорили кругомъ.

Петро, подыгрывая на гармоникѣ, запѣлъ: „Два часа“...

Хоръ, состоявшій главнымъ образомъ изъ женскихъ, говоря откровенно, довольно-таки визгливыхъ голосовъ, подхватилъ:

Два часа, одна минута...
Во тюрьмѣ стѣна крѣпка,
На дверяхъ ея желѣзныхъ
Два висящіихъ замка.
А вдали по корридору
Огонечекъ чуть горитъ,
И гремитъ шпорой о шпору
По корридору часовой.
—„Часовой!“—Что, баринъ, нужно?
—Притворися, будто спишь,
А я мигомъ черезъ стѣну
Въ лѣсъ дремучій улечу.
Край родимый видѣть нужно,
Жену, дѣтей поцѣловать
И родныхъ своихъ малютокъ
Къ груди пылающей прижать,
И съ знакомыми, друзьями
Подъ тѣнью дуба погулять.
—„Измѣнить нельзя присягѣ,
Нельзя тебя мнѣ отпустить:
Начальники очень строги,
Отдадутъ меня подъ судъ.
Отдадутъ подъ судъ военный
И сквозь строю проведутъ,
И мой трупъ окровавленный
На телѣжкѣ провезутъ.

Эта пѣсня не могла, конечно, не заинтересовать меня. По ея содержанію и конструкціи стиха безошибочно можно было заключить, что она перешла въ народъ изъ интеллигенціи. Извѣстно, что многія стихотворенія нашихъ поэтовъ: Пушкина, Кольцова, Рылѣева, Некрасова, Сурикова и друг. проникли въ народъ и распѣваются имъ, какъ пѣсни. Чаще всего подобныя стихотворенія заносятся въ народъ чрезъ лубочные пѣсенники, которые во множествѣ распространяются офенями, а также чрезъ школу, чрезъ прислугу, семинаристовъ, дачниковъ, городскихъ рабочихъ и т. д. Но ни у одного

изъ извѣстныхъ мнѣ поэтовъ я не могъ припомнить стихотвореніе, которое напоминало бы только что пропѣтую пѣсню.

Желая выяснить вопросъ,—кто могъ быть авторомъ этой пѣсни, я началъ разспрашивать пѣвцовъ о томъ, давно ли эта пѣсня сдѣлалась извѣстна имъ? откуда она появилась? кто первый занесъ ее къ нимъ? и т. д. Пѣвцы отвѣчали, что пѣсня эта—старая, поется она у нихъ давно,—„можетъ, еще отцы наши ее пѣли",—но кто ее занесъ къ нимъ впервые—имъ совершенно не извѣстно...

Вскорѣ одинъ неожиданный случай заставилъ меня еще больше заинтересоваться этой пѣсней.

II.

Въ одной изъ знакомыхъ мнѣ помѣщичьихъ усадебъ Поволжья была богатая, старинная библіотека. Между прочимъ, въ ней сохранялись нѣкоторыя изданія А. И. Герцена пятидесятыхъ годовъ. Разъ какъ-то изъ этой библіотеки у меня оказалась „Полярная Звѣзда на 1857-ой годъ" Герцена.

Перелистывая эту книжку, я вдругъ встрѣтилъ въ ней одно стихотвореніе, которое сразу приковало мое вниманіе. Стихотвореніе, озаглавленное „Арестантъ", было безъ подписи автора и состояло изъ четырехъ строфъ по 8 стиховъ въ каждой. Оно поразило меня сходствомъ съ той пѣсней, которую я только что передъ тѣмъ записалъ со словъ крестьянъ г. Петровска. Привожу здѣсь это стихотвореніе цѣликомъ, безъ всякихъ измѣненій, чтобы читатель могъ самъ сравнить его съ приведенной выше пѣсней.

Ночь темна. Лови минуты!
Но стѣна тюрьмы крѣпка,
У воротъ ея замкнуты
Два желѣзные замка.
Чуть дрожитъ вдоль корридора
Огонекъ сторожевой
И звенитъ о шпору шпорой,
Жить скучая, часовой.

—„Часовой!"—„Что, баринъ, надо?"
—„Притворись, что ты заснулъ:
Мимо бъ я, да за ограду

Тѣнью быстрою мелькнулъ.
Край родной повидѣть нужно,
Да жену поцѣловать,
И пойду подъ шелестъ дружный
Въ лѣсъ зеленый умирать"...

—Радъ помочь! Куда ни шло бы,—
Божья тварь, чай, тожъ и я,—
Пуля, баринъ, ничего бы,
Да боюся батожья.
Посѣдѣлъ подъ шумъ военный...
А сквозь полкъ какъ проведутъ,—
Только комъ окровавленный
На телѣжкѣ увезутъ".

Шопотъ смолкъ... Все тихо снова...
Гдѣ-то Богъ подастъ пріютъ?
Толь схоронятъ здѣсь живого?
Толь на каторгу ушлютъ?
Будетъ вѣчно цѣпь надѣта,
Да начальство станетъ бить...
Ни ножа, ни пистолета...
И конца нѣтъ, сколько жить...

Такимъ образомъ, было несомнѣнно, что то самое стихотвореніе, которое 45 лѣтъ тому назадъ появилось въ „Полярной Звѣздѣ", распѣвается теперь народомъ съ нѣкоторыми незначительными искаженіями. Но это обстоятельство отнюдь, конечно, не разрѣшало вопроса о томъ пути, которымъ это стихотвореніе проникло въ народную среду, такъ какъ для каждаго ясно, что непосредственно изъ „Полярной Звѣзды" народъ никоимъ образомъ, разумѣется, не могъ познакомиться съ этимъ стихотвореніемъ.

При разрѣшеніи вопроса о томъ, кто могъ быть авторомъ стихотворенія „Арестантъ", какъ-то невольно и сама собой приходила на память фамилія друга и соиздателя Герцена, извѣстнаго поэта 50-хъ годовъ Н. П. Огарева. Для разъясненія этихъ догадокъ я рѣшилъ обратиться къ Е. С. Некрасовой, которая въ то время дѣятельно занималась разборкой переписки и матеріаловъ, относившихся до А. И. Герцена и Н. П. Огарева.

Въ то же время я началъ наводить справки о распространеніи пѣсни о часовомъ и баринѣ, при чемъ оказалось,

что пѣсня эта поется въ разныхъ концахъ Россіи, какъ среди народа, такъ и среди солдатъ, но особенно сильно распространена она въ Саратовской и Пензенской губерніяхъ. Мнѣ было доставлено нѣсколько варіантовъ этой пѣсни, записанные со словъ крестьянъ въ разныхъ уѣздахъ Пензенской и Саратовской губерній. Особенно близкимъ къ подлиннику, напечатанному въ „Полярной Звѣздѣ", оказался варіантъ, доставленный мнѣ изъ Лопатинской волости, Петровскаго уѣзда, мѣстнымъ землевладѣльцемъ П. Н. Будищевымъ *). Считаю не лишнимъ привести здѣсь этотъ варіантъ безъ всякихъ измѣненій.

Ночь темна. Лови минуту...
У тюрьмы стѣна крѣпка,
На двери ея чугунной
Два желѣзные замка.
И горитъ вдоль корридора
Огонекъ сторожевой,
И стуча шпорой о шпору,
Ходитъ мрачный часовой.
—„Часовой!"—„Что, баринъ, надо?"
—„Притворись, что будто спишь,
А я мигомъ черезъ ограду
Стрѣлой быстрою промчусь.
Край родной провѣдать надо,
Да жену расцѣловать,
А потомъ подъ сѣнью ружьевъ
Въ лѣсъ пойду я умирать".
—„Радъ помочь во что бъ ни стало,—
Я вѣдь тоже Божья тварь,—
Пуля, баринъ, ничего бы,
Да боюся батожья.
Отдадутъ подъ судъ военный,
Да сквозь строя проведутъ,—
И лишь трупъ окровавленный
На телѣжкѣ повезутъ".
Шопотъ смолкъ, затихло снова,—
Гдѣ-то Богъ пошлетъ пріютъ?
Или зароютъ гдѣ живого?
Или на каторгу сошлютъ?
Тамъ вѣчно цѣпь будетъ надѣта,
И начальство будетъ бить...
Ни ножа, ни пистолета,
Чѣмъ бы жизнь мнѣ прекратить".

*) Братомъ беллетриста А. Н. Будищева.

Е. С. Некрасова подтвердила, что стихотвореніе „Арестантъ“, напечатанное въ „Полярной Звѣздѣ“, принадлежитъ, дѣйствительно, Н. П. Огареву, который написалъ его въ 1850 году. Въ февралѣ или мартѣ мѣсяцѣ этого года Огаревъ, проживавшій въ то время въ своемъ имѣніи, находившемся въ Пензенской губерніи *), былъ арестованъ и отвезенъ въ Петербургъ. Здѣсь, сидя подъ арестомъ, онъ написалъ это стихотвореніе и тайно передалъ его своей невѣстѣ, которой разрѣшено было навѣстить его въ тюрьмѣ.

По освобожденіи изъ заключенія, Огаревъ снова поселяется въ Пензенской губерніи. Здѣсь онъ прожилъ до 1856 года, когда эмигрировалъ за границу. Въ Пензенской губерніи у Огаревыхъ было огромное, богатое имѣніе. Судя по нѣкоторымъ даннымъ, можно думать, что у Огаревыхъ имѣнія были не въ одной Пензенской губерніи, но и въ сосѣдней Саратовской. По крайней мѣрѣ, въ Петровскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи, сосѣднемъ съ Пензенской, до 90-хъ годовъ было большое имѣніе Огаревыхъ, перешедшее затѣмъ къ Кавелинымъ,—село Огаревка Даниловской волости.

Эти данныя, какъ намъ кажется, до извѣстной степени могутъ объяснить тотъ путь, которымъ стихотвореніе поэта-идеалиста проникло въ народную среду и почему оно получило особенно сильное распространеніе среди населенія Пензенской и Саратовской губерній. Безъ сомнѣнія, стихотвореніе Огарева прежде всего сдѣлалось извѣстно его дворовымъ, его крестьянамъ, улучшеніе участи которыхъ такъ глубоко и такъ искренно волновало мягкое, гуманное сердце поэта. А отъ нихъ „пѣсня о часовомъ и баринѣ“ постепенно и мало-по-малу распространилась почти по всей Россіи. По крайней мѣрѣ, теперь, т. е. спустя полстолѣтія послѣ появленія этого стихотворенія, пѣсню Огарева можно услышать и въ Вологдѣ, и въ Херсонѣ, и подъ Москвой, и на Уралѣ, и на Волгѣ.

---

*) Какъ извѣстно, Огаревъ еще въ 1834 году, за участіе въ студенческой исторіи, попалъ въ Пензу.

А. Пустынникова.

ДУНЬКА.

Дунькѣ 8 лѣтъ. Она мала, худа, скользитъ на ходу, какъ ящерица, а глаза у нея маленькіе и быстрые-быстрые. Впрочемъ, отъ природы она владѣетъ ими очень хорошо и въ любой моментъ можетъ поставить ихъ такъ, что вы не знаете, жива ли Дунька или мертва,—такъ стекляненъ и неподвиженъ ея взглядъ. У Дуньки огромный домъ, — это базаръ. Воздухъ базара ей родной: иного она не знаетъ. Отведите ее отъ этого мѣста за нѣсколько верстъ и приведите обратно съ завязанными глазами,—Дунька нюхнетъ, всплеснетъ ручонками и скажетъ:

— „Базаръ! громъ бей! чтобъ мине молонья пьятки пожгла! ей-Богу, базаръ!“

Любой уголокъ базара ей знакомъ, какъ дыры и заплаты собственнаго платья. Всѣ лотки, лавчонки,—все это такъ близко Дунькѣ. Базарные скандалы тетенекъ глубоко интересуютъ и волнуютъ Дуньку; она слилась съ базарной жизнью и плаваетъ въ грязномъ морѣ новостей, скандаловъ и событій возбужденно, но легко и свободно. Базарные секреты она нетолько подслушиваетъ, но, умудренная опытомъ, предвидитъ. Если чужой дяденька моргнетъ чужой тетенькѣ, значитъ, втихомолочку онъ ее ущипнетъ, а говорить про то настоящему тетенькиному дяденькѣ нельзя. Разъ Дунька получила за это „выволочку“, и съ тѣхъ поръ видитъ и слушаетъ все, а разсказываетъ только про тѣхъ, кто не живетъ жизнью базара. Изъ не-базарныхъ людей Дунька знаетъ только маменьку-Праскутку да ея дѣдушекъ, и всѣ Дунькины новости исчерпываются тѣмъ, сколько двугривенныхъ приноситъ изъ-подъ церкви маменька и съ какимъ изъ дѣдушекъ пропиваетъ ихъ.

Дунька знаетъ на базарѣ всѣхъ, такъ и ее знаютъ всѣ.

— „Тетенька! дайте кусочекъ булочки!“—скажетъ она первой попавшейся на пути торговкѣ смѣло и просто, какъ родной матери.

— „Да ты откуда проявилась, прахъ тебя побери?“

— „Я?“—Дунька снисходительно улыбается невѣжеству торговки.—„Я—Дунька, Праскуткина дочка. Знаете Праскутку, нищую? А батенька мой — калѣка безъ ногъ. Грѣхи тяжкіе! Грѣхи тяжкіе!“

Дунька дѣловито-серьезно и быстро-быстро качаетъ головенкой и сокрушенно поджимаетъ губы, какъ это дѣлаютъ взрослыя женщины. Можно подумать, что она говоритъ не о себѣ, а о комъ-то постороннемъ. Баба даетъ Дунькѣ хлѣба; Дунька идетъ дальше и проситъ огурцовъ, тарани...

Съ 6 лѣтъ живетъ она такъ, и прижилась на базарѣ, какъ приживаются тамъ десятки голодныхъ, заброшенныхъ собачонокъ, которымъ отъ времени до времени выбрасываютъ ненужные куски.

Случилось какъ-то, что Дунька не появлялась на базарѣ цѣлую недѣлю. О присутствіи ея часто забывали или совсѣмъ не замѣчали, но когда она исчезла, это стало замѣтнымъ, какъ всегда бываетъ замѣтно исчезновеніе примелькавшейся вещи. Иногда бабы даже спрашивали другъ у дружки:—„Что это Дуньки Праскуткиной не видать?“

Наконецъ, по истеченіи недѣли Дунька появилась. Легкой, скользящей походкой, съ тайной на лицѣ подошла она къ одной изъ бабъ, улучивъ минуту, когда у той не было покупателей.

— „Здравствуйте, тетенька!“

— „А! Дунька! гдѣ это ты пропадала?

— „И не спрашивайте, тетенька! Такое дѣло! Такое дѣло! Накажи мине Богъ! у-у! грѣхи наши тяжкіе! Новость, тетенька!“

У Дуньки пресерьезный видъ и страстное желанье разсказать новость. Бабѣ смѣшно смотрѣть на этого взрослаго ребенка:

— „Комисница ты, Дунька! Ну, какая же новость?“

— „Ахъ, тетенька! Чего только со мной армяшка и сдѣлалъ! Ой-ой-ой! Грѣхи!“

Баба вытянула шею.

— „Иду это я по улицѣ“,—таинственно говоритъ Дунька,— „а армяшка Минаска стоитъ во дворѣ за форткой и зоветъ меня пальцемъ. Знаете Минаску?—Лохмастый, глазастый— у-у! какъ окаянный!“ — истово, убѣдительно опредѣляетъ Дунька.—„Дунька! а—Дунька! Зайди ко мнѣ! Я тебѣ закуску съ махромъ дамъ! апильциновъ дамъ!“—Люблю я, тетенька, закуски и апильцины—страсть! Ну,—думаю, дьяволъ тибе забери! Даромъ, что ты страшный,—зайду“. Дунька захлебывается отъ возбужденія и жажды разсказать самое интересное.—„Только это я пришла къ нему въ комнату, а онъ какъ схватить мине, да какъ бросить на кровать, ну, и...“

Дунька одновременно прищелкиваетъ языкомъ, чмокаетъ губами и моргаетъ съ улыбкой однимъ глазомъ, и этими знаками она ясно досказываетъ свою „новость“, какъ это дѣлаютъ на базарѣ взрослые, когда они почему-нибудь не хотятъ сказать словами и про то, что всѣмъ понятно. Щеки Дуньки разгораются. Видя интересъ къ ней со стороны не одной, а уже цѣлаго десятка бабъ, Дунька все болѣе и болѣе увлекается; она говоритъ такъ звонко и быстро, словно орѣхи щелкаетъ.

— „Такъ вотъ, тетенька, платье онъ съ мине спустилъ, какъ говядину сдѣлалъ! Какъ говядину сдѣлалъ! Я плачу, я кричу... говорю: Минаска, пусти ты мине къ маменькѣ, а онъ говоритъ: зачѣмъ? все равно, твоя маменька, старая вѣдьма, теперь путается съ кѣмъ-нибудь. А ты, огурчикъ ты мой зелененькій, поспи-поночуй со мной! Такъ онъ мине два дня продержалъ и все закусками кормилъ, а на третій день далъ мине по мордѣ: „Теперь, говоритъ, иди-шляйся! Ты, говоритъ, теперь такая же шляющая, какъ твоя маменька“. Такой-то, тетеньки, с... с.... Минаска-та этай!“

Выпаливъ залпомъ самое интересное, Дунька уже устала отъ возбужденія и, подперевъ щеку рукой, сокрушенно говоритъ тономъ взрослой:

— „Грѣхи тяжкіе!.. грѣхи тяжкіе!“

Въ оцѣнкѣ Минаски всѣ бабы сошлись, какъ одна, рѣшивъ, что онъ с... с... Къ положенію Дуньки тоже отнеслись почти одинаково:

— „Бѣдное дитё! Извѣстно, нищая!“

— „Нищая, тетенька, извѣстно, нищая“,—скороговоркой вторила Дунька.

Нашлись и такія, которыя отдавали должное уму Дуньки:

— „Ну и Дунька! Вотъ умное-то дитё! И какъ это оно говорить: какъ по писанному! такъ и точитъ, точитъ! Ахъ ты, умница Дунька! На́ тебѣ пятакъ!“

Дунька уже утомилась, но бабы все еще не удовлетворены:

„Ну, Дунька! Ну, дальше? Пришла ты домой, а мать тебѣ—чего?“

— „Я плачу, я плачу! больно мнѣ было, тетенька, вездѣ, а маменька-Праскутка: куды, говоритъ, тебе, подлянку, черти носили? Я говорю: маменька, такъ и такъ.—Взяла она мине за руку и повела къ приставу. Позвали Минаску. Пошушукался Минаска съ приставомъ, пошушукался, да и ушелъ. А приставъ маменькѣ десятку подарилъ. Маменька дала мине полтинникъ на закуски: „Жри“, говоритъ, „подлая! Только безпокойство отъ тебя“. А себѣ водки купила. Два дня все пьетъ, ажъ морда распухла. Ей-Богу, не брешу. Такъ вотъ какія дѣла!“

„И-и, Дунька! пропащая ты дѣвченка!“

Бабы разошлись, каждая къ своему дѣлу. А Дунька зашагала по базару, и въ разныхъ мѣстахъ его, то здѣсь, то тамъ можно было слышать отъ времени до времени ея звонкій голосъ: „И-и, тетенька, родненькая! Какъ говядину сдѣлалъ!“

Дунькина новость скоро была забыта. Наступила зима. Холодъ гналъ всѣхъ съ базара. Но вотъ пришло лѣто, и Дунькина исторія снова воскресла. Въ праздничные дни, дни привоза, когда базаръ—не только мѣсто торговли, но и клубъ сплетень и новостей, бабамъ очень нравится устраивать представленіе съ Дунькой для непосвященныхъ въ Дунькину исторію.

Часовъ въ 10—11 дня торговля уже потеряла свою бойкость. Жара. Бабы усѣлись въ холодкѣ. Собаки съ высунутыми языками сидятъ поодаль. Тутъ водка, тарань, соленые огурцы, чай.

„Выкушайте, кумушка!“

„Охъ, кума! что-то будто какъ я пьяная!“

„И-и! будя! пьянъ да уменъ!“

— „Что-ли, грѣшница, выпить? Ну, дай Богъ, не въ послѣдній разъ!“

„Взаимную вамъ!“

Наконецъ, всѣ темы уже истощены. Кумушки затягиваютъ пѣсню:

Скачетъ утка по ледочку—
Скокъ-скокъ!
А волкъ ее за головку—
Хопъ-хопъ!
А мы съ вами по рюмочкѣ—
Хлопъ-хлопъ!

Но вотъ мелькнули Дунькины отрепья.

— „Дунька! Дунька! Ой, кумушка! Ой, родненькая! Чего только вы сейчасъ услышите! Дунька, а—Дунька! Иди сюды, сукино дитё!“

Дунька, какъ стрѣла, летитъ на зовъ.

„Ну, Дунька! разскажи, какъ тебя Минаска обрыбазилъ!“

Зная, что весь интересъ теперь сосредоточенъ на ней, Дунька со степеннымъ, серьезнымъ видомъ профессіональной разсказчицы опускается на землю, складывая ноги калачикомъ. Подперевъ щеку рукой, поджавъ губы, уже безъ возбужденія, однообразно, тономъ сказки „въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ“ Дунька тянетъ свою исторію:

— „Иду это я по улицѣ, а Минаска, дьяволъ его забери, кличетъ: Дунька, а—Дунька! зайди ко мнѣ на минутку...“

Бабы—потныя, красныя—возбужденно затаили дыханіе.

— „И-и!—говоритъ Дунька въ видѣ припѣва:—какъ говядину сдѣлалъ!..“

И когда Дунька кончаетъ свой разсказъ, въ ея подолъ летитъ тарань, огурецъ, конфекта, пятакъ, дыня... Дунька забираетъ дары и легкой походкой спѣшитъ въ хибарку своей маменьки-Праскутки. Недѣлю она отдыхаетъ и безъ дѣла шмыгаетъ по улицамъ туда и сюда. А въ воскресенье на базарѣ снова скользитъ ея худенькая, шустрая фигурка и ждетъ оклика:

„Дунька, а—Дунька! А ну-ка, разскажи, какъ Минаска тебя...“

[illegible] *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Въ маленькихъ грязныхъ ручонкахъ она держала черенокъ деревянной ложки, окутанный въ красную тряпку, и смотрѣла на него большими грустными глазками.

Красивые глазки были у нея: ясные, мягкіе и не подѣтски печальные. Замѣтивъ ихъ выраженіе, я уже не видѣлъ грязи на лицѣ и рукахъ дѣвочки.

Надъ нею, въ воздухѣ, какъ тучи сажи и пепла, носились крики, ругань, пьяный смѣхъ и плачъ; вокругъ нея на грязной землѣ все было изломано, исковеркано, и лучи вечерняго солнца, окрашивая обломки разбитыхъ ящиковъ и бочекъ въ красный цвѣтъ, придавали имъ зловѣщее и странное сходство съ остатками какого-то большого организма, разрушеннаго тяжелой и суровой рукой нищеты.

Нечаянно я пошевелился,—дѣвочка вздрогнула, увидѣла меня, ея глаза подозрительно съузились и вся она боязливо съежилась, точно мышенокъ передъ кошкой.

Улыбаясь, я смотрѣлъ на ея чумазое, печальное и робкое лицо; губы она крѣпко сжала и тонкія брови ея вздрагивали.

Вотъ она встала на ноги, дѣловито отряхнула свое рваное, когда-то розовое платье, сунула въ карманъ свою куклу и звенящимъ, яснымъ голосомъ спросила меня:

— Чего глядишь?

Было ей лѣтъ одиннадцать; тоненькая, худая, она внимательно осматривала меня, а брови ея все дрожали.

— Ну?—продолжала она, помолчавъ.—Чего надо?

— Ничего, играй себѣ, я уйду...—сказалъ я.

Тогда она шагнула ко мнѣ, ея лицо брезгливо сморщилось, и громко, ясно сказала:

— Пойдемъ со мной за питялтынный...

Я не сразу понялъ ее, только помню, вздрогнулъ въ предчувствіи чего-то ужаснаго.

А она подошла вплоть ко мнѣ, прижалась плечомъ къ моему боку и, отвернувъ лицо свое въ сторону отъ моего взгляда, продолжала говорить тусклымъ и скучнымъ голосомъ:

— Ну, идемъ, что ли... Не охота мнѣ на улицѣ гостя искать... да и выйти-то не въ чемъ: мамкинъ любовникъ и мое платье пропилъ... Ну, идемъ...

Молча и тихо я сталъ отталкивать ее отъ себя, а она

взглянула мнѣ въ глаза подозрительно-недоумѣвающимъ взглядомъ: губы у нея странно искривились, она подняла голову и, глядя куда-то вверхъ широко открытыми, ясными, печальными глазами, не громко и скучно проговорила:

— Ты что кобенишься? Думаешь — я маленькая, такъ кричать буду? Не бойся, — это я прежде кричала... а теперь...

И не окончивъ свою рѣчь, она равнодушно плюнула...

Я ушелъ отъ нея, унося въ своемъ сердцѣ тяжелый ужасъ и печальный взглядъ ясныхъ дѣтскихъ глазъ.

Н. Рожковъ.

Новѣйшая теорія историческаго познанія.

По поводу книги H. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Zweite Hälfte. Tübingen und Leipzig, 1902.

Клясться именемъ какого-нибудь болѣе или менѣе извѣстнаго ученаго нѣмца—это такой обычай въ нашей спеціальной и популярной научной литературѣ, который получилъ, можно сказать, всѣ права гражданства. Пишущій эти строки не принадлежитъ къ числу такихъ „патріотовъ своего отечества", которые видятъ одинъ только позоръ и униженіе въ заимствованіяхъ у нашихъ западныхъ сосѣдей. Несмотря на это, онъ чувствуетъ живѣйшую потребность выразить искреннее и глубокое сожалѣніе по поводу того, что нѣкоторые авторы сборника „Проблемы идеализма" отнеслись безъ всякой критики къ книгѣ Риккерта, заглавіе которой выписано выше, и даже провозгласили ее настоящимъ откровеніемъ въ области теоріи историческаго познанія. Это тѣмъ болѣе удивительно, что и по нѣкоторымъ общимъ своимъ философскимъ воззрѣніямъ, и по гносеологическимъ взглядамъ Риккертъ далеко не является единомышленникомъ новѣйшихъ русскихъ идеалистовъ. Въ самомъ дѣлѣ: Риккертъ, напр., оказывается гораздо скромнѣе нашихъ идеалистовъ, когда признаетъ, что и философіи недоступно универсальное знаніе, полное познаніе мірового цѣлаго *); или: онъ отрицательно относится не только къ натуралистической метафизикѣ, но и къ метафизическому идеализму **).

---

*) Die Grenzen der naturwiss. Begriffsbild., 2-я пол., стр. 599; ниже ссылки безъ заглавія всѣ относятся къ этой книгѣ.

**) стр. 650—651, стр. 652—653.

Какъ бы то ни было, но, разъ идеи Риккерта признаются чѣмъ-то новымъ и безусловно-истиннымъ, — въ нихъ необходимо, какъ слѣдуетъ, разобраться.

Откровенно и прямо признавая свое міросозерцаніе дуалистическимъ *), Риккертъ логически и гносеологически обосновываетъ свой дуализмъ, разбивая всю сферу человѣческаго познанія на двѣ части. По его мнѣнію, нѣтъ универсальнаго, единаго научнаго метода, а слѣдуетъ различать два метода: естественно-научный и историческій, откуда и всѣ науки дѣлятся на естествознаніе и исторію. Опредѣленіе отличій естествознанія отъ исторіи и составляетъ главную задачу Риккерта. Эти отличія сводятся, по его мнѣнію, къ слѣдующему. Во-первыхъ, цѣли исторіи и естествознанія различны: тогда какъ послѣднее стремится къ образованію общихъ понятій путемъ отвлеченія сходныхъ, общихъ признаковъ предметовъ,—первая имѣетъ въ виду именно индивидуальное, особенно, несходное, измѣнчивое и разнообразное **). Во-вторыхъ, исторія отличается отъ естествознанія и по способу, какимъ ей даны факты: для естествознанія матеріалъ данъ весь сполна, а для исторіи онъ представленъ весьма неполно; при томъ исторія знаетъ свои факты не непосредственно, какъ естествознаніе, но должна ихъ возстановлять по оставшимся слѣдамъ ***).

Все вниманіе нашего автора и обращено на развитіе и обоснованіе этихъ главныхъ положеній. Первое положеніе развивается такъ. Исторія—не простой разсказъ, а наука, потому что въ ней такъ же, какъ и въ естествознаніи, различается существенное и несущественное, образуются своего рода понятія, но не съ общимъ содержаніемъ, а особыя; основное понятіе въ исторіи—это понятіе о *чисто-индивидуальномъ*, т. е. не только особенномъ и единообразномъ, но и недѣлимомъ, объ индивидуальной дѣйствительности, психическое содержаніе которой неизмѣнно и недѣлимо, потому что зерно души—единая цѣлая психическая индивидуальность—недѣлимый центръ души, и только на психической периферіи происходятъ процессы измѣненія. Средствомъ для

*) стр. 622.
**) стр. 315, 339, 340.
***) стр. 315, 316, 322.

выработки историческихъ понятій служитъ нравственная оцѣнка, почему индивидуальное можетъ быть названо также телеологическимъ единствомъ. И не только отдѣльные историческіе объекты индивидуальны, индивидуаленъ и цѣлый историческій міровой процессъ, все историческое развитіе въ цѣломъ. Телеологическій элементъ неразлучимъ съ самымъ понятіемъ „развитіе", почему онъ имѣется налицо и въ біологическомъ понятіи о развитіи, но историческое развитіе отличается отъ біологическаго именно наличностью понятія нравственной цѣнности: цѣль историческаго развитія—достиженіе высшей нравственной цѣнности, а „цѣлесообразность организма съ точки зрѣнія естествознанія означаетъ только способность къ сохраненію существованія". Нравственная цѣнность и оцѣнка и должны составлять духовный центръ историческаго повѣствованія. Главное значеніе придавать надо не фактической оцѣнкѣ, т. е. не тому, что считается высшимъ, наиболѣе цѣннымъ съ нравственной точки зрѣнія всѣми, а нормативной цѣнности, т. е. тому, что *должно* быть всѣми признаваемо за высшее. Исторически-важными являются поэтому истинныя индивидуальности, замѣчательныя по своимъ духовнымъ особенностямъ и дѣйствующія на пользу культуры, т. е. работающія для выясненія нормативно-общихъ соціальныхъ цѣнностей государства, права, хозяйства, искусства и т. д. Такъ какъ не всѣ люди и не всѣ народы содѣйствуютъ этой задачѣ, то на этомъ покоится раздѣленіе народовъ на культурные или историческіе и некультурные или неисторическіе; историкъ долженъ заниматься только первыми *).

Второе—менѣе важное—положеніе подкрѣпляется указаніями на невозможность опыта въ исторіи, на несовершенство историческихъ источниковъ. Къ этому примыкаютъ также слѣдующія соображенія, указывающія, по мнѣнію Риккерта, на невозможность естественно-научнаго метода въ примѣненіи къ историческимъ явленіямъ: во-первыхъ, безъ культурной оцѣнки нельзя опредѣлить ни начала, ни конца развитія народа; во-вторыхъ, законъ историческаго развитія не можетъ быть выведенъ на основаніи единичнаго процесса

*) стр. 326, 328, 340, 342, 369, 372, 451, 455, 465, 571, 573 — 574, 577—578, 617, 605.

развитія,—для этого необходимо эмпирическое сравненіе многихъ процессовъ развитія, между тѣмъ какъ число подлежащихъ сравненію культурныхъ народовъ очень мало; въ третьихъ, такой законъ, если бы онъ былъ даже возможенъ, не былъ бы въ состояніи объяснить главное—индивидуальныя отличія *).

Третій важный пунктъ построенія Риккерта заключается въ томъ мѣстѣ, которое отводитъ авторъ исторіи въ своей общей системѣ философскаго міросозерцанія. Онъ признаетъ основной проблемой философіи — проблему нравственной оцѣнки. Тогда какъ центральнымъ понятіемъ науки является истина, — центральныя понятія философіи--добро, красота и святость. Исторія и помогаетъ философіи въ выясненіи этихъ центральныхъ понятій не только съ формальной ихъ стороны, но и въ особенности съ реальной, по ихъ содержанію **).

Прежде чѣмъ перейти къ критикѣ всего этого построенія, необходимо отмѣтить рядъ оговорокъ, которыя дѣлаетъ нашъ авторъ для ограниченія нѣкоторыхъ важнѣйшихъ своихъ опредѣленій и положеній. Такъ, онъ признаетъ относительными выводимыя имъ понятія „историческаго“ и „естественнаго“ ***), утверждаетъ, что историческій элементъ есть и въ естествознаніи (біологическая теорія развитія, дарвинизмъ), какъ и естественно-научный въ обществознаніи (соціологія) ****), замѣчаетъ даже, что „вопросъ, имѣетъ ли существенное значеніе абсолютно-индивидуальное, можетъ быть рѣшенъ только посредствомъ фактическаго историческаго изслѣдованія, а не посредствомъ методологическихъ соображеній“ *****).

Эти оговорки имѣютъ большое значеніе: онѣ даютъ въ сущности исходную нить для критики всѣхъ изложенныхъ взглядовъ Риккерта. Прежде всего, читая замѣчанія его о наличности историческаго элемента въ естествознаніи и о естественно-научномъ элементѣ въ обществовѣдѣніи, невольно

*) стр. 604, 605, 607.
**) стр. 706. 709.
***) стр. 492.
****) стр. 520, 521—524.
*****) стр. 499.

вспоминаешь старую, но во многомъ еще не устарѣвшую, классификацію наукъ Спенсера, различавшаго, какъ извѣстно, науки конкретныя и абстрактныя: вѣдь, историческія науки Риккерта, очевидно, то же самое, что конкретныя науки Спенсера, а естествознаніе въ смыслѣ Риккерта вполнѣ соотвѣтствуетъ Спенсеровымъ абстрактнымъ наукамъ. Разница заключается только въ томъ, что, тогда какъ у Спенсера оба разряда знаній тѣсно между собою связаны, немыслимы одинъ безъ другого, Риккертъ вырываетъ между ними глубокую пропасть. Однако, уже другія оговорки Риккерта показываютъ, что пропасть вырыта напрасно: прежде всего для выясненія значенія „абсолютно-индивидуальнаго" онъ находитъ необходимымъ фактическое историческое изслѣдованіе, какого, однако, не производитъ, такъ что вопросъ по меньшей мѣрѣ остается открытымъ; но—далѣе—онъ не останавливается на этомъ и, даже не производя фактическаго изслѣдованія, оказывается вынужденнымъ признать понятія „историческое" и „естественное" относительными, признаетъ метафизической идею о „чисто-индивидуальномъ". И нельзя не признать этого совершенно правильнымъ. Необходимо помнить, что въ дѣйствительности нѣтъ ничего чисто или абсолютно - индивидуальнаго не только въ мірѣ физическихъ явленій, но и въ психологіи общества необходимой сферѣ. Правильное изученіе послѣдняго на психическія группы, предполагаетъ дробленіе вается, что различныя индивидуальности входятъ - оказывысшаго цѣлаго—психологическаго типа или характера,— такъ называемые великіе или геніальные люди—всѣ эти Гёте и Бисмарки, о которыхъ говоритъ Риккертъ,—не представляютъ въ этомъ отношеніи никакого исключенія, отличаясь отъ лицъ одного съ ними психическаго склада только количественно, а не качественно, не принципіально. Доказать во всей требуемой полнотѣ справедливость этого важнаго положенія нельзя въ предѣлахъ небольшой статьи,—этому будетъ посвящена значительная часть труда, который уже начатъ печатаніемъ *),—но и здѣсь необходимо иллюстрировать вы-

*) „Обзоръ русской исторіи съ соціологической точки зрѣнія",— начатъ печатаніемъ въ журналѣ „Міръ Божій" за 1903 годъ.

сказанную мысль хотя бы однимъ примѣромъ. Возьмемъ человѣка несомнѣнно большого калибра, генія и посмотримъ, что представляетъ онъ собою съ точки зрѣнія психической организаціи? Возьмемъ, напр., Петра Великаго. Въ богато-одаренной натурѣ Петра были несомнѣнные и довольно многочисленные остатки первобытной дикости, прорывались грубые инстинкты, сказывалась, напр., неудержимая склонность къ разгулу: извѣстны его поѣздки съ Лефортомъ въ московскую Нѣмецкую слободу, извѣстны записи въ „Юрналѣ" заграничнаго путешествія—„сидѣли дома и веселились довольно",—всѣ знаютъ о знаменитомъ „всешутѣйшемъ соборѣ" во главѣ съ „княземъ-папой" Зотовымъ; на святкахъ Петръ ѣздилъ по Москвѣ славить, при чемъ онъ самъ и его славильщики, какъ нельзя лучше, оправдывали пословицу „незванный гость хуже татарина". Все это, однако,—простой обломокъ пережитой уже старины, естественный эксцессъ богатой натуры; это не типично для Петра, не главное въ его психической индивидуальности. Гораздо характернѣе и важнѣе другое обстоятельство: Петръ былъ чуждъ низшихъ, элементарныхъ, простѣйшихъ эгоистическихъ чувствъ—страха и корыстолюбія. При Лѣсномъ, при Полтавѣ, въ морской экспедиціи противъ шведскаго корабля онъ бросался [illegible] впередъ и, не задумываясь, подвергалъ [illegible] несомнѣнной опасности. Петръ былъ [illegible] къ другимъ и скупъ только [illegible], но не изъ жадности, а изъ чувства [illegible] передъ родиной. Это послѣднее обстоятельство какъ нельзя лучше подчеркиваетъ необыкновенную силу этическихъ чувствъ, нравственныхъ запросовъ въ личности Петра. Общее благо, величіе Россіи, общественная польза, народное благосостояніе—вотъ постоянные мотивы Петровскихъ указовъ. Всего лучше и ярче эта черта сказалась въ знаменитыхъ словахъ, сказанныхъ Петромъ передъ полтавской битвой: „а о Петрѣ вѣдайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только Россія во славѣ и величіи". Это господство этическихъ эмоцій явственно сказывается и въ горячей любви Петра къ правдѣ и въ искреннемъ отвращеніи ко лжи. Извѣстенъ разсказъ Неплюева о томъ, что онъ, слѣдуя данному ему совѣту говорить всегда Петру правду, однажды, опоздавъ на службу по случаю бывшихъ наканунѣ именинъ одного знакомаго,

откровенно признался Царю въ истинной причинѣ своего опозданія, при чемъ Петръ похвалилъ его за правдивость, и никакихъ дальнѣйшихъ послѣдствій вина Неплюева не имѣла. Въ другой разъ какой-то нѣмецкій офицеръ расхвастался о своихъ познаніяхъ въ артиллерійскомъ дѣлѣ и вралъ немилосердно. Петръ долго сдерживался, слушая всю эту ложь, но, наконецъ, потерялъ терпѣніе и плюнулъ хвастуну прямо въ лицо. Конечно, это грубо, но побужденія, руководившія въ данномъ случаѣ Петромъ, совершенно ясны. Было бы большой ошибкой думать, что Петръ былъ лишенъ способности испытывать болѣе интимныя нравственныя чувствованія. Онъ, правда, не сошелся съ первой женой, но былъ искренне и нѣжно привязанъ ко второй, хотя имѣлъ достаточно поводовъ быть ею недовольнымъ: прочитайте его письма къ Екатеринѣ,—вы удивитесь, какъ могъ быть нѣженъ этотъ, на первый взглядъ, грубоватый и рѣзкій человѣкъ. Правда и то, что онъ подписалъ смертный приговоръ своему сыну, но онъ сдѣлалъ это не по душевной жесткости, а изъ сознанія своего общественнаго долга. При томъ онъ, несомнѣно, очень сильно любилъ Алексѣя: это видно и изъ его писемъ, и изъ слезъ, которыя онъ искренно пролилъ при извѣстіи о его смерти, а художественнымъ выраженіемъ его чувствъ къ сыну, очень правдивымъ, яркимъ и талантливымъ, является извѣстная картина Ге „Петръ I и царевичъ Алексѣй“. Посмотрите на лицо Петра: оно сурово и гнѣвно, но въ этомъ взглядѣ ясно видится глубоко-затаенная нѣжность и любовь. Но этическія, нравственныя чувствованія разныхъ порядковъ не составляли *единственнаго* главнаго свойства духовной личности Петра Великаго. Равносильное съ ними значеніе принадлежало также его высшимъ, болѣе сложнымъ эгоистическимъ чувствамъ, отражающимъ повышенные запросы личности и потому заслуживающимъ названія индивидуалистическихъ чувствъ. Эти чувства—развитое и повышенное самосознаніе, увѣренность въ своихъ силахъ, честолюбіе, жажда дѣятельности, новизны, перемѣны впечатлѣній. По запискамъ Корба, слава — цѣль Петра; недаромъ Петръ любилъ такія выраженія, какъ—„Александръ построилъ Дербентъ, а Петръ его взялъ“, или: „Людовику (т. е. XIV-му) помогали, а Петръ все сдѣлалъ одинъ“. По словамъ Корба, Юля и Факкеродта,

Петра нельзя было убѣдить, что чужое мнѣніе можетъ опредѣлять его поступки; по запискамъ Остермана, Петръ говорилъ, что Европа нужна намъ на нѣсколько десятковъ лѣтъ, а потомъ мы должны повернуться къ ней спиной. Если къ этому прибавить непреклонную волю, глубокое убѣжденіе, что все можно сдѣлать, стóитъ только захотѣть, и широкій, вмѣстѣ и практическій, и склонный къ грандіознымъ замысламъ умъ, то крупная личность Петра встанетъ передъ нами во весь ростъ. Это была двойственная натура, въ которой этическіе запросы, жажда правды и добра, сочетались съ развитымъ самосознаніемъ, съ жаждой новизны, съ честолюбіемъ, однимъ словомъ — съ индивидуалистическими элементами. Если характеризовать Петра Великаго *однимъ* выраженіемъ, то приходится назвать его *этическимъ индивидуалистомъ*. Но развѣ Петръ одинокъ или, выражаясь языкомъ Риккерта, „чисто"—или „абсолютно-индивидуаленъ" по своимъ психическимъ свойствамъ? Отнюдь нѣтъ: родственныя ему натуры найдутся и между его современниками, каковы, напр., Татищевъ и Посошковъ, и между дѣятелями другихъ эпохъ, какъ, напр., эпохи великихъ реформъ Императора Александра II, или даже другихъ народовъ, примѣромъ чего можетъ служить выдающаяся личность Фердинанда Лассаля *). Что и говорить: между названными сейчасъ дѣятелями существуетъ немало индивидуальныхъ различій, но въ томъ-то и дѣло, что эти различія относятся, слѣдуя терминологіи Риккерта, не къ „зерну" и не къ „центру души", а къ „психической периферіи"; вопреки мнѣнію нашего автора, оказывается такимъ образомъ, что „духовный центръ" личности гораздо легче свести къ общимъ понятіямъ, обобщить его, подмѣтить въ немъ сходное съ другими личностями, нежели то можно сказать о периферіи.

Итакъ, основное, по мнѣнію Риккерта, понятіе исторіи, понятіе о „чисто-индивидуальномъ"—должно быть устранено, снято съ очереди, какъ несостоятельное. Переходимъ теперь ко второму пункту разсужденій Риккерта, имѣющихъ въ виду развитіе перваго его основного положенія, — о различіяхъ

*) Ср. мою статью „Этическій индивидуалистъ (по поводу книги „Дневникъ Лассаля")",—въ „Образованіи" за 1901 годъ, № 8.

между исторіей и естествознаніемъ съ точки зрѣнія ихъ цѣлей. Этотъ второй пунктъ, какъ мы видѣли, сводится къ тому, что средствомъ для выработки историческихъ понятій является нравственная оцѣнка, лежащая въ основѣ исторической телеологіи, тогда какъ естественная телеологія, предполагаемая процессомъ біологическаго развитія, чужда понятія нравственной цѣнности и понимаетъ цѣлесообразность организма лишь въ смыслѣ способности къ сохраненію существованія. Въ этомъ положеніи прежде всего подразумѣвается философская предпосылка объ абсолютныхъ нравственныхъ началахъ, одинаково истинныхъ для всѣхъ временъ и народовъ, о вѣчной и единой правдѣ, однимъ словомъ—предпосылки въ духѣ Кантовскаго „практическаго разума". Уже по этой одной причинѣ разбираемое положеніе непріемлемо съ точки зрѣнія научной философіи. Но этого мало: научная философія только одинъ телеологическій принципъ и можетъ признать,—тотъ именно, который Риккертъ справедливо признаетъ лежащимъ въ основѣ процесса біологическаго развитія, т. е. способность къ сохраненію существованія. Въ другомъ мѣстѣ *) пишущему эти строки приходилось уже формулировать значеніе этого принципа въ примѣненіи къ обществознанію, и потому здѣсь нѣтъ нужды повторять высказанныя тогда соображенія. Ни въ какихъ абсолютныхъ нравственныхъ цѣнностяхъ и не настоитъ ни малѣйшей нужды ни при какихъ научныхъ историческихъ построеніяхъ.

Не менѣе несостоятельны и другія соображенія и выводы Риккерта — объ индивидуальности историческаго процесса, взятаго въ цѣломъ, и о дѣленіи народовъ на культурные или историческіе и некультурные или неисторическіе. Съ точки зрѣнія положительной науки не существуетъ единаго всемірно-историческаго процесса, а существуютъ лишь отдѣльные процессы развитія разныхъ народовъ и общественныхъ союзовъ, и они-то и подлежатъ научному изслѣдованію. Эти отдѣльные процессы, если угодно, относительно-индивидуальны, т. е. имѣютъ свои особенности и оригинальныя черты;

*) Въ статьѣ „Научное міросозерцаніе и исторія",—въ журналѣ „Научное Слово" за 1903 г., № 1.

но особенности совсѣмъ не надо подвергать оцѣнкѣ съ точки зрѣнія абсолютныхъ нравственныхъ началъ, если разсматривать, какъ этапы на пути къ достиженію безусловнаго нравственнаго идеала,—надо объяснить ихъ происхожденіе, которое и опредѣляется и уясняется при помощи тѣхъ же самыхъ *общихъ* законовъ, дѣйствіе которыхъ наблюдается и въ случаяхъ сходства разныхъ явленій. Объяснимся конкретнѣе. Процессъ зарожденія и первоначальнаго развитія денежнаго хозяйства въ Россіи XVI и XVII вѣковъ отличался существенными особенностями сравнительно съ соотвѣтствующимъ процессомъ въ западно-европейскихъ странахъ: тогда какъ на западѣ Европы въ XII и XIII вѣкахъ натуральное хозяйство переходило постепенно въ денежное съ небольшимъ мѣстнымъ рынкомъ, на 15—20 верстъ въ окружности отъ хозяйственнаго центра-города, у насъ въ XVI—XVII столѣтіяхъ сложились болѣе крупные рынки, охватывавшіе районъ въ 300, иногда въ 500 верстъ въ разныя стороны. Различіе велико, но тутъ не зачѣмъ говорить о разныхъ моральныхъ абсолютахъ, о путяхъ къ вѣчной правдѣ и т. п. Дѣло объясняется въ обоихъ случаяхъ одними и тѣми же общими законами. Отчего натуральное хозяйство превращается въ денежное? Отъ роста населенія, которымъ вызывается увеличеніе потребленія; а чтобы увеличить потребленіе, необходима бóльшая производительность труда, немыслимая безъ раздѣленія занятій и обмѣна. Этотъ общій законъ сказался одинаково и на западѣ, и на востокѣ Европы: русское населеніе въ XVI в. достигло въ этомъ отношеніи того же количественнаго размѣра (само собою разумѣется, не ариѳметически, а относительно—въ связи съ естественными богатствами и свойствами территоріи), какого достигло населеніе во Франціи XII вѣка. Отчего происходитъ изолированность рынковъ, незначительность района сбыта товаровъ? Отъ слабаго развитія путей сообщенія, отъ ихъ несовершенства. И этотъ общій законъ сказался и въ Россіи, и во Франціи. Но у насъ пути сообщенія въ XVI в. были лучше, чѣмъ во Франціи XII столѣтія—по естественнымъ причинамъ: по продолжительности снѣгового покрова, дававшей возможность быстрой перевозки товаровъ, и по необыкновенному обилію рѣкъ и рѣчекъ, водныхъ сообщеній. От-

сюда и произошли болѣе обширные русскіе внутренніе рынки.

Понятно, что при такихъ условіяхъ падаетъ и то аристократическое дѣленіе разныхъ народовъ на культурные или историческіе и некультурные или неисторическіе, которое проводитъ Риккертъ. Всѣ народы—историческіе; одни важны по причинѣ сходства ихъ развитія съ развитіемъ другихъ народовъ, другіе важны также и по причинѣ относительнаго своеобразія ихъ развитія. Въ XVIII вѣкѣ дѣлили людей на „благородныхъ“ и „подлыхъ“. Теперь дѣлятъ такъ же народы. Но какъ потеряло въ значительной мѣрѣ вѣсъ старое сословное дѣленіе, такъ утратитъ значеніе и аристократическій принципъ въ теоріи историческаго познанія.

Такимъ образомъ, мы послѣдовательно прослѣдили всѣ доводы и соображенія, которыми Риккертъ стремится доказать и развить главное положеніе своей книги. При ближайшей повѣркѣ этихъ доводовъ и соображеній они оказываются весьма непрочными, а съ ними падаетъ и главное положеніе. При такихъ условіяхъ критика второго, менѣе важнаго заключенія нашего автора,—заключенія, сводящагося къ тому, что матеріалъ иначе данъ для исторіи, чѣмъ для естествознанія,—весьма значительно облегчается. Въ самомъ дѣлѣ: опытъ, по словамъ Риккерта, невозможенъ въ исторіи. Мы сдѣлаемъ поправку: онъ возможенъ, но только въ болѣе ограниченной степени, нежели въ естествознаніи; вѣдь при расширеніи сферы самоуправленія, при умноженіи всякаго рода общественныхъ союзовъ и обществъ всякій человѣкъ, живущій сознательною жизнью, пріобрѣтаетъ десятки и сотни случаевъ, когда для него открывается возможность на опытѣ провѣрить историческую или соціологическую теорію. Не надо, кромѣ того, забывать, что и естествознаніе признаетъ важность еще другого научнаго метода наблюденія, и въ нѣкоторыхъ отрасляхъ точной науки (напр., въ астрономіи) оно играетъ даже исключительную роль, отнюдь не мѣшая этимъ отраслямъ оставаться точными знаніями. Слѣдовательно, болѣе узкая сфера примѣненія опыта въ обществовѣдѣніи—признакъ вовсе не столь существенный, чтобы на основаніи его кореннымъ образомъ принципіально раздѣлять естествознаніе и исторію, какъ сферы вѣдѣнія, ничего, или по-

чти ничего общаго между собою не имѣющія. Что касается неполноты и недостовѣрности историческихъ источниковъ, то, во-первыхъ, Риккертъ забываетъ здѣсь о главной заслугѣ той исторической школы, которая ему наиболѣе симпатична,— школы Ранке, поставившей, какъ извѣстно, на надлежащую высоту такъ называемую историческую критику; во-вторыхъ, и въ естествознаніи абсолютная полнота матеріала— столь же недостижимый идеалъ, какъ и въ исторіи; въ-третьихъ, наконецъ, историкъ, если онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и соціологъ, т. е. настоящій ученый историкъ, не затруднится по уцѣлѣвшимъ обломкамъ старины возстановить цѣлое, подобно тому, какъ палеонтологъ по одной найденной кости возстановляетъ исчезнувшее допотопное животное.

Но намъ говорятъ еще, что безъ культурной оцѣнки нельзя опредѣлить ни начала, ни конца развитія народа. Послѣ всего сказаннаго это соображеніе теряетъ значеніе. Какъ въ естествознаніи начало и конецъ развитія какого-нибудь вида опредѣляется его существованіемъ безъ всякой примѣси нравственной оцѣнки, такъ и въ исторіи способность къ сохраненію существованія служитъ достаточнымъ мѣриломъ, позволяющимъ различать появленіе общественнаго союза и его разложеніе. Ни для какой субъективной нравственной оцѣнки тутъ совершенно нѣтъ мѣста.

Два послѣдніе довода Риккерта, подкрѣпляющіе второе его положеніе и гласящіе, во-первыхъ, что законъ историческаго развитія не можетъ быть выведенъ на основаніи единичнаго процесса развитія, потому что для этого необходимо эмпирическое сравненіе многихъ процессовъ развитія, между тѣмъ какъ число подлежащихъ сравненію культурныхъ народовъ очень мало, и, во-вторыхъ, что такой законъ, если бы онъ былъ даже возможенъ, не былъ бы въ состояніи объяснить главное—индивидуальныя отличія;—оба эти довода не подлежатъ дальнѣйшему разбору съ нашей стороны, такъ какъ мы уже отвергли аристократическое дѣленіе народовъ на историческіе и неисторическіе, почему матеріала для сравненій оказывается достаточно, и, съ другой стороны, мы не признали на изложенныхъ уже основаніяхъ реальнаго значенія за понятіемъ о „чисто-индивидуальномъ“, при чемъ убѣдились, что „относительно-индивидуальное“ допу-

скаетъ обобщающую научную работу и вполнѣ объясняется общими понятіями, составленными по методу точныхъ знаній.

Третій основной пунктъ теоріи Риккерта—ученіе о приматѣ практическаго разума (философскаго ученія о нравственности) въ философіи и возложеніе на исторію задачи содѣйствовать въ этомъ отношеніи философской теоріи—звучитъ, какъ, впрочемъ, и многое другое въ книгѣ Риккерта,—не ново для русскаго читателя. Справедливость требуетъ, впрочемъ, признанія, что Риккерту и въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, принадлежитъ право первенства, потому что его книга появилась раньше нашихъ русскихъ „проблемъ идеализма". Для всякаго, конечно, ясна органическая связь этой философской концепціи съ исходными пунктами разбираемой книги. Съ разрушеніемъ послѣднихъ теряетъ всякій смыслъ и первая.

Довольно много вниманія удѣляетъ, наконецъ, Риккертъ вопросу о соціальномъ предвидѣніи *). Но пишущій эти строки имѣлъ уже случай въ другомъ мѣстѣ **) высказаться по поводу воззрѣній Риккерта на этотъ вопросъ, и потому теперь было бы безполезно повторять изложенныя тогда соображенія.

Жизнь—удивительно сложный, трудный, медленно-измѣняющійся процессъ. И особенно это надо сказать объ идейной жизни, о жизни ума и познанія. Человѣческій умъ, спотыкаясь и падая на каждомъ шагу, идетъ впередъ, пытливо ищетъ истину. Но въ этой сложной и трудной работѣ, текущіе результаты которой, несомнѣнно, удовлетворяютъ интересамъ и потребностямъ переживаемаго каждымъ народомъ момента исторической эволюціи, человѣческій умъ всегда отстаетъ нѣсколько отъ процесса развитія реальныхъ условій—экономическихъ, соціальныхъ и даже отчасти политическихъ. Мысль едва ли не въ большей степени, чѣмъ что-либо другое, оцѣплена традиціями и продуктами историческаго разложенія отжившихъ воззрѣній. Такой традиціонной, по рукамъ и по ногамъ связанной цѣпями про-

*) стр. 525—527.

**) Въ статьѣ „Значеніе и судьбы новѣйшаго идеализма въ Россіи",—въ „Вопросахъ философіи и психологіи" за 1903 г., № 2, стр. 322—323.

шлаго, теоріей является та, которая нами сейчасъ разобрана: это—ни что иное, какъ отголосокъ стараго убѣжденія, что гуманитарныя науки суть науки особаго рода, что въ нихъ „смыслъ философіи всей“. Обязанность разъяснить эту сторону дѣла, констатировать наличность историческаго налета на мнимо-новой теоріи и показать непрочность стараго зданія, теперь съ такимъ усердіемъ разукрашиваемаго вновь,—лежитъ на всякомъ, кто цѣнитъ научное знаніе и видитъ въ немъ оплотъ противъ произвольныхъ построеній и бездоказательныхъ утвержденій. Настоящая статья и является посильной попыткой выполнить эту обязанность.

Н. Телешовъ.

СЛУЧАЙ.

Всю ночь и весь день крутила вьюга, заметая снѣгомъ улицы и крыши домовъ, но городъ, весь сѣдой и угрюмый, смотрѣлъ на вьюгу величественно и спокойно, какъ старецъ-философъ на чужія шалости.

Къ вечеру метель затихла. Стало морозить. Сѣрая сплошная пелена тучъ разорвалась въ мелкіе клочья и быстро разбѣгалась въ разныя стороны, очищая блѣдно-зеленоватое вечернее небо. Закатъ былъ ясенъ и тихъ, и звѣзды загорались весело и ярко, а въ улицахъ сгущались сѣрыя сумерки, и вспыхивали длинными вереницами фонари и освѣщались окна въ домахъ. Сильно морозило. Свѣжій снѣгъ начиналъ скрипѣть и хрустѣть подъ ногами и полозьями. Студеное затишье становилось все красивѣй и таинственнѣй. Въ небѣ стоялъ осколокъ мѣсяца въ громадномъ кольцѣ, туманномъ и золотистомъ, и тѣни отъ домовъ и церквей лежали мглистыми пятнами по бѣлымъ сверкающимъ дорогамъ. На перекресткахъ улицъ, въ морозномъ клубящемся воздухѣ, точно въ пару, закраснѣлись и задымились костры.

На тротуарѣ, подъ окнами огромнаго недостроеннаго дома, темнаго и пустого, стоялъ человѣкъ, по уши обвязанный шарфомъ, въ короткой бархатной курткѣ и мягкой широкополой шляпѣ, надвинутой ниже бровей. Скрываясь за угломъ выдававшагося подъѣзда и переминаясь съ ноги на ногу, онъ стоялъ, ежась и скрестивъ на груди руки; подъ тужуркой у него, между грудью и скрещенными руками, сидѣло маленькое непонятное существо, закутанное въ лохмотья, съ головой, покрытой ситцевымъ грязнымъ платкомъ; это была обезьяна, дрожавшая отъ стужи вмѣстѣ со своимъ

хозяиномъ, у котораго усы и борода заиндевѣли, и онъ казался отъ этого сѣдымъ старикомъ.

— Ху-ху! ху-ху!—громко дышалъ онъ на обезьяну и на свои пальцы, а самъ бойко перебиралъ ногами и притопывалъ, точно плясалъ на одномъ мѣстѣ.

Глухой переулокъ уже давно былъ пустъ. Вдругъ изъ-за угла показалось четверо оборванцевъ; засунувъ руки въ узкіе и холодные рукава, сгорбившись и съежась, подрыгивая ногами и подгибая съ холоду колѣна, они шли несовсѣмъ обычной походкой людей, возвращающихся домой, а тоже какъ-будто приплясывали, иногда хватаясь за уши и за носъ и стараясь согрѣть ихъ закоченѣвшими пальцами. Они шли шибко, почти бѣжали и о чемъ-то спорили между собою.

Когда они приблизились къ стоявшему человѣку, онъ рѣзко выступилъ изъ-за угла наперерѣзъ имъ, и, вытянувъ впередъ руку, тронулъ осторожно за плечо одного изъ оборванцевъ и быстро заговорилъ что-то на непонятномъ нарѣчіи, всхлипывая и дрожа всѣмъ тѣломъ.

Оборванецъ въ первую минуту отшатнулся, но, вглядѣвшись, молча схватилъ незнакомца за шиворотъ и повернулъ лицомъ къ фонарю.

— Что за фигура?—крикнулъ онъ, поднося къ его носу кулакъ, но сейчасъ же отдернулъ его, потому что крошечная человѣческая рука, темная и сморщенная, высунулась изъ-за пазухи незнакомца и скребнула ногтями по чужому кулаку.

— Что за чортъ?!

— Обжегся?—засмѣялись другіе оборванцы и съ любопытствомъ окружили необыкновеннаго человѣка, который самъ испугался и, крѣпко сжимая на груди руки, пытался что-то объяснить, но его никто не понималъ.

— Бала - бала!—передразнилъ его оборванецъ.—Говори прямо: что ты за гусь?

Тотъ снова заговорилъ горячо и взволнованно, но опять никто ничего не понялъ.

— Да вѣдь это—Мусью!—догадался кто-то.—Мусью съ обезьяной. Съ нимъ сколько ни бейся, онъ по нашему не пойметъ. А зазябъ, подлецъ... сильно зазябъ. Ты кто такое? Ты вѣдь—Мусью.

Человѣкъ быстро закивалъ головою и, услыхавъ знакомое слово, сталъ улыбаться и снова заговорилъ что-то.

— Ахъ ты лѣшій, лѣшій,—пожалѣлъ его одинъ изъ компаніи.—Ни слова по нашему ты не можешь сказать, а тоже лѣзешь сюда... на этакій-то морозъ! Даже вонъ плачешь. А чего плакать?.. Ребята!—обратился онъ къ товарищамъ,—сдохнетъ вѣдь человѣкъ-то?..

— Извѣстно, сдохнетъ. Что жъ теперь дѣлать?

Трое пошли впередъ, потому что самимъ было холодно, а четвертый остался. Это былъ высокій дѣтина, лѣтъ двадцати пяти, скуластый, почти безусый, съ широкими плечами и большими сѣрыми глазами, бѣловолосый, съ длинными бѣлыми рѣсницами, прозванный товарищами за свой ребяческій видъ—Дитё.

— Мусью!—сказалъ онъ вызывающимъ тономъ, шевеля богатырскими плечами и потирая съ мороза руки.—Ты это брось—ревѣть... Не люблю я, когда передо мной слезу распускаютъ. Брось, говорю! На насъ самихъ однѣ заплаты,—видишь? А никто не реветъ. И ты не смѣй.

Онъ кивнулъ на свои продранныя плечи, на заплатанныя колѣна, на прорѣхи и, указавъ на нихъ, точно на сокровища, съ достинствомъ спросилъ:

— Понимаешь, Мусью?

Мусью снова закивалъ головой и что-то быстро заговорилъ. Онъ тоже указалъ на свою тужурку, на шарфъ, на штиблеты, потомъ махнулъ съ отчаяніемъ рукой и быстро провелъ указательнымъ пальцемъ себѣ по горлу, точно зарѣзавшись.

— А, понимаю,—проговорилъ Дитё,—пришелъ тебѣ, значитъ, капутъ?

Услышавъ опять знакомое слово, Мусью еще энергичнѣе закивалъ головой, какъ бы радуясь, что онъ, наконецъ, понятъ. Онъ быстро и нервно заговорилъ, ударяя себя по груди свободной рукой, а другой еще крѣпче прижимая къ себѣ обезьяну.

— Понимаю, понимаю,—съ важностью и съ увѣренностью поощрялъ его Дитё, растирая озябшее ухо.—Обмерзъ ты и жрать тебѣ нечего, и сказать ты можешь только—ху-ху, да ху-ху. Дѣло твое—дрянь, Мусью!.. Самъ виноватъ: не лѣзь,

куда не спрашиваютъ. Чего тебя черти къ намъ занесли? да еще въ бархатѣ, да въ штиблетахъ! Сидѣлъ бы дома, дѣло-то лучше!

Онъ ласково взялъ Мусью за плечо и, подмигнувъ глазомъ, показалъ ему пальцами, что приглашаетъ его выпить вина.

— Пойдемъ, Мусью, обогрѣю. Завтра у насъ огромадный праздникъ: зимній Никола и день моего ангела. Пойдемъ, угощу съ именинами. И обезьяну твою погрѣемъ.

И они пошли догонять товарищей.

Дитё пошелъ впереди, а Мусью сзади. Оба они молчали.

Когда въ духотѣ низенькой комнаты, наполненной испареніями и табачнымъ дымомъ, всѣ обогрѣлись и выпили, разговоръ принялъ задушевный характеръ. Мусью оказался худымъ, жиденькимъ человѣкомъ, съ смуглымъ, точно загорѣлымъ лицомъ и черными, какъ сажа, бородой и усами.

— А я думалъ, ты сѣдой!—воскликнулъ Дитё, когда заиндевѣлая борода Мусью оттаяла въ трактирѣ.

Мусью долго и много разсказывалъ о себѣ на непонятномъ никому языкѣ, но его все-таки поняли. Поняли, что его кто-то привезъ въ Россію очень недавно, и рѣшили, что привезъ его товарищъ, который пріѣхалъ и умеръ. Поняли это такъ потому, что Мусью о комъ-то вздыхалъ и говорилъ, сморщивъ лобъ: О-о-о!! и показывалъ, какъ кто-то закрылъ глаза и вытянулся.

— Умеръ товарищъ?—переспрашивали его.—Вотъ свинья какая: завезъ тебя къ намъ, а самъ умеръ. Истинная скотина, а не другъ.

— О!—восклицалъ Мусью, воображая, что товарища его хвалятъ или жалѣютъ, и утвердительно кивалъ въ отвѣтъ головой.

— Подлецъ твой пріятель,—подтверждали и собесѣдники.—Ни слова ты по нашему не умѣешь, пропитанія тебѣ нѣтъ, да и кому ты нуженъ? Этакъ околѣешь, Мусью. Скоро, братъ, околѣешь.

Обогрѣвшись и повеселѣвъ, обезьяна, освобожденная отъ

тряпокъ, то сидѣла на краю стола въ своемъ грязномъ пестромъ казакинѣ съ золотой бахромой, въ зеленыхъ башмакахъ и въ красной съ галуномъ шапочкѣ, то вспрыгивала къ Мусью на плечо, то, стащивъ кусокъ баранки, пряталась подъ тужурку хозяина и оттуда воровато и вмѣстѣ наивно окидывала компанію печальнымъ человѣческимъ взглядомъ. Компанія хохотала, а Мусью улыбался, гладилъ и иногда цѣловалъ ее въ голову и прижималъ къ сердцу.

— А вѣдь Мусью—душа человѣкъ!—восклицалъ то и дѣло Дитё, развалившись на стулѣ и вытянувъ впередъ свои огромныя ноги.—Гляди: точно съ дочерью обращается, жалѣетъ.

А Мусью все что-то разсказывалъ, видимо—печальное и важное. Не то онъ говорилъ о своей родинѣ, не то о судьбѣ, а, можетъ быть, о голодѣ и холодѣ. Онъ прикладывалъ руку къ груди и устремлялъ взоры кверху, точно призывая въ свидѣтели небо, то отрицательно качалъ головой, быстро и многократно причмокивая языкомъ, какъ чмокаютъ на лошадей извозчики, вздыхалъ, махалъ безнадежно рукою, указывалъ на обезьяну, пожималъ плечами и, растрогавшись, утиралъ слезящіеся глаза, и вдругъ опять вытягивалъ впередъ руки, точно улетая на крыльяхъ, и глядѣлъ восторженными глазами въ потолокъ и что-то тихо-тихо шепталъ, точно разсказывалъ священную тайну.

— Гляди,—восторгался Дитё, толкая товарищей,—кто у насъ можетъ такъ разговаривать? У насъ орутъ, галдятъ,—безобразіе!—а это что? Мягкость одна!..

— Спеціально разговариваетъ,—подтвердилъ съ одобреніемъ слесарь, одинъ изъ компаніи.—Вотъ ужъ спеціально, такъ спеціально!

— У насъ всякій мальчишка норовитъ первой собакѣ камнемъ спину перешибить,—продолжалъ восхищаться Дитё,—а этотъ вонъ съ обезьяной, какъ съ малымъ ребенкомъ, нянчится. Любитъ!.. Жалѣетъ!.. Самъ голодаетъ, какъ церковная крыса, а первую баранку, небось, надвое, да первый кусокъ ей, а другой себѣ въ ротъ. Душа-человѣкъ! что разговаривать: душа-человѣкъ!

— Человѣкъ спеціальный!—одобрялъ слесарь.—И все у него спеціально выходитъ. Молодецъ, братъ, Мусью! Пей за мое здоровье!

Мусью отхлебнулъ изъ рюмки и, весь передернувшись, замоталъ головой.

— Не любишь?—захохотала компанія, глядя на его гримасы, но Дитё заступился.

— Человѣкъ онъ не нашъ, нечего его и травить. Вотъ что, Мусью,—обратился онъ къ нему:—милый ты человѣкъ, голубчикъ, сдѣлай мнѣ удовольствіе, спой по-своему! Утѣшь! А я тебя не оставлю. Не гляди, что я такой, а я тебя выручу. Не дамъ тебѣ съ голоду поколѣть, ей-Богу, не дамъ! Спой по-своему! Сдѣлай милость!

— А обезьяна пусть спляшетъ,—добавилъ слесарь.— Это у нихъ очень спеціально выходитъ. Мусью! Пой!

— Пой, Мусью!—восхитились всѣ.—Мусью! Валяй!

Мусью глядѣлъ на нихъ печальнымъ взглядомъ, полнымъ вопроса и недоумѣнія. Видя, что всѣ отъ него чего-то хотятъ, онъ не понималъ ихъ и спрашивалъ взглядомъ: чего имъ нужно. И они не понимали его, только кричали, махая руками:

— Мусью! Валяй!

Дитё догадался. Онъ всталъ, схватилъ руками обезьяну и заставилъ ее попрыгать по столу, давая этимъ понять объ общемъ желаніи, а самъ, увлекаясь, кричалъ:

— Пой, Мусью! Пой по-своему!

— О!—отвѣтилъ Мусью, улыбаясь, и постучалъ пальцемъ по столу, потомъ что-то шепнулъ обезьянѣ, и она подъ его пѣніе, тихое и монотонное, встала, подняла обѣ переднія лапы и закружилась, присѣдая, подъ общій восторгъ и хохотъ.

— Вотъ спасибо! Ай-да Мусью! вотъ молодчина!—восклицали всѣ.

— Ну, и спеціально!—восхищался слесарь.

Только Дитё стоялъ молча и глядѣлъ угрюмо на обезьяну. Сердце его распалялось въ ожиданіи чего-то другого, болѣе новаго и болѣе важнаго, а не того, что происходило.

— Околѣвать что-ль теперь человѣку?!—вдругъ закричалъ онъ, продолжая свои думы. На морозъ ихъ, что-ль, а? И его, и обезьяну? А?.. Черти проклятые!—негодовалъ онъ на кого-то, угрожая стѣнѣ кулакомъ.—Сказалъ, не отдамъ,—и не отдамъ! Выручу, Мусью, тебя, будь покоенъ!

Лихо выплеснувъ въ ротъ стаканъ водки, Дитё крякнулъ и не сказалъ болѣе ни слова, только поднялъ кулакъ, нескладный и толстый, и угрожающе потрясъ имъ снова надъ головой. Потомъ ласково обратился къ Мусью:

— Спой, милый, по-своему. Спой!..

Обезьяна уже сидѣла вновь на колѣнахъ хозяина, оглядывая присутствующихъ все тѣмъ же печально-вопросительнымъ взглядомъ, похожимъ на взглядъ человѣка, недовѣрчиваго и безсильнаго.

Отхлебнувъ изъ стакана жидкаго, горячаго чая, Мусью вытеръ усы и закрутилъ ихъ кверху двумя стрѣлками, потомъ проговорилъ компаніи что-то ласковое, обнадеживая мягкими жестами, и тихо запѣлъ любимую пѣсню своей страны: о бѣдномъ молодомъ рыбакѣ и о жестокой, холодной красавицѣ. Онъ не оралъ и не возвышалъ голоса, такъ что его не было бы слышно даже въ сосѣдней комнатѣ, но пѣлъ онъ, увлекаясь, разставивъ широко руки и глядя куда-то ввысь. Онъ пѣлъ такъ сладко, выразительно и жалобно, что всѣмъ стало казаться, будто поетъ онъ каждому на ухо для него и про него самого. Одному чудилось, что поетъ онъ объ его деревнѣ, о поляхъ и лѣсахъ, о родной широкой рѣкѣ, гдѣ было когда-то счастье; другой вздыхалъ объ отцѣ съ матерью, о дѣтскомъ счастливомъ времени, о томъ, чего уже нѣтъ и никогда не будетъ; третьему вспоминалась ранняя молодость, первая любовь и первыя невзгоды,—тѣ невзгоды, за которыя отдалъ бы теперь всю остальную жизнь, нелѣпую, черствую и безпутную; но Дитё былъ увѣренъ, что Мусью поетъ не иначе, какъ о своемъ народѣ, о нуждѣ, о горѣ, о своей проклятой, несчастной жизни и о своей обезьянѣ; поетъ онъ и о русскомъ морозѣ на улицахъ, о своей погибели здѣсь и жалуется имъ всѣмъ на судьбу; и про нихъ самихъ онъ тоже поетъ: какіе, молъ, вы всѣ пьяницы да подлецы!..

Увѣренный въ этомъ, онъ стоялъ передъ пѣвцомъ и слушалъ, и сердце его разгоралось все больше; мягкій голосъ и тихая пѣсня трогали его душу, умиляли и возбу-

ждали ее; жалко становилось пѣвца и жалко его обезьяну: чужіе они здѣсь оба, и не здѣсь имъ мѣсто!

А Мусью все пѣлъ, то скрещивая на груди руки, то медленно протягивая ихъ къ собесѣдникамъ и всей грудью перегибаясь къ нимъ черезъ столъ; лицо его улыбалось, а глаза были печальны и голосъ не звенѣлъ, а журчалъ, какъ ручей въ лѣсу, и слезы катились по щекамъ, утопая въ черныхъ усахъ и бородѣ.

Кончивъ пѣсню, онъ покашлялъ и сейчасъ же запѣлъ другую, еще болѣе грустную. Всѣ пригорюнились; всѣ сидѣли и слушали, опустивъ на руки головы; только слесарь проговорилъ со вздохомъ, нервно лохматя волосы:

— Ужъ очень спеціально получается!

А Дитё, разставивъ врозь ноги и подперевъ кулаками бока, точно готовясь къ бою, стоялъ передъ пѣвцомъ съ выпученными глазами; грудь его медленно и круто поднималась и опускалась, ноздри и губы зловѣще вздрагивали.

— Мусью!—заоралъ вдругъ Дитё дикимъ голосомъ, широко раскидывая врозь руки. Онъ кинулся на пѣвца, сгребъ его въ свои объятія и крѣпкимъ поцѣлуемъ заглушилъ пѣсню.

— Вотъ что!.. Мусью! Вотъ что!—выкрикивалъ онъ точно ошалѣлый.—Поѣзжай къ себѣ! Умрешь ты здѣсь... замерзнешь. Съ голоду поколѣешь,—поѣзжай!

Потомъ онъ обратился къ товарищамъ, махая надъ головой кулакомъ:

— Братцы! Пустимъ его на родину? Не дадимъ поколѣть—а? Выручимъ Мусью! Отправимъ на родину!

И всѣ поднялись; всѣ вдругъ заговорили, заспорили, а Дитё кричалъ только одно:

— Выручимъ! Не дадимъ поколѣть!

Потомъ всѣ стали шептаться, указывая въ сторону глазами и пальцами. Иногда слышалось чье-то имя съ прибавленіемъ: кровопійца... анаѳема...

Шопотъ вскорѣ перешелъ опять въ говоръ, и голоса загудѣли снова.

— Шабашъ!—рѣзко перебилъ всѣхъ Дитё, грузно кладя на столъ растопыренную руку.—Дѣло рѣшеное!

Слесарь весело подмигнулъ глазомъ и, потрепавъ удивленнаго Мусью по плечу, добавилъ съ улыбкой:

— Это ужъ, братъ, по моей спеціальности. Будь покоенъ.

Черезъ день въ газетахъ было напечатано сообщеніе, что въ запертую на ночь винную лавку проникли громилы и, взломавъ замки, похитили изъ кассы деньги и перебили много бутылокъ. Одного изъ громилъ удалось задержать, но денегъ при немъ не оказалось. Богатырь по сложенію, онъ былъ найденъ мертвецки пьянымъ съ разбитой бутылкой въ рукахъ.

Мѣсяцевъ шесть сидѣлъ онъ въ острогѣ; потомъ его судили.

На судѣ онъ сознался, что въ кражѣ участвовалъ не одинъ, но раньше скрывалъ это для того, чтобы дать время товарищамъ отправить за границу какого-то не-русскаго пѣвца съ обезьяной.

— Душа растрогалась. Доброе дѣло захотѣлось сдѣлать,— сказалъ онъ въ свое оправданіе.

Присяжные вынесли ему приговоръ: виновенъ, но заслуживаетъ снисхожденія.

И его проводили обратно въ тюрьму.

Н. Тимковскій.

Маленькій Человѣкъ и Большой Человѣкъ.

I.

Маленькій Человѣкъ и Большой Человѣкъ жили нераздѣльно и неразлучно, потому что имъ суждено было такъ жить.

Они имѣли одно общее тѣло, одно лицо, составляли одно удивительное цѣлое, но не были похожи другъ на друга.

Глаза Маленькаго Человѣка блестѣли жидкимъ блескомъ и бѣгали по сторонамъ, полные тревожной мысли объ этомъ Маленькомъ Человѣкѣ и страха за его благополучіе; а когда не было повода для страха и озабоченности, они смотрѣли сонно, апатично, не были ни злыми, ни добрыми, ни глупыми, ни умными.

Глаза Большого Человѣка, глубокіе, задумчивые, серьезные, глядѣли какъ будто внутрь; въ нихъ тлѣлся огонекъ, похожій на искру, которая вотъ-вотъ разгорится... Иногда этотъ огонекъ вспыхивалъ, и тогда въ глазахъ свѣтилось что-то непримиримое; потомъ огонекъ потухалъ, глаза темнѣли, и изъ глубины ихъ выглядывала тоска...

Каждое утро это странное существо, соединяющее въ себѣ Большого и Малаго Человѣка, вставало, умывалось, пило чай и шло на службу...

Одѣваясь, Маленькій Человѣкъ думалъ:

— Кажется, теперь опять начинаютъ носить широкія панталоны?.. Надо принять къ свѣдѣнію.

А Большой Человѣкъ, напяливая на себя туго накрахмаленную манишку, скрежеталъ:

— И какой дуракъ выдумалъ носить эти хомуты?!. Кому это нужно?

На службѣ Маленькій Человѣкъ священнодѣйствовалъ надъ бумагами. Глубокомысленно сморщивъ лобъ, онъ какъ-то зловѣще скрипѣлъ перомъ, и ему въ это время казалось, что на свѣтѣ, дѣйствительно, существуютъ вотъ только эти бумаги, эти казенныя стѣны, эти шкафы съ дѣлами, люди въ вицъ-мундирахъ, царапающіе перьями, да курьеры, вытягивающіеся въ струнку передъ начальствомъ; а все остальное существуетъ только по какой-то странной случайности, да и то только до поры, до времени. Маленькому Человѣку пріятно было сознавать, что начальникъ имъ доволенъ, проситель передъ нимъ заискиваетъ, курьеръ, говоря съ нимъ, дѣлаетъ испуганное лицо; что скоро 20-ое число, что къ празднику онъ, навѣрное, получитъ награду, а къ новому году—новый чинъ или орденъ. И отъ этихъ мыслей лицо Маленькаго Человѣка дѣлалось довольнымъ и внушительнымъ.

А Большому Человѣку, напротивъ, казалось, что та жизнь, которая шумитъ и волнуется за окнами присутственной комнаты, та-то именно и есть настоящая, неподдѣльная жизнь, а эти стѣны, шкафы, бумаги, вицъ-мундиры—одно сплошное и обидное недоразумѣніе. И начальникъ, подмахивающій, глядя въ сторону, свою фамилію, и солдатъ, отворяющій дверь, которую и безъ него всякій отворить можетъ, представлялись ему оскорбительной нелѣпостью. И когда онъ думалъ о 20-мъ числѣ, ему становилось неловко, точно пассажиру, ѣдущему въ вагонѣ „зайцемъ“.

По окончаніи присутствія и Большой, и Маленькій шли домой обѣдать, причемъ иногда всю дорогу перекорялись между собой.

— Какъ-то и обѣдать-то совѣстно... — ворчалъ Большой Человѣкъ.

А Маленькій подмигивалъ ему и говорилъ:

— Ладно, братъ! Мы вотъ придемъ домой, выпьемъ водки, да закусимъ, да всхрапнемъ часокъ-другой... А потомъ— самоварчикъ... Вотъ те и совѣстно.

И онъ быстро сѣменилъ ногами, все торопясь по привычкѣ и точно боясь опоздать куда-то...

— Куда ты такъ спѣшишь? — резонно замѣчалъ ему Большой Человѣкъ.—Кто тебя гонитъ?

Но Маленькій Человѣкъ не слушалъ и продолжалъ сѣменить, предупредительно давая дорогу встрѣчнымъ „особамъ“ и суетливо поглядывая по сторонамъ: не попадется ли навстрѣчу нужный человѣкъ? и если такой попадался, онъ широкимъ закругленнымъ движеніемъ снималъ съ себя шляпу, и въ лицѣ его долго еще послѣ этого играла, какъ бы оставленная по забывчивости на губахъ, привѣтливая улыбка...

— Подайте, баринъ, на хлѣбъ...—раздавался несмѣлый и какъ-будто сдавленный голосъ.

Большой Человѣкъ видѣлъ передъ собою робкое, истощенное лицо, жалобно мигающіе глаза и красную отъ холода руку, протянутую къ нему. Мгновенно все существо Большого Человѣка пронизывалось мыслью, что такихъ лицъ и рукъ тысячи, десятки тысячъ, сотни тысячъ, что мимо нихъ идутъ и ѣдутъ сытые люди, замкнувшіеся въ своей сытой жизни, какъ улитки въ раковинахъ, что и самъ онъ всю жизнь равнодушно проходитъ мимо нихъ, точно это— не живые люди, такіе же, какъ и онъ, а фонарные столбы.

„Но вѣдь это ужасно, возмутительно, невыносимо! Нельзя спокойно ни работать, ни отдыхать, пока не сдѣлаешь всего, чтобы не было этихъ голодныхъ лицъ и рукъ. Нельзя беззаботно жить бокъ-о-бокъ съ ними и ѣсть каждый день со спокойной совѣстью свой обѣдъ. Надо стряхнуть съ себя это позорное равнодушіе!“

Но Маленькій Человѣкъ уже торопливо шарилъ у себя въ карманѣ, торопливо вытаскивалъ оттуда маленькую монету и, избѣгая взгляда голодныхъ глазъ, совалъ ее въ промерзшую насквозь ладонь... „Прими Христа ради“... невнятно бормоталъ онъ и быстро сѣменилъ дальше, стараясь поскорѣй забыть того, кто остался у него за спиной.

— Лицемѣръ бездушный!—кричалъ ему Большой Человѣкъ.

— Все равно, ничего не подѣлаешь, — отмахивался отъ него Маленькій.—Не нами это заведено, не нами и кончится... Исторія учитъ... статистика показываетъ... законы жизни говорятъ намъ... Словомъ, нечего тутъ философствовать, а надо спѣшить домой, а то опять, какъ прошлый разъ, говядина перепрѣетъ.

II.

У Маленькаго Человѣка было много знакомыхъ, потому что у него было много маленькихъ интересовъ. У Большого знакомыхъ не было: онъ жаждалъ имѣть друзей, а друзей не оказывалось. Поэтому Большой Человѣкъ таскался вмѣстѣ съ Маленькимъ по его знакомымъ: бывалъ на именинахъ, званыхъ вечерахъ, журъ-фиксахъ...

Сидя въ гостиной среди такихъ же Маленькихъ Людей, Маленькій Человѣкъ соображалъ, о чемъ и съ кѣмъ надо разговаривать и о чемъ слѣдуетъ умалчивать, чтобы не выйти изъ принятаго тона. Желая быть пріятнымъ для Маленькихъ Людей, онъ всѣми силами старался осаживать Большого Человѣка, который глухо ворчалъ и грозилъ нарушить общественную тишину.

— „Осадите, пожалуйста! Васъ честью просятъ“...—шепталъ онъ, напирая на Большого.

Съ хозяиномъ онъ солидно бесѣдовалъ о самоуправленіи, съ хозяйкой ласково сплетничалъ, съ сыномъ разсуждалъ о собачьей выставкѣ, съ дочерью журчалъ о женскихъ курсахъ и оперныхъ пѣвцахъ; когда нужно было,—вздыхалъ сочувственно, когда нужно,—подхихикивалъ...

А Большой Человѣкъ въ это время тоскливо метался:

— „Неужели мнѣ суждено всю жизнь ходить по гостямъ, видѣть эти казенныя улыбки, эти взятыя напрокатъ лица, слушать это балаканье? Какое отношеніе имѣютъ всѣ эти разговоры къ тому, чѣмъ живъ человѣкъ?“

И ему хотѣлось крикнуть:

— „Скучно, тяжело, противно!“

Но Маленькій Человѣкъ, подкравшись незамѣтно, зажималъ ему ротъ и говорилъ хозяевамъ съ сладенькой улыбкой:

— Чрезвычайно пріятно, знаете, находиться въ обществѣ людей, близкихъ тебѣ по духу. Какъ-то, знаете, отдыхаешь душой...

Лѣтомъ Большой и Маленькій отправлялись иногда въ деревню и тамъ бродили по полямъ, по лѣсамъ. Большой Человѣкъ любилъ забраться въ лѣсную глушь и просиживать тамъ по цѣлымъ часамъ: ему пріятно было сознавать, что близъ него нѣтъ этихъ Маленькихъ Людей, а есть

только деревня, да мохъ, да небо вверху. Вслушиваясь въ таинственный шопотъ листьевъ, вдыхая въ себя жадно лѣсной ароматъ, онъ начиналъ чувствовать себя сильнымъ, свободнымъ, какъ заморенная въ клѣткѣ птица, успѣвшая расправить на волѣ свои крылья; онъ чувствовалъ, какъ грудь его расширяется, какъ въ ней сладко дрожитъ ощущеніе новой, прекрасной жизни, а въ головѣ вспыхиваютъ искры новыхъ, свѣтлыхъ мыслей, непохожихъ на прежнія, какъ вотъ эти свѣжія лѣсные цвѣты не похожи на мертвые, продажные... Большой Человѣкъ наслаждался своимъ уединеніемъ, а Маленькій ежился, зѣвалъ и говорилъ старчески-разсудительнымъ тономъ:

— Ну, что ты будешь дѣлать съ своей свободой и со всѣми своими необыкновенными мыслями? Вѣдь все-таки жить-то тебѣ придется не съ деревьями, а съ людьми: для нихъ эти твои мысли не нужны, не интересны. Да и вообще—къ чему подобныя мысли? Только волнуютъ попусту. И что это за новая жизнь, которая мерещится тебѣ? Ты вонъ самъ даже не можешь опредѣлить ее, какъ слѣдуетъ... Лучше брось эти фантазіи, а то потомъ будешь тосковать, мучиться недовольствомъ. Жалѣючи тебя, говорю: брось!

Когда же темнѣло кругомъ и въ небѣ загорались звѣзды, Маленькому Человѣку дѣлалось жутко и хотѣлось, чтобы его поскорѣе окружили не деревья, а стѣны уютной комнаты, чтобы наверху было не это бездонное небо съ неизмѣримо далекими отъ насъ сверкающими громадами, а маленькій деревянный потолокъ, и чтобы въ комнатѣ сидѣли Маленькіе Люди, мирно бесѣдующіе о своихъ маленькихъ дѣлахъ.

III.

„Глубокоуважаемый Степанъ Тарасовичъ!“ — тщательно выводилъ Маленькій Человѣкъ на почтовомъ листѣ.

— „И такой-то деревяшкѣ—глубокое уваженіе!?“—клокотало тѣмъ временемъ внутри Большого...

А Маленькій, склонивъ голову на-бокъ, продолжалъ старательно выводить букву за буквой, такъ какъ Колдобинъ, которому адресовалось письмо, обожалъ каллиграфію.

... „Примите увѣреніе въ моемъ глубочайшемъ почтеніи и сердечной преданности“...

Маленькій Человѣкъ почесалъ кончикомъ пера переносицу, подумалъ и приписалъ:

... „а также и моей искренней любви къ Вамъ“.

Затѣмъ подписалъ свою фамилію и остановился на мысли: дѣлать ли привычный росчеркъ? Не лучше ли безъ росчерка?..

Большой Человѣкъ корчился, а Маленькій уже запечаталъ письмо и надписывалъ на конвертѣ крупнымъ, красивымъ почеркомъ: „Его Высокородію Степану Тарасовичу Колдобину“.

Въ письмѣ Маленькій Человѣкъ просилъ у Колдобина руки его дочери, Анастасіи. Оба—и Маленькій, и Большой—любили эту Анастасію, оба вмѣстѣ хотѣли жениться на ней, и обоимъ казалось это вполнѣ естественнымъ. Въ сущности, это странно, но такова ужъ ихъ судьба, чтобы быть всегда и во всемъ неразлучными.

И вотъ оба они стали женихами. Маленькій Человѣкъ прыскался одеколономъ, возилъ невѣстѣ конфекты, любезничалъ съ будущимъ тестемъ, и вся фигура его имѣла напряженно-праздничный и придурковатый видъ. А Большой Человѣкъ все какъ-то пожимался, точно ему тѣснило подъ мышками, и когда выходилъ отъ невѣсты на улицу, бурно вздыхалъ и колотилъ съ ожесточеніемъ тростью по землѣ...

Дома Маленькій Человѣкъ подолгу думалъ о томъ, какія измѣненія, въ виду предстоящей свадьбы, надо сдѣлать въ квартирѣ, чего прикупить и сколько это будетъ стоить? Бралъ бумажку, карандашъ, — складывалъ, вычиталъ, умножалъ; или, заткнувъ машинально карандашъ за ухо, перебиралъ мысленно всѣ осложненія и неудобства, которыми грозила ему семейная жизнь, и тогда лицо у него вытягивалось, а глаза безпокойно и недоумѣло моргали.

Большой Человѣкъ ничего не вычислялъ, не взвѣшивалъ. Ему казалось, что въ сердцѣ его невѣсты живетъ такое же большое чувство, какъ и въ немъ самомъ,—и передъ этимъ чувствомъ, какъ звѣзды передъ солнцемъ, исчезали всѣ разсчеты, сомнѣнія, вопросы: оно все покроетъ собою, все оправдаетъ, все скраситъ!..

И онъ бѣжалъ къ невѣстѣ, томимый желаніемъ поговорить съ нею объ этомъ новомъ и большомъ чувствѣ; а вмѣстѣ съ нимъ, конечно, бѣжалъ и Маленькій, потому что судьба связала ихъ разъ навсегда неразрывно и неразлучно.

Прежде всего оба—и Большой, и Маленькій—попадали въ широкія объятія будущаго тестя. Колдобинъ, въ награду за дочь, требовалъ отъ жениха, чтобы тотъ былъ его покорнымъ собесѣдникомъ. Толстый и крѣпкій, какъ обрубокъ, и такой же деревянный, съ маленькими бездушными глазами и руками, какъ у мясника, Колдобинъ невозмутимо сидѣлъ противъ своего будущаго зятя и толковалъ ему о паденіи рубля, о дѣлахъ на биржѣ и въ Кредитномъ Обществѣ.

— „Да мнѣ нѣтъ никакого дѣла ни до рубля, ни до биржи, ни до васъ самихъ!"—порывался заявить Большой Человѣкъ и уже раскрывалъ ротъ... но каждый разъ Маленькій опережалъ его, потому что былъ расторопнѣе. Оттѣснивъ Большого, онъ становился между нимъ и Колдобинымъ и говорилъ мурлыкающимъ голосомъ:

— Вы затрогиваете, уважаемый Степанъ Тарасовичъ, въ высшей степени интересный вопросъ, и я весьма радъ случаю поучиться у васъ такъ называемой житейской мудрости...

Боже, какъ ненавидѣлъ Большой Человѣкъ и своего будущаго тестя, и своихъ будущихъ родственницъ, которыя явились откуда-то во множествѣ, окружили невѣсту кольцомъ, наполнили квартиру свадебными дрязгами, выкройками, примѣтами, восклицаніями, картонками, коробками!.. Онъ ненавидѣлъ и Маленькаго Человѣка за то, что тотъ безпрестанно выюркивалъ у него изъ-за спины и сдабривалъ своимъ участіемъ всю эту пошлость; ненавидѣлъ его поглупѣвшее лицо, его прилизанные волосы, его „жениховскую" улыбку, которая точно дежурила на его губахъ, ненавидѣлъ новенькій костюмъ, сшитый имъ въ виду его жениховскаго положенія, и новые штиблеты, скрипѣвшіе съ какимъ-то омерзительнымъ подобострастіемъ. А всего ненавистнѣе было ему то, что Маленькій Человѣкъ умѣлъ незамѣтно, какъ ловкій фокусникъ, подмѣнивать собою Большого и волочить его внизъ по наклонной плоскости. Скользкій и рыхлый,

онъ всегда выскальзывалъ изъ рукъ Большого Человѣка, которому бѣшено хотѣлось схватить его, сжать въ кулакѣ и далеко отшвырнуть отъ себя... Пока Большой Человѣкъ, какъ старый, умный песъ, собирался рявкнуть, Маленькій, точно рѣзвый щенокъ, успѣвалъ, кого нужно, облаять и, кого нужно, облизать, сто разъ сочувственно взвизгнуть и продѣлать всѣ прыжки, какими аттестуютъ себя добрые щенята.

Въ невѣстѣ тоже жили нераздѣльно и неразлучно два человѣка, двѣ женщины: Маленькая и Большая. Маленькая бѣгала по портнихамъ, примѣривала платья, мечтала о томъ, какова она будетъ въ подвѣнечномъ нарядѣ, хихикала съ подругами, поддразнивала жениха, цѣловала съ усиленной нѣжностью мясистыя щеки отца и дѣлала видъ, что все вниманіе ея поглощено мыслями, не имѣющими никакого отношенія къ браку. Вся она была какая-то суетливо-легкомысленная, неестественно-вздернутая и, подобно Маленькому Человѣку, скользкая.

Но иногда изъ ея темно-сѣрыхъ глазъ, изъ скрытой глубины ихъ, глядѣла на жениха Большая Женщина, передъ которой Маленькій Человѣкъ робѣлъ и сконфуженно стушевывался, уступая мѣсто Большому. Она пытливо и жадно заглядывала ему въ глаза, словно стараясь измѣрить глубину души его. И тогда Большому Человѣку хотѣлось крѣпко-крѣпко сжать ей руки и сказать:

— „Зачѣмъ встали между нами твой отецъ со своей биржей, и родственницы, и картонки, и весь этотъ свадебный мусоръ, загораживающій отъ насъ наше хорошее, большое чувство? Я хочу сейчасъ жить съ тобой только имъ и говорить только о немъ, объ этомъ большомъ чувствѣ!“

Но пока онъ подыскивалъ слова, достойныя такого чувства, Маленькій Человѣкъ выскакивалъ вмѣсто него впередъ и произносилъ съ неумной улыбкой:

— Знаете, къ вамъ удивительно идетъ это платье... Впрочемъ, къ вамъ все идетъ.

А Маленькая Женщина, кокетливо прищуриваясь, ударяла его платкомъ по носу и говорила:

— Ну, будетъ вамъ болтать глупости!.. Папа, посмотри, какой онъ смѣшной!

IV.

Послѣ свадьбы молодые дѣлали визиты, устраивали хозяйство, принимали гостей. Чуть не ежедневно пріѣзжалъ тесть, который смотрѣлъ на дочь и на зятя, и на всю обстановку, какъ на свою собственность, великодушно отдаваемую имъ на прокатъ. Онъ плотно усаживался въ кресло и мямлилъ по цѣлымъ часамъ съ видомъ коровы, жующей жвачку, о биржѣ, о службѣ, о хозяйствѣ и о томъ, какъ надо жить на свѣтѣ,—а Большому Человѣку въ это время хотѣлось спустить его съ лѣстницы.

Или въ переднюю вдругъ врывалась стая родственницъ, и комнаты наполнялись восклицаніями, оглушительными поцѣлуями, визгливымъ смѣхомъ.

А когда не мѣшали Маленькіе Люди, то мѣшали маленькія заботы, которымъ конца не было видно: одна за другой, одна другой мельче, одна другой обязательнѣе. Откуда онѣ набирались—неизвѣстно, но въ концѣ концовъ жизнь размѣнивалась на мелкую монету,—вотъ такую же, какую Маленькій Человѣкъ совалъ нищему.

И эта мелкая монета возмущала Большого Человѣка такъ же, какъ въ тѣ минуты, когда Маленькій откупался отъ голоднаго копѣйкой. Внутри его что-то глухо роптало и ныло: „Копѣечныя чувства, копѣечныя мысли, копѣечная жизнь!“ И когда изъ глазъ жены глядѣла на него не то съ сочувствіемъ, не то съ укоромъ Большая Женщина, онъ высказывалъ ей горячо и сбивчиво свои завѣтныя мысли, а она слушала его съ просвѣтленнымъ лицомъ и шептала: „Бросимъ все это, будемъ жить по новому!“—и тогда обоимъ казалось, что вотъ-вотъ сейчасъ спадетъ передъ ними завѣса, скрывающая отъ нихъ желанную жизнь, съ ея большими мыслями, большими чувствами, большими людьми. Но оба не знали, что именно нужно сдѣлать для этого, и все ждали чего-то, ждали до тѣхъ поръ, пока не врывались къ нимъ Маленькіе Люди или маленькія заботы, которые каждый разъ заставали ихъ врасплохъ и погружали съ головой въ маленькую жизнь.

И вотъ Большой Человѣкъ началъ бояться самого себя, какъ зачинщика и подстрекателя, который самъ не знаетъ,

что нужно дѣлать. Онъ вѣрилъ теперь только въ эту маленькую, ненавистную ему жизнь, въ этого Маленькаго Человѣка, впившагося въ него, какъ клещъ.

А когда пошли дѣти и съ ними новыя заботы,—и отецъ, и мать думали объ одномъ: какъ сдѣлать дѣтей маленькими хорошими людьми, привить къ нимъ маленькія хорошія мысли и чувства? Какъ обуздать въ нихъ Большого Человѣка, который сидитъ гдѣ-то глубоко внутри и отравляетъ жизнь неудовлетвореніемъ?

Но прежде всего—какъ въ себѣ-то самихъ задавить этого Большого Человѣка, чтобы онъ не врывался, непрошенный, и не нарушалъ правильнаго теченія ихъ домашняго обихода? Онъ куда-то припрятался, но онъ еще живъ и по временамъ даетъ имъ знать о себѣ тоскливой тревогой, отъ которой не знаешь куда дѣться...

— „Зачѣмъ онъ смущаетъ насъ? Вѣдь все равно ничего не выйдетъ!“

Чтобы зажать ему ротъ и примирить его съ Маленькимъ Человѣкомъ, они старались уйти съ головой въ крошечныя добрыя дѣла и приносить, гдѣ только возможно, крошечную пользу...

Мало-по-малу имъ удалось заполнить свои души этими крохами въ такой степени, что для Большого Человѣка не осталось уже ни одного свободнаго уголка. И оба съ того времени стали спокойны, довольны и благоразумны.

V.

Такъ жили эти маленькіе люди до тѣхъ поръ, пока къ мужу не подкралась смерть. Она явилась къ Маленькому Человѣку какъ разъ въ пору, потому что онъ совершилъ все, что можетъ совершить Маленькій Человѣкъ: взрастилъ въ дѣтяхъ всѣ тѣ маленькія добрыя мысли и чувства, какія только могъ взрастить въ нихъ маленькій добрый человѣкъ; выдалъ дочерей за маленькихъ хорошихъ мужчинъ, а сыновей женилъ на маленькихъ порядочныхъ женщинахъ. Самъ онъ достигъ такого чина, оклада и положенія въ обществѣ, какихъ только могъ достичь, и совершилъ, кромѣ того, не мало хорошихъ и полезныхъ дѣлъ величиной съ булавочную

головку. Больше достигать ему было нечего: онъ исчерпалъ до дна свою маленькую жизнь.

И вотъ, когда этотъ Маленькій Человѣкъ, прикованный предсмертнымъ недугомъ къ постели, медленно угасалъ, Большой Человѣкъ, давно забытый и загнанный, опять просыпался, поднималъ голову и обводилъ недоумѣвающимъ взглядомъ прожитую жизнь. Если Маленькій Человѣкъ мучился оттого, что умиралъ, то Большой скорбѣлъ потому, что почти не жилъ. Маленькаго Человѣка кормили, ростили, учили, награждали, поощряли, расчищали передъ нимъ дорогу; а Большого всю жизнь держали въ черномъ тѣлѣ, какъ дикое животное, безполезное въ домашнемъ быту,—и выросъ онъ такой нескладный, неповоротливый, безпомощный... и не могъ найти себѣ мѣста въ жизни. А между тѣмъ теперь, оглядываясь на прошлое, онъ вспоминалъ только тѣ мгновенія, когда билась и трепетала жизнь именно въ немъ, Большомъ Человѣкѣ, а то, чѣмъ жилъ Маленькій, представлялось ему однообразной, совершенно плоской равниной, безцвѣтной, безразличной... И когда передъ нимъ вставалъ вопросъ:

— „Да что же такое эта жизнь, которую мнѣ такъ жалко покинуть?“—онъ отвѣчалъ себѣ: „Это, должно быть, вотъ та жгучая тоска по идеалу, то глубокое, смутное чувство, огромное и безпокойное, что когда-то разрывало мнѣ душу и зажигало въ ней ненависть къ Маленькому Человѣку, дѣлавшему изъ меня и изъ моей жизни каррикатуру“... Потомъ ему вспоминалось, какъ давно-давно когда-то смотрѣла на него изъ глазъ жены Большая Женщина, полная такого же великаго таинственнаго чувства, какое волновало и его; тогда въ нихъ обоихъ зарождалась и зрѣла какая-то большая мысль, и они мучились, не умѣя овладѣть ею, не находя даже словъ, чтобы высказать ее. Вспоминалъ онъ, какъ это могучее чувство, точно гигантская волна, подхватывало обоихъ и возносило высоко надъ ихъ маленькой жизнью... и какъ они жаждали быть на этой высотѣ... и какъ потомъ волна разбилась въ мелкія брызги, расплылась по поверхности...

Такъ больно ныло у него внутри отъ этихъ воспоминаній, и такъ мучилъ его неотступный вопросъ: зачѣмъ они

всю жизнь размѣнивали золото на серебро, а серебро—на мѣдь... на мѣдныя копѣйки? Онъ съ горечью говорилъ объ этомъ женѣ, грустно сидѣвшей у его изголовья, и слова вырывались у него, какъ стоны: „Не такъ мы прожили жизнь... Не то было нужно... не то, не то!“

Но она плохо внимала словамъ Большого Человѣка: убитая горемъ, она смотрѣла на него опухшими отъ слезъ глазами и видѣла передъ собою на смертномъ одрѣ Маленькаго Человѣка, такого худого, изстрадавшагося, съ пролежнями на бокахъ. Ей было безконечно жаль его, и она плакала при мысли, что онъ такъ мучится и что онъ умираетъ, не дождавшись внучатъ...

Но когда, похоронивъ мужа, она сидѣла въ опустѣвшемъ кабинетѣ, его предсмертныя слова вдругъ сдѣлались для нея прозрачными, и она плакала теперь не о томъ Маленькомъ Человѣкѣ, котораго сегодня отпѣли, опустили въ могилу и засыпали землей, а о томъ Большомъ Человѣкѣ, котораго всю жизнь старались похоронить и засыпать,—о томъ Человѣкѣ, который долгіе годы бился тамъ гдѣ-то, въ темной глубинѣ, рвался къ жизни и ушелъ изъ нея—непонятый, непрошенный... И ей вспоминались тѣ минуты, когда она близко-близко подходила къ этому Большому Человѣку и когда въ ней самой билось и трепетало ощущеніе новой и какой-то совсѣмъ особенной жизни—яркой, свободной, прекрасной. И ей все казалось, что этотъ Большой Человѣкъ не умеръ, а только ушелъ куда-то искать той жизни, которой не нашелъ здѣсь. „Куда же онъ ушелъ? Куда?“...

Этого она не знала.

ПАМЯТИ ЧЕРНЫШЕВСКАГО.

Пусть мы бѣднѣй, чѣмъ нищіе, и съ дѣтства
Нашъ путь тернистъ, и жребій нашъ унылъ;
Но есть у насъ великое наслѣдство:
Неисчислимый рядъ могилъ.
    По всей странѣ, отъ Финскаго залива
    До вѣковыхъ востока рубежей,
    Стоятъ кресты и дремлютъ молчаливо,
    Какъ вереница сторожей.
И каждый день въ зіяющія нѣдра
Сырой земли могильщица-судьба
Приноситъ дань настойчиво и щедро,—
Спускаетъ новые гроба.
    Надъ русскою великою рѣкою
    Могила есть. Она еще свѣжа,
    Но брошена забвенью и покою,
    И заросла травой ея межа.
Къ могилѣ той никто не ходитъ въ гости
Лишь изрѣдка холодныхъ слезъ дождемъ
Надъ ней гроза расплачется отъ злости.
Туда сложилъ измученныя кости
Изгнанникъ, бывшій намъ вождемъ.
    Онъ насъ училъ. Мы знаемъ, сколько значилъ
    Его примѣръ для пламенныхъ сердецъ.
    Онъ былъ вождемъ, и плѣнъ свой первымъ началъ
    Теперь свободенъ, наконецъ.
Напоминать его удѣлъ опальный
Не нужно вамъ. Онъ длился двадцать лѣтъ.
Но я хочу надъ бездной погребальной
Вамъ повторить его завѣтъ:

„Пусть голосъ мой изъ-за черты загробной,
„О, юноши, достигнетъ къ вамъ теперь.
„Не бойтесь жертвъ, не бойтесь мести злобной,
„Ни пораженій, ни потерь.
„Я вамъ путей указывать не стану.
„Вашъ взоръ открытъ. Извѣстны вамъ враги.
„Пускай судьба даруетъ вамъ охрану,
„Пусть жизнь сама направитъ вамъ шаги!
„Вы знаете усилій нашихъ цѣну
„И нашихъ узъ неумолимый гнетъ.
„О, юноши, идите къ намъ на смѣну,
„И новый вѣкъ широкую арену
„Пускай предъ вами развернетъ!
„Но пусть огонь отваги нашей прежней,
„Сжигавшій насъ великой страсти пылъ
„Въ душѣ у васъ горитъ еще мятежнѣй
„И бьетъ ключемъ неистощимыхъ силъ
„Я вѣрю вамъ, а вы въ побѣду вѣрьте
„И старый споръ дерзайте обновить.
„О, юноши, изъ-за порога смерти
„Я васъ хочу благословить!..“

Т. Щепкина-Куперникъ.

КТО ПОБѢДИТЪ?

Сказка.

...Libertas, amor, sciencia.

Изъ-за граней земного въ здѣшній міръ когда-то спустились три небожительницы, три прекрасныя сестры,— если только могутъ быть сестры среди небожительницъ.

Верховное Существо отпустило ихъ для блага человѣчества, и сестры замыслили вмѣстѣ покорить и подчинить себѣ весь міръ.

Всѣ онѣ были прекрасны, всѣ три—различной красотой.

Первая—сильная, мощная, съ гордой головой и орлиными глазами, безстрашно смотрѣла впередъ, на невѣдомую землю, гдѣ въ туманѣ ползали и суетились милліоны маленькихъ человѣческихъ существъ. За плечами у нея были крылья; въ рукахъ—блестящій мечъ, чтобъ поражать насиліе и притѣсненіе.

— Все это будетъ мое!—сказала она, и голосъ ея звучалъ, какъ литой изъ чистаго серебра колоколъ.

Другая—нѣжная, кроткая, съ лучезарнымъ взоромъ небесныхъ очей, держала въ рукахъ цвѣты, неся ихъ въ даръ людямъ. Она улыбнулась сестрѣ въ отвѣтъ счастливой улыбкой и промолвила мелодичнымъ, какъ музыка весенней ночи, голосомъ:

— Да, все это будетъ наше!

Третья сестра молчала. Она была величественна и спокойна. Чистый лобъ ея горѣлъ пламенемъ мысли; глаза—глубокіе, бездонные, были прекрасны, какъ тайна вѣчности. Она высоко поднимала пылающій факелъ и вглядывалась сосредоточенно въ даль.

Наконецъ, она обернулась къ сестрамъ и произнесла:

— Страшитесь потерять меня изъ виду, сестры!.. Вамъ трудно будетъ бороться безъ меня.

— Бороться не придется намъ!—съ юною удалью воскликнула первая сестра.

— Бороться не придется намъ!—съ безконечной вѣрой и умиленностью промолвила вторая.

Третья вздохнула: она знала, что борьба неизбѣжна.

Но первая уже неслась вдаль на своихъ крыльяхъ; легкими шагами стремилась впередъ вторая, не обращая вниманія на препятствія, встрѣчавшіяся на пути.

Третья выше подняла свой факелъ и, освѣщая себѣ дорогу, твердо и неторопливо пошла по ней.

Первая сестра летѣла, далеко опередивши остальныхъ, разсѣкая пространство крыльями и радостно вдыхая свѣжій воздухъ.

Пролетѣвъ огромное пространство, она, наконецъ, опустилась на землю, рѣшивъ остановиться на ней и начать свои побѣды... Она не успѣла и оглянуться, какъ дикія толпы людей, неизвѣстно откуда взявшіяся, ринулись на нее со всѣхъ сторонъ; и въ одно мгновеніе ока она была окружена, схвачена, связана... Силы ея были велики; едва придя въ себя отъ изумленія—она не думала, что на нее могутъ посягнуть—она отважно принялась защищаться. Мощными руками она разрывала путы, всѣ ея молодые, сильные члены отъ борьбы пріобрѣтали двойную силу и упругость; она подняла съ земли валявшійся мечъ свой и, размахивая имъ вокругъ себя, проложила себѣ, наконецъ, дорогу. О, какъ ожесточила ее эта неожиданная борьба!

Прежде она думала, что люди всѣ—братья, теперь она поняла, что они—враги; недовѣрчиво и озлобленно глядѣла она вокругъ, готовая ежеминутно на защиту, на борьбу... И, дѣйствительно, борьба не заставила себя ждать.

Правда, находились и пламенные поклонники небожительницы. Гдѣ она ни появлялась, видъ ея вызывалъ къ жизни множество благородныхъ сердецъ: ее благословляли, ей слагали великіе поэты пѣсни, которыя насильственно за-

молкали на первой строфѣ; тѣ, которые успѣвали допѣть ей свою пѣсню, несли къ ея ногамъ и жизнь свою. Толпы шли за ней; къ ней присоединялись и женщины, и даже дѣти, и слабые черные люди со спинами, исполосованными ударами хлыстовъ, и мало-по-малу все увеличивалось ея войско...

Но силы противниковъ были неизмѣримы, а ея борцовъ было все еще слишкомъ-слишкомъ мало—и большинство ихъ было угнетено, надломленно, полуголодно... Трудна была борьба. Ей приходилось прокладывать себѣ дорогу посреди стоновъ, воплей, пламени костровъ, ужаса казней; тысячи и тысячи жертвъ падали во имя ея... тысячи и тысячи жертвъ падали, побѣжденныя ею. Крылья ея купались въ крови, мечъ былъ давно заржавленъ. Деревни пылали, города рушились на ея пути; она все шла и шла впередъ,—летѣть она уже не могла: кровь и грязь тянули къ землѣ ея крылья. Иногда ложные поборники ея приходили къ ней, клялись служить ей вѣрно,—она дѣлала ихъ своими вождями. Ея святымъ именемъ они собирали вокругъ себя толпы, ея святымъ именемъ они побѣждали земли кругомъ... Потомъ, достигнувъ своего, они сбрасывали личину и провозглашали ей открытую вражду. Уставшіе, измученные воины сдавались подъ ихъ иго и малодушно покидали небожительницу. Поруганная, обманутая, она падала въ изнеможеніи, и на нее спѣшили наложить цѣпи. Она лежала безъ движенія, и всѣ думали, что она умерла—и радовались. Но она вдругъ, воспрянувъ, разрывала свои оковы и появлялась грозной и сіяющей, какъ царица, и опять бросалась въ битву. И такъ шло время.

Вѣка пролетѣли надъ ея гордой головой, вѣка безслѣдно исчезали въ темной пропасти небытія—и, наконецъ, она увидѣла, что, несмотря на всѣ безконечныя жертвы, на многовѣкую и нечеловѣческую борьбу, все было напрасно, и едва-едва нѣсколько клочковъ завоевано ею, и враги ея попрежнему ликуютъ и не велятъ произносить ея имени.

Тѣмъ временемъ вторая сестра обходила воздушною своей стопою всю землю. Она заглядывала всюду,—начиная

отъ роскошныхъ дворцовъ и кончая убогими деревнями. Всюду робко и ласково стучалась она въ сердца, взывала къ милосердію и справедливости. Ей казалось, что такъ легко лаской и добротою покорить себѣ людей,—и она беззаботно-счастливо глядѣла въ будущее... пока не прозрѣли ея внутреннія очи. Она увидѣла ясно, что, прикрывшись ея именемъ, низкій развратъ поползъ изъ своихъ закоулковъ, пятная сердца и оскверняя тѣла; что торгашество начало обкрадывать голодныхъ и утаивать хлѣбъ, собранный ея трудами для неѣвшихъ; что лицемѣріе и пошлость, рядясь въ бѣлоснѣжныя одежды, выдавали себя за нее и ослѣпляли человѣчество, въ дѣтскомъ легкомысліи протягивавшее къ нимъ руки и не замѣчавшее обмана.

Небожительница бросалась направо и налѣво,—она взывала къ людямъ, она напоминала имъ о себѣ, она рыдала, и на колѣняхъ молила, молила состраданія, не стыдясь для своихъ несчастныхъ самой уподобляться нищей; она стучала сильнѣе и сильнѣе въ людскія сердца, но все рѣже и рѣже ей откликались. Ея силъ не хватало; такъ мало, такъ мало было желавшихъ идти за ней: вѣдь, она говорила о счастьи самозабвенія, отреченія, всепрощенія,—а люди не хотѣли понимать этого...

Поборниковъ мрака возмущало ея свѣтлое лицо, ея способность, не взирая ни на какія муки, ни на какое отчаяніе свое, простить, забыть, пожалѣть: ихъ собственный мракъ казался еще чернѣе рядомъ съ ея сіяющей бѣлизной,—и вотъ, наконецъ, тайно толкнувъ ее въ руки палачей, они пригвоздили ее къ дереву и предали мучительной казни.

Съ хохотомъ и глумленіемъ оставили они ее, умирающую...

Они и не знали, что она безсмертна.

Она вернулась къ жизни и простила своимъ палачамъ.

Снова раздался ея кроткій, нѣжный голосъ, взывающій къ людямъ.

И первое время сами люди испугались. Увидавъ ея безсмертіе, они повѣрили было въ ея всемогущество,—и встрепенулись, забились сердца у многихъ.

Гдѣ была она, тамъ по мановенію руки вставали скром-

ныя убѣжища, въ которыхъ голодный и холодный могъ искать крова и пищи; тамъ прекрасныя, юныя дѣвушки бросали дома и шли въ нищету, служить обездоленнымъ и обиженнымъ судьбою. Тамъ утирались слезы; тамъ несли голоднымъ груды хлѣба; тамъ чистая женщина поднимала кающуюся грѣшницу и, прижавъ ее къ своей груди, плакала надъ нею. Тамъ, наконецъ, люди готовы были одинъ для другого принести въ жертву предразсудки, богатство, покой, даже жизнь иногда; и въ сердцѣ самаго озвѣрѣлаго человѣка пробуждалась святая искра божественнаго огня. Даже враги и тѣ становились друзьями. Они повторяли другъ другу ея кроткія слова; ученіе ея разносилось по всему міру и грозило завладѣть всѣмъ. Надо было не дремать! Съ особенной силой тогда принялись враги за дѣло. И кроткая, нѣжная—она съ ужасомъ увидѣла, что и за нее идетъ тотъ же грозный бой, что за сестру. Живые люди пылали вмѣсто факеловъ, тиграмъ и львамъ на съѣденіе бросали прекрасныхъ молодыхъ дѣвушекъ, почтенныхъ старцевъ, дѣтей. Міръ захлебывался отъ рыданій, купался въ крови... Она бѣжала отъ людей. Долгое время жила она, прячась въ подземельяхъ, едва осмѣливаясь иногда подать голосъ другу; живые тайно приносили ей мертвецовъ,—только мертвецамъ и была безопасна ея близость.

Когда она, наконецъ, выглянула черезъ много вѣковъ на свѣтъ Божій, она увидала странныя вещи... Выдавая себя за ея друзей, предатели распространили по цѣлому міру свое ученіе, называя это „ея ученіемъ“. Они лицемѣрили и лгали, и торжествовали, и купались въ роскоши, а тѣ, кто думалъ, что этимъ путемъ служитъ ей, несли имъ и силы, и мольбы, и трудъ свой...

Дрогнуло сердце небожительницы,—ея мягкое сердце.

— Не обманывайте ихъ!—крикнула она своимъ предателямъ.—Вотъ я! Я пришла къ нимъ опять, я буду съ ними!

Только немногіе съ восторгомъ, узнавая ея голосъ, кинулись къ ней; другіе, уже привыкшіе къ своему порабощенію, кричали имъ:

— Это самозванка! берегитесь ея!..

Мѣста ей не было нигдѣ. Отовсюду ее гнали, смѣялись

надъ ней и, что всего было для нея ужаснѣе—что все, вездѣ, полно было ея именемъ, все творилось будто бы *во имя ея*, только о ней и говорили, только къ ея суду и обращались... Къ ея,—но гдѣ она? кто она? Хорошенько никто не зналъ. И ее, настоящую, не признавали: или,—ослѣпленные,—вѣрили въ призракъ, или,—ослѣпители,—притворялись, что въ него вѣрятъ, и исподтишка глумились надъ ней, попирая ея священные законы.

Третья сестра въ это время медленно, но вѣрно совершала свой путь. Она наклоняла свой факелъ и освѣщала имъ самые темные закоулки. И всюду, гдѣ только мелькалъ лучъ этого свѣта, люди просыпались отъ ненужнаго и нелѣпаго кошмара; она сметала пыль обветшалости, очищала вѣковыя зданія отъ насѣвшей на нихъ плѣсени и впускала свѣжій воздухъ въ душныя жилища, быструю воду въ застоявшіяся болота.

Она пробуждала людей мало-по-малу отъ тяжелаго, нездороваго сна и внушала имъ бодрость, охоту и умѣнье трудиться; она облегчала ихъ жизнь, сберегала ихъ силы и здоровье.

Работа ея, правда, была трудна и кропотлива: часто надъ маленькимъ клочкомъ земли приходилось ей трудиться долго и усидчиво.

Иногда она касалась своими устами чела какого-нибудь избранника, геніальнаго избранника,—и неожиданное, великое открытіе потрясало весь міръ, облегчало работу милліонамъ тружениковъ и, всколыхнувъ людей, зажигало въ нихъ и любознательность, и желаніе работать дальше, идти впередъ. Вездѣ, гдѣ она проходила, возникали маленькія, невидныя школы: толпы оборванныхъ дѣтей шли въ нихъ, и, возвращаясь домой, приносили съ собой ея завѣты. Она помогала имъ читать тѣ книги, тѣ великія страницы, въ которыхъ говорилось о двухъ ея сестрахъ, и тихо внушала имъ любить ихъ и бороться за нихъ.

Въ далекія пустыни тропическихъ странъ, въ замерзшія равнины сѣвера отправляла она своихъ ревностныхъ жрецовъ на помощь къ второй своей сестрѣ; и той было

легче, и пораженія ея уменьшались, побѣды увеличивались.

Она подготовляла смѣлыхъ и знающихъ бойцовъ для первой сестры, и заботилась стойко и вѣрно объ обѣихъ.

Могучіе рычаги ея поднимали старую землю и готовили ее къ пышной жатвѣ; незамѣтно, но вѣрно укрѣплялись въ землѣ новыя сѣмена, заброшенныя рукою ея, и пускали свѣжіе ростки молодые побѣги.

То здѣсь, то тамъ сіялъ ея факелъ. При свѣтѣ его совершались великія дѣла,—зажигалось въ людяхъ сознаніе ихъ *правъ* и *обязанностей*. Она учила, что всѣ они крохотные, но необходимые винтики одной великой машины, и долгъ ихъ—не сознавать себя центромъ вселенной, а чутко идти по назначенному пути и поддерживать другихъ, чтобы не распалась эта великая машина.

И все больше и больше собирала она за собою поклонниковъ, и облагораживала ихъ мысли, и укрѣпляла ихъ умы. Она учила труду и говорила о равноправіи.

Много еще остается ей обойти земель; много еще у насъ темныхъ и дикихъ угловъ, куда не заглянулъ ея спасительный факелъ, гдѣ мрачно и сурово живутъ люди, „какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи“. Но въ своемъ побѣдоносномъ шествіи, съ неустаннымъ терпѣніемъ и бодростью, она, наконецъ, все освѣтитъ, все очиститъ, все спасетъ отъ мрака и озлобленія.

Имена двухъ первыхъ сестеръ вы угадали давно.

Имя третьей да будетъ огненными буквами начертано на тріумфальныхъ воротахъ новаго вѣка:

ЗНАНІЕ.

ПРИСЕЛЬНИКЪ НА ЗЕМЛѢ.

Изъ жизни пріуральскихъ сектантовъ.

Секта „неплательщиковъ“ впервые обнаружилась въ Сергинско-уфалейскомъ заводскомъ округѣ Пермской губ. Возникновеніе ея относятъ къ началу шестидесятыхъ годовъ. Сначала въ основу легли чисто экономическіе мотивы, потомъ, уже путемъ заимствованій у старообрядчества и собственнымъ творчествомъ, ищущіе новой жизни создали болѣе цѣльное вѣроученіе. При этомъ нѣкоторыя совсѣмъ ясныя и прозаическія слова въ ихъ объясненіи получили иной смыслъ. Напр. „Горный Уставъ“ для бывшихъ заводскихъ мастеровыхъ на ихъ языкѣ превратился въ „Горній Уставъ“, т. е. высшій. И этотъ де „Горній Законъ“ начальство отъ нихъ сокрыло... Словомъ, когда ученіе было разработано, для послѣдователей его перестала существовать надобность въ церкви и тѣхъ гражданскихъ установленіяхъ, которыя выработала жизнь. Отсюда, какъ слѣдствіе, явилось нежеланіе платить подати, поступать въ военную службу, ходить въ церковь, пользоваться общественными учрежденіями: судами, школами, волостной администраціей...

Конечно, при такихъ воззрѣніяхъ дѣло не обходилось безъ столкновеній. Кончались они обыкновенно тюрьмой, помѣщеніемъ въ домъ умалишенныхъ, высылкой, розгами. Послѣднимъ болѣе извѣстнымъ фактомъ былъ отказъ „неплательщиковъ“ отъ присяги... За это около 14 чел. весной 1897 г. были сосланы въ Восточную Сибирь.

Въ настоящее время секта замолкла, какъ бы смягчая свои строгія основы...

Наше знакомство съ однимъ изъ видныхъ „неплательщиковъ“ произошло въ N—скомъ уѣздѣ.

Мы часто посѣщали одинъ полуостровокъ въ вершинѣ громаднаго заводскаго пруда. Тутъ на небольшой полянкѣ, среди прибрежныхъ кустовъ затерялась келейка старообрядца, отца Фотія. Небольшой заводъ закинутъ далеко среди суровыхъ отроговъ Урала и населенъ преимущественно старообрядцами. По окружающимъ заводъ лѣснымъ „раменьямъ“ стояло не мало такихъ одинокихъ келеекъ со старцами, тайными молитвами которыхъ, какъ думалъ народъ, только еще и держится грѣшный міръ. Фотій былъ безобидное, недалекое существо, а потому и не прятался въ глушь тайги, какъ дѣлали остальные. И, бывало, лишь только появится наша лодка, Фотій уже стоитъ на бережку и смотритъ.

Худенькій, въ скуфеечкѣ и подрясничкѣ онъ издали ласково улыбался „никоніанамъ“. Подпустивши насъ поближе, онъ торопливо выкрикивалъ теноркомъ:

— Пожалуйте! я сейчасъ чайничекъ согрѣю, удочки сготовлю.

И исчезалъ въ келейку. Но когда лодка тыкалась въ берегъ, онъ уже снова появлялся. Первымъ вылѣзалъ на песокъ мой товарищъ, земскій фельдшеръ и закадычный другъ Фотія. Фельдшеръ съ комичною важностью подходилъ къ старцу:

— Ну, благослови, что ли, отецъ!..

— Богъ благословитъ, Богъ, а не я,—говорилъ старецъ торопливо, но серьезно.

— Ты бы намъ ушку смастерилъ изъ свѣжихъ окуньковъ—съ молитвой и прочими, тебѣ извѣстными приправами.

— Ужъ очень ты, отецъ, мастеръ уху-то варить!..

— Сейчасъ, родимые вы мои, сейчасъ. Окуньковъ славныхъ седни Богъ далъ; въ садочкѣ сидятъ.

Въ ожиданіи ухи и кипятку для чая мы располагались въ тѣни кустовъ. Широкій прудъ съ ясными тѣнями кустовъ и крутыхъ лѣсныхъ береговъ—былъ хорошъ. Тишь такая!.. Хорошо и спокойно становилось на душѣ.

Передъ ухой фельдшеръ наливалъ стаканчикъ вина и подносилъ хлопотливому старцу:

— Ну-ка, отецъ, съ устатку, для разбивки старой крови!..

— Нѣтъ... что ты!.. Мнѣ нельзя... я не пью... нынче...— отдѣлывался старецъ отъ искушенія, скромно пряча глазки.

— Вотъ... И курица пьетъ... Давай.

— Изъ вашего стаканчика міршиться не полагается... Ужъ коли—я сейчасъ.

Скоро онъ появлялся со своимъ стаканчикомъ и, чокаясь, поздравлялъ насъ съ пріѣздомъ, при этотъ давалъ благословеніе на удачный ловъ рыбки...

За чайкомъ фельдшеръ просилъ разсказать старца что-нибудь изъ библейской исторіи. Особенно онъ любилъ послушать о „сотвореніи міра“ и о „воскрешеніи Лазаря“.

Сначала старецъ отговаривался: „смѣяться будете“,—однако, скоро сдавался...

Искренній тонъ, какимъ передавались донельзя искаженныя библейскія сказанія, вызывалъ невольно улыбку...

Когда же старецъ доходилъ до „воскрешенія Лазаря“, фельдшеръ не выдерживалъ и отъ смѣха катился на траву...

Старецъ обижался, но за слѣдующимъ стаканчикомъ между друзьями возстановлялись прежнія отношенія.

Въ одинъ изъ нашихъ пріѣздовъ въ поведеніи старца проглядывало что-то особенное...

— Да ты чего, отецъ, такъ о келейкѣ своей заботишься... Ужъ не женой ли обзавелся?..

— Что ты, что ты, родимый!—смутясь, отвѣчалъ старецъ...

— А вотъ я посмотрю,—пошутилъ фельдшеръ, показывая видъ, что хочетъ встать...

— Странничекъ, рабъ Божій у меня... Пришелъ отъ родныхъ,—началъ старецъ.

— Братецъ!—крикнулъ онъ въ сторону келейки:—покажись... Это люди славные, добрые...

Нѣкоторое время было все тихо. Въ маленькомъ окошечкѣ мелькнуло лицо и исчезло.

Около келейки показался здоровый мужчина въ бѣлой холщевой рубахѣ, бѣлыхъ штанахъ, въ новыхъ онучахъ и

новыхъ же лаптяхъ... Было что-то праздничное въ этомъ нарядѣ.

Подойдя, онъ молча остановился. Молчали и мы, разсматривая красивое, энергичное лицо съ ясными, вдохновенными сѣрыми глазами, въ которыхъ свѣтилась готовность къ борьбѣ...

— Ты, братецъ, не бойся... Съ ними побесѣдуй... Они ничего...—заговорилъ старецъ.

— Я ничего не боюсь,—твердо отвѣтилъ братецъ.

— Садись, поговоримъ,—предложилъ тогда фельдшеръ.

Тотъ сѣлъ...

— Ты откуда же?..

— Не имамъ града пребывающа здѣсь, а грядущаго взыскую... Я присельникъ на землѣ... Земля бо есть, въ землю и отыду... Христосъ сказалъ: если гонятъ тебя изъ града, отряхни прахъ отъ ногъ своихъ и иди въ другой...

Чѣмъ дальше шелъ разговоръ, тѣмъ довѣрчивѣй и искреннѣй становился „присельникъ на землѣ“ и тѣмъ больше его стиль уклонялся отъ церковнаго слога...

— Да ты, чудакъ,—улыбаясь, заговорилъ фельдшеръ,—гдѣ-то жилъ же до этой поры?..

— Въ избѣ...

Въ это время порхнула изъ кустовъ птичка и, ныряя, понеслась надъ водой... Сектантъ посмотрѣлъ на нее и продолжалъ:

— Какъ у птицы есть гнѣздышко, такъ и у человѣка... Вѣдь и у человѣка есть крылья, только невидимыя. Вольнѣй человѣка Богъ не сотворилъ твари... Онъ полетитъ, куда хочетъ, и нѣтъ ему горъ высокихъ, странъ далекихъ... Когда человѣкъ забылъ свободный, святой, „горній“, истинный законъ—потерялъ онъ крылья невидимыя... И сталъ рабомъ...

Сектантъ замолчалъ.

— Жена, поди-ка, есть?—пыталъ фельдшеръ.

— Есть—по вашему, а по нашему—сестра она мнѣ...

— Какъ же зовутъ тебя?

— Никакъ...

— Да жена-то, поди-ка, зоветъ?

— Никакъ... Братомъ.

— Ну, а ты ее?

— Сестра...

Фельдшера подмывало желаніе нескромно пошутить насчетъ такихъ названій, но онъ только разсмѣялся и проговорилъ:

— Вотъ, язовый лобъ!.. Однако... Да ты скажи хоть, сколько тебѣ лѣтъ.

— Мы годовъ не признаемъ... Время годами считать нельзя. Міръ вѣченъ, Богъ вѣченъ. И не было ни начала, ни конца. Все произошло изъ ничего и все будетъ ничто... Только люди надумали годы, надумали дѣлить вѣчное... Богъ есть духъ и человѣкъ есть Богъ. Духъ Бога въ человѣкѣ... Духъ былъ вдунутъ въ перваго человѣка и перешелъ во всѣхъ: дѣдъ—въ отца, отецъ—въ сына... Вотъ надъ нами бездна,—онъ сначала показалъ на глубокое голубое небо, а потомъ на землю:—и подъ нами бездна. Земля ни на чемъ... Господь держитъ ее на крылѣ... И отъ гнѣва Его содрагается земля, люди и всѣ твари земныя...

— Все это ты, братецъ ты мой, не то, — загорячился фельдшеръ...—Ты о небѣ да о безднахъ... Да вѣдь ты человѣкъ!.. Тебѣ жить надо, необходимо...

Но сектантъ тоже вошелъ въ азартъ и перебилъ въ свою очередь фельдшера:

— Все въ людяхъ! Все зло отъ Антихриста и слугъ его!.. Заполонилъ онъ, проклятый, все. Гдѣ сыну истиннаго закона, святого горняго устава укрыться? Негдѣ, — съ горестью отвѣтилъ торопливо самъ себѣ сектантъ.—Теперь только темные лѣса укрываютъ исповѣдающихъ законъ истины: здѣсь только,—онъ указалъ на тайгу,—за чертой владѣнія Антихриста мы свободны.

— Да ты неплательщикъ, что ли?—спросилъ фельдшеръ, хотя самъ прекрасно понималъ это и безъ отвѣта.

— Я—сынъ Божій... Признаю единый вышній Горній Законъ и его буду „обстаивать“ до конца...

— Вы что же—грамотны?

— Никто не грамотенъ. Только Господь премудръ и грамотенъ. Онъ читаетъ наши сердца. Читать мы умѣемъ. Читаемъ Евангеліе. Въ братскихъ бесѣдахъ проводимъ темныя ночи... Мы обсудили весь міръ... Намъ надо найти мѣсто, гдѣ нѣтъ власти Антихриста...

Это онъ сказалъ въ задумчивости и замолчалъ.

— И что же?—спросилъ фельдшеръ.

— Всюду „его“, нечистаго, указъ, всюду его распорядокъ,— грустно отвѣтилъ сектантъ.—Развѣ такимъ сотворилъ Господь человѣка? Онъ сотворилъ и отдалъ въ пользованіе его и земли, и воды, и лѣса, и горы. Все, что въ воздухѣ и землѣ... Онъ, Батюшка, ни земель, ни лѣсовъ не дѣлилъ, ни въ чью власть ихъ не отдавалъ.

Фельдшеръ предложилъ сектанту ухи и чаю; тотъ отказался...

— Вотъ этта какъ-то,—возобновилъ разговоръ уже самъ сектантъ,—срубилъ я дерево для избы... Набѣжали лѣсники, топоръ отняли, меня поколотили... Да еще и въ тюрьму... За что? Дома—жена, дѣти... Какъ же безъ лѣсу, безъ дровъ человѣку жить?!..

— И не даютъ вамъ за то, что подати не платите,—сказалъ фельдшеръ.

— Подати не платимъ,—вспыхнулъ сектантъ. — Съ насъ еще больше возьмутъ... Придутъ, отберутъ, что надо, да и продадутъ... А за что подати? Мы начальниковъ не выбирали, жалованье имъ не назначали, не прибавляли, не убавляли... И подати затѣмъ не платимъ. Кто ихъ назначалъ, кто ихъ выбиралъ, ходитъ къ нимъ,—тотъ и жалованье пусть платитъ...

Сектантъ притихъ и задумался... Однако, не надолго.

— Кто у васъ такой все „себѣ“ забралъ: и землю, и воды, и воздухъ?—приступилъ онъ къ фельдшеру.

— Не знаю,—недоумѣвая, отвѣтилъ тотъ,—у насъ будто такого нѣтъ.

— Есть...—сказалъ сектантъ, вставая въ возбужденіи.

— Теперь—ступилъ,—сектантъ сдѣлалъ твердый шагъ,— деньги отдай! дерево ли срубилъ, — деньги отдай... За все деньги... А гдѣ денегъ-то взять... Честнымъ трудомъ только копѣйки зарабатываются...

— Я приготовилъ рубаху для себя, — продолжалъ сектантъ.—„Онъ“ приходитъ и говоритъ: „моя“... Все его... Да гдѣ же наше-то! Мнѣ вѣдь рубаха-то и самому нужна. Я для себя, а не для „него“ готовилъ... Себѣ „они“ всю власть взяли, да гдѣ „имъ“ править!.. Погибель въ дѣлахъ ихъ...

Возстали люди другъ на друга... Братъ на брата, сынъ на отца,—торопился сектантъ высказать намъ свое ученіе.

— Война „у нихъ“ идетъ... братоубійственная... въ солдаты теперь берутъ... Ты скажи-ка, съ кѣмъ идутъ воевать?

— Какъ съ кѣмъ,—нѣсколько смутился фельдшеръ отъ такого вопроса, — помнишь, вотъ война была съ турками?.. Воевали съ турками...

— Съ турками, — съ тонкой ироніей подчеркнулъ сектантъ.—Ты скажи, гдѣ турки-та?

— Гдѣ... конечно, въ Турціи.

— Нѣтъ, не въ Турціи. А кругомъ все турки живутъ. Сами на себя воевать идутъ, сами себя воюютъ... Вотъ она гдѣ, война-та... Кругомъ война!..

И онъ махнулъ рукой.

— Богъ сотворилъ людей чистыми и праведными. Люди уклонились отъ истины и попали въ рабство... Явился Христосъ... Христосъ былъ сынъ Божій... Законъ Божій до конца соблюлъ. Мы тоже Боги и сыны Божіи, когда законъ обстоимъ до конца... Христосъ принесъ обновленіе въ міръ, но сила Антихриста побѣдила снова... И теперь идетъ новое обновленіе... И мы хотимъ жить по новому.

Ревнитель обновленія постепенно вдохновлялся и незамѣтно перешелъ къ импровизаціи.

— Когда народъ отъ „крѣпости“ освобождали!—блестя глазами, говорилъ онъ,—налаживалось обновленіе... Обновленіе не исполнилось... Царскій гласъ вѣщалъ: дѣтушки! даю вамъ слободу, найдите вольныя занятія, къ помѣщику во власть не ходите, на заводскія работы не ходите, съ начальниками, не по власти Божьей ставленными, дѣловъ не ведите... Пойдете къ помѣщику, — снова будетъ вамъ рабство. Мы поняли его желаніе, поняли его слова... Всѣ пошли въ рабство, только наши отцы не пошли въ заводъ робить, и мы не идемъ... Мы отреклись отъ всей Антихристовой скверноты и узъ, и не ходимъ въ ихнюю школу. Не ходимъ въ ихнюю церковь-капище. Не ходимъ въ ихнюю волость... Зачѣмъ же они насъ гонятъ? Зачѣмъ притѣсняютъ и хотятъ печать Антихристову наложить!..

— Гдѣ же вы молитесь?

— Мы молимся въ духѣ... Ни иконъ, ни церкви вашей

не принимаемъ... Сказано въ Евангеліи: если хочешь молиться, затворись въ темную комнату и молись отцу тайно... А еще сказано въ писаніи... Не поклонись образу — идолу ни деревянному, ни оловянному, ни желѣзному, ни липовому...

Долго говорилъ неплательщикъ на эту тему, пока вдругъ не оборвалъ своей рѣчи.

— Хорошо ты все это говоришь,—началъ формулировать фельдшеръ.—Люди всѣ равны. Лѣсомъ, и землей, и всѣмъ должны пользоваться всѣ... Всѣ братья да сестры... Да это же—когда всѣ хороши... А вотъ между вами вдругъ появятся злые, обижать васъ будутъ... Чего съ ними вы подѣлаете?

— Да. Вонъ ты къ чему?—усмѣхнулся неплательщикъ.— Что порядка не будетъ безъ управителей. Кто законъ Божій до конца обстоитъ—тотъ мнѣ и набольшой, къ тому и за совѣтомъ пойду,— вразумительно пояснилъ онъ.—Самъ обижать не будешь—тебя зачѣмъ обидятъ... Обидятъ—сноси... Аще кто тебя ударитъ въ ланиту—подставь другую...

— Ну, братецъ! При твоихъ убѣжденіяхъ, дѣйствительно, міръ тебя будетъ гнать,—замѣтилъ фельдшеръ...

— Я знаю. Меня драли розгами, меня садили въ больницу, меня держали въ тюрьмѣ,—грустно подтвердилъ сектантъ.

— Ахъ ты, шишки еловыя!.. Я вѣдь доктору обѣщалъ къ 9 въ больницу, а къ десяти-де обязательно буду, — засуетился фельдшеръ...

Старецъ насъ не провожалъ. Онъ спалъ въ келейкѣ, не осиливъ никоніанской водки, хотя и пилъ ее изъ „своего“ стаканчика...

Предъ тѣмъ, какъ оттолкнуть лодку, фельдшеръ, спохватившись, спросилъ сектанта:

— Да, вотъ еще:—я слыхалъ, что вы по праздникамъ выходите въ бѣлой одеждѣ на площадь, къ церкви. Стоите тутъ неподвижно и молча, все время, пока народъ домой не уйдетъ... Для чего это?

— Для свидѣтельствованья... Настанетъ день нашей истины, день суда. Сыны Антихриста и его слуги не вынесутъ нашего праведнаго вида... Они кинутся побить насъ,

и только единая капля крови коснется земли, какъ покрытая тяжелымъ грѣхомъ земля загорится...

Фельдшеръ, не дожидаясь конца рѣчи, началъ работать веслами... Однако, „сынъ истиннаго закона“ этимъ не смутился.

Его вдохновенный и вѣрующій голосъ гнался за нами:

— Все нечистое и скверное, все запечатлѣнное печатью Антихриста—сгоритъ... Земля очистится и обновится вся... И сыны Божіи наслѣдуютъ обновленную землю!..

Что-то еще говорилъ „присельникъ на землѣ“, но уже словъ его разобрать было нельзя.

Долго виднѣлась на ясномъ фонѣ заката мощная фигура человѣка въ бѣлой рубахѣ, штанахъ и лаптяхъ.

Мы направили лодку къ противоположному берегу, который теперь уже сливался съ темно-синимъ небомъ, къ берегу, гдѣ, по словамъ проповѣдника, — „царство Антихриста, мерзость и безобразіе, рабство и низость“...

П. Я. (Л. Мельшинъ).

СМЕРТЬ ОРЛА.

Въ клѣткѣ желѣзной, въ неволѣ глухой
Годы томился орелъ молодой:
Пищу убогую тихо клевалъ,
Тихо и гордо въ плѣну угасалъ.
Рѣзвыя дѣти толпились кругомъ,
Шумно глумились надъ бѣднымъ рабомъ;
Но отвѣчалъ онъ презрѣньемъ однимъ
Грубымъ нападкамъ, обидамъ слѣпымъ.

Вотъ, растворилась однажды тюрьма:
Съ глазъ, будто, спала гнетущая тьма...
Дико онъ крикнулъ, крылами взмахнулъ,
Въ вольной лазури тотчасъ потонулъ!
Грудь молодая вздымалась легко,
Взоръ проникалъ далеко-далеко...

Тамъ, гдѣ въ туманѣ кончалась земля,
Вдругъ золотая метнулась змѣя;
Слѣдомъ чуть внятный, таинственный гулъ
Волны эѳира слегка колыхнулъ...
Дивное что-то свершилось въ орлѣ,—
Гордая мощь пробудилась въ крылѣ!

Прямо и смѣло онъ къ тучѣ летѣлъ,
Встрѣтиться съ нею, могучей, хотѣлъ.
Тише, о тише, безумный!
Впередъ,
Выше, все выше надменный полетъ!
Выше, все выше... И въ сонмище тучъ
Врѣзался онъ, будто солнечный лучъ.

Трескъ оглушительный встрѣтилъ его,—
Онъ опьянѣлъ, не слыхалъ ничего.
Грозною тучи сомкнулись толпой,—
Пуще взыгралъ онъ мятежной душой!
Ближе, все ближе... Вдругъ—
Въ сердце орла
Гнѣвно впилась роковая стрѣла!
Крикъ изумленья застылъ на устахъ,—
Камнемъ онъ съ неба низринулся въ прахъ...

Около клѣтки своей онъ упалъ,
Тамъ, гдѣ томился и гордо страдалъ.
Дѣти толпою бѣжали къ нему —
Бросить его поскорѣе въ тюрьму:
Поздно!.. Взмахнувши еще разъ крыломъ,
Онъ успокоился вѣчности сномъ...
И о раскаяньи очи его
Не говорили въ тотъ мигъ ничего.